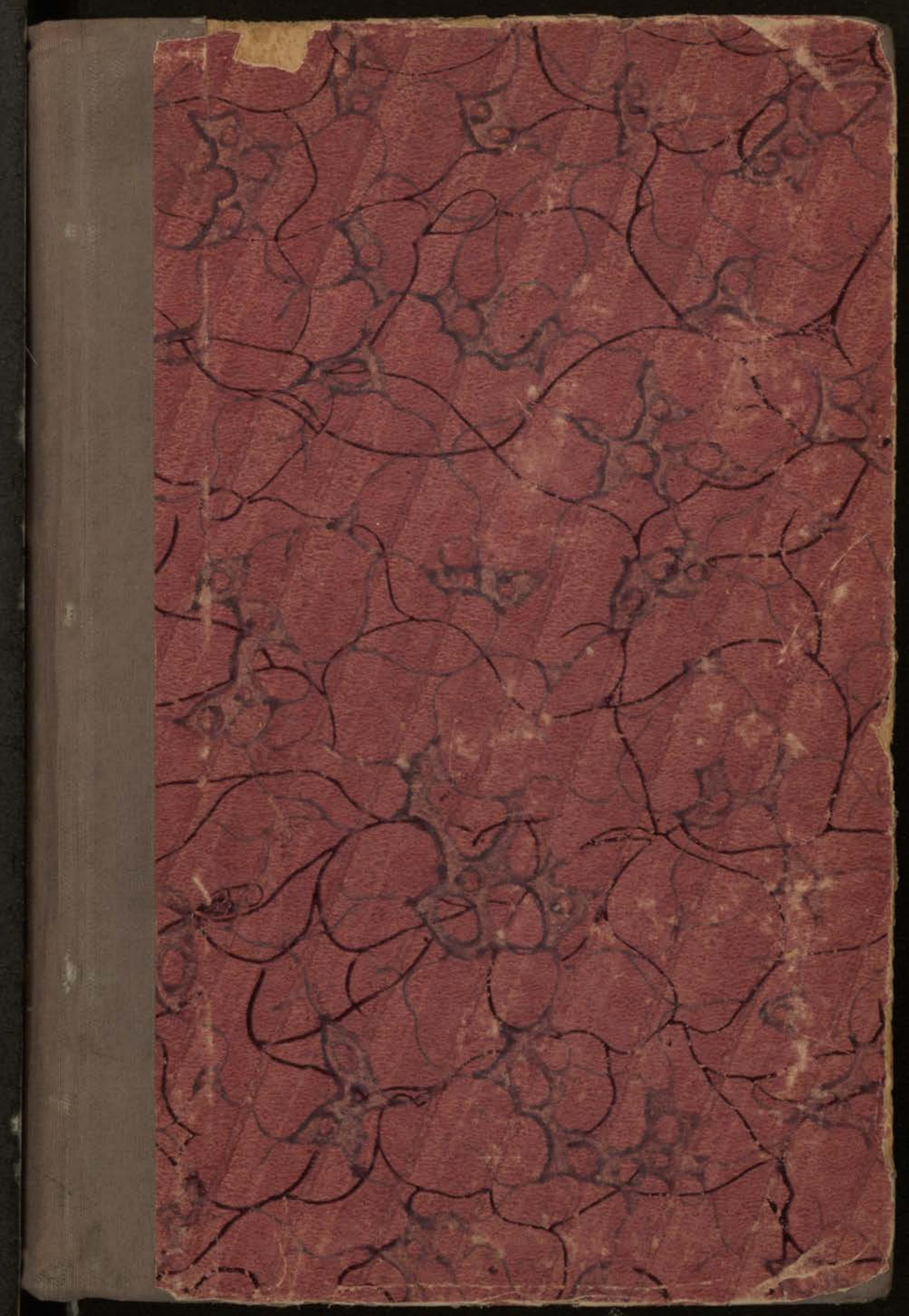




А. БРУСИЛОВ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1929

А. А. БРУСИЛОВ

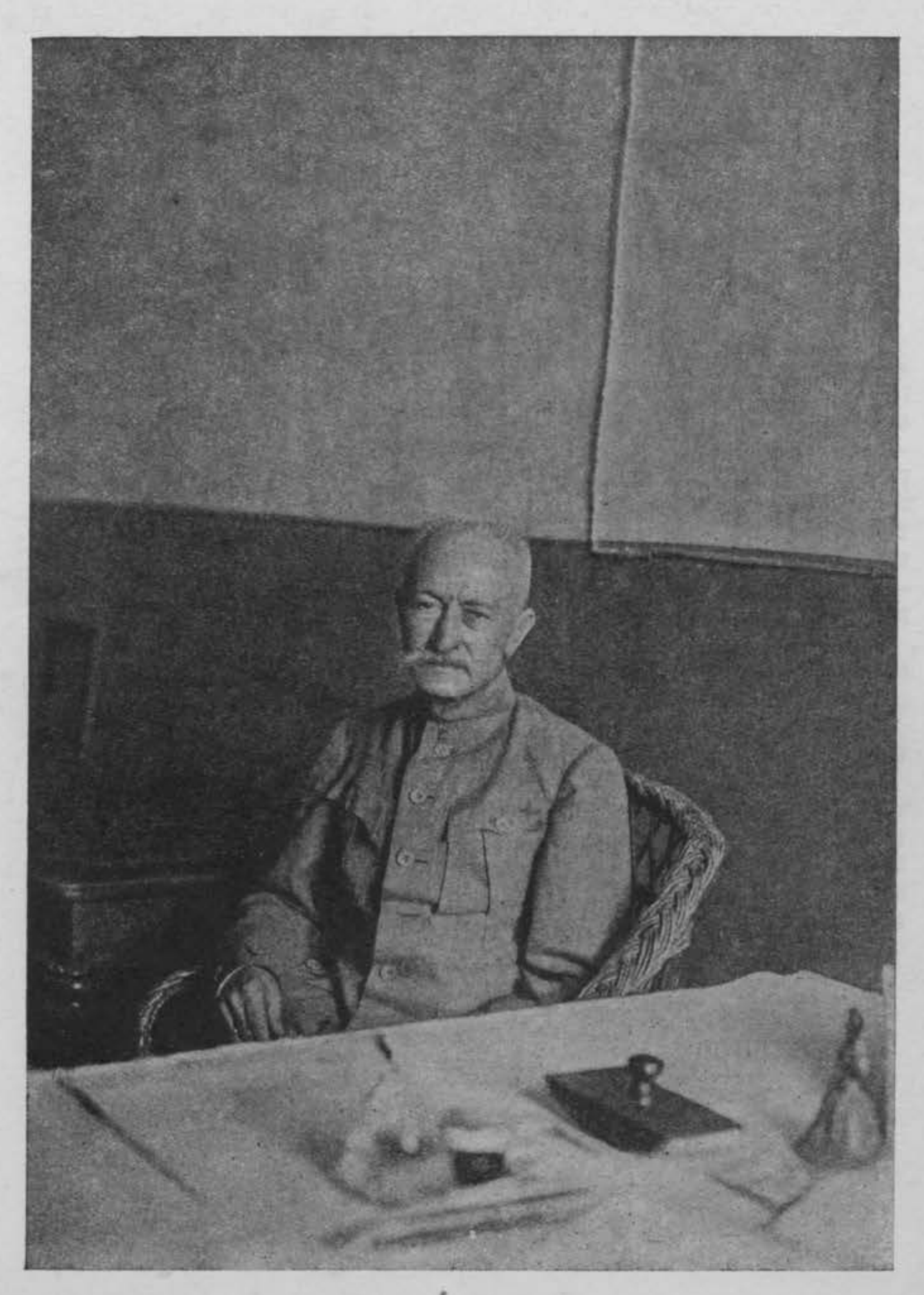
*

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

ПОСМЕРТНОЕ ИЗДАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛ ВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

Набрано в типографии
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»,
Москва, Краснопролетарская, д. 16.
Отпечатано в 1-й Образцовой тип. Гос -
издата, Москва, Валовая, 28,
в количестве 5000 экз.
Главлит № А 40290.
Гиз В 60 № 32034.
Заказ № 2011.
$16^{1}/_{2}$ печ. л.



А. А. БРУСИЛОВ
в бытность инспектором кавалерии РККА (1923 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ

★

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКЦИИ

*

Видное место в западно-европейской литературе по истории войны 1914—1918 гг. занимают воспоминания участников войны, начиная с воспоминаний лиц, занимавших высшие руководящие посты, и кончая воспоминаниями непосредственных участников боев. Наша военная литература, по сравнению с западно-европейской, очень бедна трудами подобного рода: их можно назвать меньше десятка. Несомненно, что воспоминания А. А. Брусилова, представляя исключительный интерес и благодаря личности автора и по своему содержанию, займут видное место в мемуарной литературе по войне 1914—1918 гг.

Личность А. А. Брусилова достаточно ярко вырисовывается на страницах его воспоминаний. А. А. Брусилов происходит из дворянской, не слишком зажиточной семьи. Окончив привилегированное военно-учебное заведение—Пажеский корпус, А. А. Брусилов не может вследствие недостатка средств выйти в гвардию, как его товарищи по корпусу. Офицером армейской кавалерии принимает он участие в русско-турецкой войне 1877—78 г. Лишь после ряда лет армейской службы А. А. Брусилов возвращается в Петербург. Очень характерным для А. А. Брусилова в то время является резко и неоднократно выявляемое в его воспоминаниях глубокое увлечение оккультизмом и мистикой (стр. 31 воспоминаний). Это обстоятельство, значительно повлияв на формирование характера А. А. Брусилова, вместе с тем способствует сближению А. А. Брусилова с аристократическими кругами Петербурга. Завязываются довольно многочисленные связи и знакомства, сыгравшие определенную роль при последующем развитии карьеры А. А. Брусилова. После продолжительной службы в офицерской кавалерийской школе А. А. Брусилов переходит в строй и получает вторую гвардейскую кавалерийскую дивизию. По этой должности он тесно и дружно сотрудничает с командовавшим в то время войсками гвардии и Петербургского военного округа вел. кн. Николаем Николаевичем. О нем А. А. Брусилов в своих

воспоминаниях отзывается не только неизменно хорошо, но и склонен приписать свои чувства симпатии к Николаю Николаевичу всей старой армии и даже всему «русскому народу». Субъективизм оценки А. А. Брусиловым Николая Николаевича понятен и очевиден. Нечего говорить, что по воспоминаниям других лиц, сталкивавшихся в своей жизни и работе с вел. кн. Николаем Николаевичем и в литературе вообще личность Николая Николаевича, этого типичного представителя вырождающегося дома Романовых, обрисовывается в совершенно ином свете. Отношением А. А. Брусилова к Николаю Николаевичу в значительной степени объясняется неоднократно проявляемое и отмеченное в воспоминаниях настороженное отношение к А. А. Брусилову Николая II. Как видно из опубликованных после революции материалов, Николай II не без основания, повидимому, подозрительно и недружелюбно относился к Николаю Николаевичу и близким ему лицам, в том числе и к А. А. Брусилову.

Мы не намерены давать оценку А. А. Брусилова как военачальника и полководца. Его деятельность, нашедшая в частности отражение на страницах его воспоминаний, говорит сама за себя.

Несомненно, однако, что на общем фоне высшего командования царской армии А. А. Брусилов был личностью выдающейся. Победы армий, которыми он командовал, не в малой степени объясняются умелым и твердым руководством с его стороны. Оперативные и тактические ошибки штаба и войск, действовавших под руководством А. А. Брусилова, которые, несомненно, имели место, особенно в первые годы войны, в значительной степени объясняются неналаженностью органов управления и объективными условиями.

Особо должны быть оговорены политические убеждения и настроения А. А. Брусилова. Он был убежденным и преданным престолу монархистом. Но вместе со многими другими слугами престола он считал, что престол занят императором слабовольным, легко подчиняющимся чужим влияниям, неудачливым и неспособным управлять огромной империей. Нигде, однако, на страницах воспоминаний А. А. Брусилова читатель не найдет резких отзывов о Николае II и других членах императорской фамилии. О них А. А. Брусилов отзывается или с нескрываемой симпатией или с лойяльной сдержанностью. Крушение императорской власти, судя по воспоминаниям А. А. Брусилова, не было для него совершенно неожиданным. Однако бурное развертывание революции привело А. А. Брусилова к значительной растерянности и даже смятению. Эти его настроения отчетливо проскальзывают со страниц воспоминаний за год революции и отражаются на его политических суждениях. Примитивны объяснения исторических процессов, свидетелем и участником которых А. А. Брусилов был; узок и сплошь и рядом политически неверен анализ настроений

солдатской массы, от которой после революции А. А. Брусилов, как он пишет, никогда не мог добиться «обещания наступать и атаковать вражеские позиции». Судя по всему, А. А. Брусиловым не осознаны причины того, что те же массы, которых никакие силы не могли заставить сражаться после Февральской революции на фронте империалистической войны, взялись за оружие и с энтузиазмом переносили несравненно большие тяготы гражданской войны. Эти страницы воспоминаний А. А. Брусилова, совершенно неприемлемые для нас с точки зрения их установок, анализа обстановки и выводов, вместе с тем интересны, так как они весьма отчетливо характеризуют не только автора воспоминаний, но и настроения высшего командования старой армии в последние месяцы ее существования. Мы не оговариваем ни в предисловии, ни в подстрочных примечаниях многочисленных, с политической точки зрения наивных и неверных суждений А. А. Брусилова об исторических процессах, о причинах и «виновниках» войны, настроениях народных масс, их подготовке к войне и т. п. В отличие от А. А. Брусилова, утверждающего, например (стр. 73), что «войну эту начали они (немцы), а не мы», советскому читателю должно быть совершенно ясно, что война явилась империалистической со стороны обеих коалиций и что виновников войны надо, стало быть, искать не среди какой-либо из воевавших держав, а среди командующих классов всех участников войны. Неприемлемость и ошибочность, с нашей точки зрения, суждений А. А. Брусилова в этой области очевидна, и оговаривать их во всех случаях означало бы, по существу, повторить в предисловии или в примечаниях азбуку марксизма. Естественно, недопустимым также надо считать смягчение и исправление в самом труде ошибочных с нашей точки зрения политических суждений Брусилова, ибо труд А. А. Брусилова в том виде, в каком он написан автором, является историческим документом, отражающим отношение передовой части военной бюрократии к режиму Николая II, незадачливому ведению войны и к революции 1917 г.

К сожалению, смерть помешала А. А. Брусилову разработать второй том его «Воспоминаний», который был бы интересен не с точки зрения описания внешних событий его жизни, естественно менее разнообразных и интересных, чем жизнь и деятельность А. А. Брусилова, описанные в издаваемых «Воспоминаниях», а как свидетельство значительных сдвигов сознания А. А. Брусилова, вызванных событиями Октябрьской революции и ее развитием. Каковы были эти сдвиги, можно судить по вполне лойяльному отношению А. А. Брусилова к советской власти, активному его участию в советско-польской кампании и его деятельному сотрудничеству в деле строительства вооруженных сил Советского Союза.

Наибольший интерес представляют воспоминания А. А. Брусилова в той части, где дается характеристика старой армии.

В этой части воспоминания—яркий обвинительный акт режиму самодержавия, тем более убедительный, что написан он человеком, вся жизнь которого была посвящена служению царской власти в рядах старой армии. В воспоминаниях А. А. Брусилова в этой их части нет тенденциозности, но именно потому они особенно убедительны.

Чего стоит, например, характеристика старшего командного состава гвардейской кавалерийской дивизии, которой командовал А. А. Брусилов. Такие, например, персонажи, как граф Келлер, «известный своим необычайным ростом, чванством и глупостью», такие факты, как сговор офицеров избить своего командира полка и т. д.

Скупыми, но меткими словами А. А. Брусилов характеризует свое окружение в Варшавском военном округе: губернатора, запретившего вход в городской сад «нижним чинам и собакам», «немецкие» верхи русской бюрократии в Варшаве, жандармов, деловито перлюстрирующих переписку самого помощника командующего войсками округа...

Еще ярче проявилось ничтожество и беспомощность верхов старой армии во время войны. Старшие начальники проявляют непонимание характера современной войны, незнание обстановки, в которой они должны были вести войска в бой, неумение познать эту обстановку. Исключительна прямо какая-то старческая вялость и беспомощность их в управлении войсками. В тягчайшие моменты они плетутся в хвосте событий, робко и неумело пытаясь делать вид, что управляют ими. Оценивая всех этих немощных старичков, выносишь впечатление, что обреченная на гибель царская власть систематично и неуклонно подбирает на руководящие посты людей, которые могли эту гибель только ускорить. Поразительна неорганизованность старой армии, неприспособленность всей системы вооруженных сил царской России к ведению современной войны. Армия недостаточно обеспечена техническими средствами. Нежизненна система комплектования во время войны. «Кадровая» армия перестает существовать уже к зиме 1914—15 года. Кризис офицерского и унтер-офицерского состава, недостаточная и неразумная подготовка пополнений превращают армию, по отзыву А. А. Брусилова, в слабо обученное и в боевом отношении непрочное ополчение. Без оружия, без командиров, необученными посылают в бой русских солдат. Армия не подготовлена к действиям в конкретных условиях обстановки. В Карпатах неумение действовать в горах приводит к жестоким лишениям и потерям. Управление оккупированной страной совершенно не налажено. Во главе управления Галицией ставят графа Бобринского, лидера воинствующего национализма, человека, никогда ничего общего с Галицией не имевшего, проводившего впоследствии насильственно-руссификаторскую политику в крае. Командование фронтом не

умеет даже упорядочить железные дороги, на которые только и могли базироваться русские армии, продвигавшиеся в глубь Западной Галиции. А. А. Брусилову приходится, как он пишет, «самочинно» упорядочить Львовский железнодорожный узел, лежащий за фронтом, не его даже, а соседней армии.

Повторяем: воспоминания А. А. Брусилова—исключительно правдивый и яркий обвинительный акт царскому режиму; исключительно ценная характеристика старой армии в годы войны 1914—1917 гг. и подготовки к этой войне.

Несколько менее интересны в воспоминаниях А. А. Брусилова описания самых боевых действий. В них читатель найдет мало нового по сравнению с имеющейся на эти темы литературой. Даже описание Луцкого прорыва, величайшей победы, одержанной войсками под командованием А. А. Брусилова, интересно, пожалуй, потому, что написано самим А. А. Брусиловым. Освещена же эта операция в ранее изданных трудах (например в указанном в примечаниях сборнике «Луцкий прорыв») гораздо полнее и разностороннее. Также мало нового найдет читатель в описании событий Февральской революции. В этой части надо отметить, как интересную деталь, рассказ о предложении диктатуры самому А. А. Брусилову и прощупывание мнения А. А. Брусилова о возможном захвате диктаторской власти Керенским.

В заключение—несколько слов о характере редактирования воспоминаний А. А. Брусилова. Естественно, что посмертное издание воспоминаний выпускается лишь с минимальными изменениями и сокращениями, безусловно необходимыми с точки зрения стилистической правки и для устранения излишних отвлечений, повторений и т. п. Примечания редакции, так же как схемы, должны дать читателю справочный материал и указания по литературе, облегчающие чтение и позволяющие углубить и расширить проработку воспоминаний А. А. Брусилова там, где читатель признает это интересным и необходимым. Кроме схем, при чтении надо пользоваться листами «В» и «4» двадцатипятиверстной карты. Календарный стиль в самом тексте воспоминаний А. А. Брусилова везде старый, в примечаниях—новый.

Редакция.

[illegible] о перипетиях [illegible] из
[illegible] армии [illegible] и [illegible] Бата-
ева-Гамидова. А. А. Брусилов приходит, как он пишет, [illegible]
[illegible] утверждает. [illegible] уход [illegible]
за Фронтом, [illegible] армии.

Повторяем: воспоминания А. А. Брусилова [illegible]
[illegible] армии [illegible] при переходе к армии; [illegible]
[illegible] характеризующие старой армии, и [illegible]
1914—1917 гг. и [illegible]

Наиболее интересна в воспоминаниях А. А. Брусилова
описание самых боевых действий. Ничего читатель найдет мало
нового по сравнению с имеющейся на (эти темы литературой). Дано
описание Луцкого прорыва, величайшей победы, одержанной рус-
скими под командованием А. А. Брусилова, интересно, пожалуй,
потому, что [illegible] также А. А. Брусилова Ставке [illegible] по-
сле [illegible] и роли [illegible] (например [illegible]
в [illegible] Луцкий прорыв) [illegible] полно и раз-
носторонне. Также мало нового найдет читатель в описании собы-
тий Февральской революции. В этой части надо отметить лишь
интересную деталь, рассказ о [illegible]
А. А. Брусилову [illegible] А. А. Брусилова о по-
ложении [illegible] Керенского.

В заключение — несколько слов о характере редактирования вос-
поминаний А. А. Брусилова. Естественно, что посмертное издание
воспоминаний [illegible] связано с многочисленными изменениями
и [illegible], [illegible] необходимостью [illegible] с точки зрения [illegible]
[illegible] и для устранения [illegible] отступлений, по-
вторений и т. п. Примечания редакции, так же как и схемы, [illegible]
[illegible] сведения и указания на литерату-
ру, [illegible] углубить и расширить
проработку воспоминаний А. А. Брусилова тем, кто [illegible]
[illegible] интерес [illegible]. Кроме того, [illegible]
[illegible]
[illegible] в самом тексте воспоминаний А. А. Брусило-
ва [illegible].

Редакция.

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ.

*

С детских лет до войны 1877—1878 г.

Я РОДИЛСЯ в 1853 году 19 августа старого стиля (1 сентября нов. ст.) в г. Тифлисе. Мой отец был генерал-лейтенант и состоял в последнее время председателем полевого аудиториата [1] Кавказской армии. Он происходил из дворян Орловской губернии. Когда я родился, ему было 66 лет, матери же моей всего лет 27—28. Я был старшим из их детей. После меня родился мой брат Борис, вслед за ним Александр, который вскоре умер, и последним брат Лев. Отец мой умер в 1859 году от крупозного воспаления легких. Мне в то время было 6 лет, Борису 4 года и Льву 2 года. Вслед за отцом через несколько месяцев умерла от чахотки и мать, и нас, всех трех братьев, взяла на воспитание наша тетка, Генриэта Антоновна Гагемейстер, у которой не было детей. Ее муж Карл Максимович очень нас любил, и они оба заменили нам отца и мать в полном смысле этого слова.

Дядя и тетка не жалели средств, чтобы нас воспитывать. Вначале их главное внимание было обращено на обучение нас различным иностранным языкам. У нас были сначала гувернантки, а потом, когда мы подросли, гувернеры. Последний из них, некто Бекман, имел громадное на нас влияние. Это был человек с хорошим образованием, кончивший университет, отлично знал французский, немецкий и английский языки и был великолепным пианистом. К сожалению мы все трое не обнаруживали способностей к музыке и его музыкальными уроками воспользовались мало. Но французский язык был нам как родной; немецким же языком я владел также достаточно твердо; английский же язык я вскоре, с молодых лет, забыл вследствие отсутствия практики.

Моя тетка сама была также выдающаяся музыкантша и славилась в то время своей игрой на рояле. Все проезжие артисты обязательно приглашались к нам, и у нас часто бывали музы-

[1] Цифры от 1 до 35 в тексте указывают на примечания редакции в конце книги.

кальные вечера. Да и вообще общество того времени на Кавказе отличалось множеством интересных людей, впоследствии прославившихся и в литературе, и в живописи, и в музыке. И все они бывали у нас. Но самым главным впечатлением моей юности были, несомненно, рассказы о героях кавказской войны. Многие из них в то время еще жили и бывали у моих родных. В довершение всего роскошная южная природа, горы, полутропический климат скрашивали наше детство и давали много неизгладимых впечатлений.

Я прожил в Кутаисе до 14 лет, а затем дядя отвез меня в Петербург и определил в Пажеский корпус, куда еще мой отец зачислил меня кандидатом. Поступил я по экзамену в 4-й класс и быстро вошел в жизнь корпуса. В отпуск я ходил к двоюродному брату моего названного дяди, графу Юлию Ивановичу Стембоку. Он занимал большое по тому времени место директора департамента уделов. Видел я там по воскресным дням разных видных беллетристов, Григоровича, Достоевского и многих других корифеев литературы и науки, которые не могли не запечатлеться в моей душе. Учился я странно: те науки, которые мне нравились, я усваивал очень быстро и хорошо, некоторые же, которые были мне чужды, я изучал неохотно и только-только подучивал, чтобы перейти в следующий класс: самолюбие не позволяло застрять на второй год. И когда в 5-м классе я экзамена не выдержал и должен был оставаться на второй год, я предпочел взять годовой отпуск и уехать на Кавказ к дяде и тетке.

Вернувшись обратно через год, я, минуя шестой класс, выдержал экзамен прямо в специальный, и мне удалось быть в него принятым. В специальных классах было гораздо интереснее. Преподавались военные науки, к которым я имел большую склонность. Пажи специальных классов, помимо воскресенья, отпускались два раза в неделю в отпуск. Они считались уже на действительной службе. Наконец, в специальных классах пажи носили кепи с султанами и холодное оружие, чем мы, мальчишки, несколько гордились. В летнее время пажи специальных классов направлялись в лагерь в Красное Село, где мы в составе учебного батальона участвовали в маневрах и различных военных упражнениях. Те же пажи, которые выходили в кавалерию, прикомандировывались на летнее время к Николаевскому кавалерийскому училищу, чтобы приготовиться к езде. Зимою пажи, выходившие в кавалерию, ездили в придворный манеж, где на свитских лошадях, под управлением одного из царских берейторов, мы изучали искусство ездить и управлять лошадью. В то время при Пажеском корпусе еще не было ни своего манежа, ни лошадей.

В 1872 году войска Красносельского лагеря закончили свое

полевое обучение очень рано—17 июля, тогда как обыкновенно лагерь кончался в августе месяце. В этот знаменательный для нас день всех выпускных пажей и юнкеров собрали в одну деревню, лежавшую между Красным и Царским Селом (названия ее не помню), и император Александр II поздравил нас с производством в офицеры. Я вышел в 15-й драгунский Тверской полк, стоявший в то время в урочище Царские Колодцы в Закавказском крае. Пажи имели в то время право выбирать полк, в котором хотели служить, и мой выбор пал на Тверской полк вследствие того, что дядя и тетка рекомендовали мне именно этот полк, как ближе всего стоявший от места их жительства. В гвардию я не посягал выходить вследствие недостатка средств.

Вернувшись опять на Кавказ уже молодым офицером, я был в упоении от своего звания и сообразно с этим делал много глупостей, вроде того, что сел играть в стуколку с незнакомыми людьми, не имея решительно никакого понятия об этой игре, и проигрался вдребезги до последней копейки. Хорошо, что это было уже недалеко от родного дома, и мне удалось занять денег благодаря престижу моего дяди. Я благополучно доехал до Кутаиса. Через некоторое время, едучи в полк и проезжая через Тифлис, я узнал, что полк идет в лагерь под Тифлисом и поэтому остался в Тифлисе ждать его прибытия.

В то время в Тифлисе был очень недурной театр, много концертов и всякой музыки, общество отличалось своим блестящим составом, так что мне, молодому офицеру, было широкое поле деятельности. Таких же сорванцов, как я (мне было всего 18 лет), там было несколько десятков. Наконец, к 1 сентября, прибыв в полк, я тотчас же явился к командиру полка полковнику Богдану Егоровичу Мейендорфу. В тот же день перезнакомился со всеми офицерами и вошел в полковую жизнь. Я был зачислен в 1-й эскадрон, командиром которого был майор Михаил Александрович Попов, отец многочисленного семейства. Это был человек небольшого роста, тучный, лет сорока, чрезвычайно любивший полк и военное дело. Любил он также выпить; впрочем, я должен сказать, что и весь полк в то время считался забубенным. Выпивали очень много и почти все при каждом удобном и неудобном случае. Большинство офицеров были холостяки; насколько помню, семейных было 3—4 человека во всем полку. К ним мы относились с презрением и юным задором.

В лагере жили в палатках и каждый день к вечеру все, кроме дежурного по полку, уезжали в город. Больше всего нас привлекала оперетка, во главе которой стоял Сергей Александрович Пальм (сын известного беллетриста 70-х годов Александра Ивановича Пальм), его брат Григорий Александрович Арбенин, Колосова, Яблочкина, Кольцова, Волынская и много других талантливых певцов и певиц. Даже такие великие артисты, как О. А. Прав-

дин, начинали свою артистическую карьеру в этой оперетке. Кончали мы вечер, обычно направляясь целой гурьбой в ресторан гостиницы «Европа», где и веселились до рассвета. А. И. Сумбатов-Южин, тогда начинавший писать стихи и пьесы студент, участвовал в ужинах, дававшихся артистам. Иногда приходилось, явившись в лагерь, немедленно садиться на лошадь, чтобы отправляться на учение. Бывали у нас фестивалы и в лагере, которые зачастую кончались дуэлями, ибо горячая кровь южан заражала и нас, русских.

Помнится мне один случай. Это был праздник, кажется, 2-го эскадрона. Так как наш полковой священник оставался в Царских Колодцах, то был приглашен протопресвитер Кавказской армии Гумилевский. Сели за стол очень чинно, но к концу обеда князь Чавчавадзе и барон Розен из-за чего-то поссорились, оба выхватили шашки и бросились друг на друга. Офицеры схватили их за руки и не допустили кровопролития. Но в это время о. Гумилевский, с перепугу и не желая присутствовать при скандале, хотел удрать из этой обширной палатки, причем застрял между полом и полотном настолько основательно, что мы были принуждены его извлечь, посадить с торжеством на извозчика и отправить домой. На рассвете состоялась дуэль между Чавчавадзе и Розеном, окончившаяся благополучно: противники обменялись выстрелами и помирились.

К сожалению, далеко не всегда эти нелепые состязания кончались так тихо; бывало много случаев бессмысленной гибели человеческой жизни. Однажды и я был секундантом некоего Минквица, который дрался с корнетом нашего же полка фон-Ваком. Этот последний был смертельно ранен и вскоре умер. Был суд. Минквица приговорили к двум годам ареста в крепости, а секундантов, меня и кн. И. М. Тархан-Муравова, к четырем месяцам на гауптвахту. Потом наказание нам было смягчено, и мы отсидели всего два месяца. Подробностей этой истории я хорошо не помню, но причина этой дуэли была сущим вздором, как и причины большинства дуэлей того времени. У меня осталось только впечатление, что виноват был кругом Минквиц, так как это был задира большой руки, славившийся своими похождениями,—и романтическими и просто дебоширными. Хотя конечно это был дух того времени, и не только на Кавказе и не только среди военной молодежи. Времена Марлинского, Пушкина, Лермонтова были от нас еще сравнительно не так далеки, и поединки, смывающие кровью обиду и оскорбления, защищающие якобы честь человека, одобрялись и людьми высокого ума и образования. Так что ставить это нам, зеленой молодежи того времени, в укор—не приходится.

В отношении военного образования, любви к чтению и дальнейшего самообразования мы сильно страдали, и исключений

среди нас в этом отношении было немного, хотя Кавказская война привлекла на Кавказ немало людей с большим образованием и талантами. Замечалась резкая черта между мало образованными офицерами и, наоборот, попадавшими в их среду людьми высокого образования. В этой же среде вертелось немало военных авантюристов вроде итальянца Корадини, о котором ходило много необыкновенных рассказов, или офицера Переяславского полка Ковако, изобретателя электрической машинки для охоты на медведей.

Война 1877—1878 г.

В Турецкой войне 1877 — 1878 г.[2] я уже участвовал лично в чине поручика и был полковым адъютантом Тверского драгунского полка.

В 1876 году мы стояли в своей штаб-квартире в урочище Царские Колодцы Сигнахского уезда, Тифлисской губернии. Много было толков о войне среди офицеров, которые ее пламенно желали. Однако никто не надеялся на скорое осуществление этой надежды. В особенности нетерпеливо рвались в бой молодые офицеры, наслушавшиеся вдоволь боевых воспоминаний от своих старших товарищей, участвовавших в Турецкой войне 1853—1856 гг. и в кавказских экспедициях. Как вдруг 2-го или 3-го сентября была получена командиром полка телеграмма начальника штаба Кавказского военного округа, в которой предписывалось полку немедленно двинуться через город Тифлис в Александропольский лагерь. Трудно описать восторг, охвативший весь полк по получении этого известия. Радовались предстоящей новой и большинству незнакомой боевой деятельности (все почему-то сразу уверовали, что без войны дело не обойдется); радовались неожиданному перерыву в однообразных ежедневных занятиях по расписанию; радовались, наконец, предстоящему, хотя бы и мирному походу, который заменял собою скучную до приторности штаб-квартирную казарменную жизнь.

Часто, впоследствии, при перенесении разных тяжких невзгод, вспоминалась нам наша штаб-квартира в радужном свете, но в это время, я уверен, что не было ни одного человека в полку, который не радовался бы от всего сердца наступившему военному времени.

Впрочем, нужно правду сказать, что едва ли кто-либо был особенно воодушевлен мыслью итти драться за освобождение славян или кого бы то ни было, так как целью большинства была именно самая война, во время которой жизнь течет беззаботно, широко и живо, содержание получается большое, а вдобавок дают и награды, что для большинства было делом весьма заманчивым и интересным.

Что же касается нижних чинов, то думаю, что не ошибусь, если скажу, что более всего радовались они выходу из опостылевших казарм, где все нужно делать по команде; при походной же жизни у каждого — большой простор. Никто не задавался вопросом, зачем нужна война, за что будем драться и т. д., считая, что дело царево—решать, а наше—лишь исполнять. Насколько я знаю, такие настроения и мнения существовали во всех полках Кавказской армии.

6 сентября полк, отслужив молебен, покинул свою штаб-квартиру в составе 4 эскадронов; нестроевая же рота была оставлена в Царских Колодцах впредь до особого распоряжения, потому что все тяжести были оставлены на месте, за неимением средств поднять их своими силами. Полковой обоз был у нас в блестящем положении, так как стараниями нашего бывшего полкового командира барона Мейендорфа были изготовлены фургоны, как у немецких колонистов, на прочных железных осях; но у нас по мирному времени было всего 15 подъемных лошадей, да и то весьма незавидных, а потому пришлось двинуться с места с помощью обывательских подвод и погрузить строевых лошадей походным вьюком, забрав притом лишь самое необходимое на короткое время.

Стодвадцативерстное расстояние от Царских Колодцев до г. Тифлиса полк прошел в трое суток и в Тифлисе имел две дневки. После первого же перехода оказалось много побитых спин у лошадей; по прибытии же в Тифлис оказалось, что побиты спины чуть ли не у половины лошадей полка, хотя у большинства это ограничивалось небольшими ссадинами на хребте у почек лошади, которые скоро прошли бесследно. Виною была, конечно, малая сноровка людей, которые не умели ловко укладывать вещи в чемоданы и, приторачивая их к задней луке, недостаточно подтягивали, а кроме того сами на походе болтались в седле.

Командир 1-го эскадрона майор князь Чавчавадзе просил и получил разрешение вместо чемоданов сделать своему эскадрону подушки, которые набивать вещами и класть на ленчик под попоной. Способ такой возки вещей практиковался во время Кавказской войны во всех наших драгунских полках и был взят у казаков. Другие эскадроны последовали примеру 1-го эскадрона, и мы всю кампанию проходили с такой укладкой вещей, оказавшейся действительно весьма практичной и удобной.

Жирные тела лошадей, не втянутых заблаговременно в работу, при первых относительно больших переходах в сильную жару (как упомянуто выше, мы прошли 120 верст в три перехода, без дневок, в обыкновенное же время проходили это расстояние в пять переходов с двумя дневками) дали себя знать: лошади сразу спали с тела и осунулись.

Я остановился на этих мелочах потому, что тут немедленно сказалось неправильное воспитание всадников и лошадей в мирное время, т. е. погоня за красотой и блеском в прямой ущерб боевому делу. Тому были виною не командир полка и не эскадронные командиры, которые, будучи старыми кавказскими офицерами, не могли симпатизировать таким приемам обучения, но поневоле покорялись требованиям свыше, с досадою выбивая из головы боевой опыт и заменяя его изучением и обучением плац-парадным замашкам, которые всегда были так противны кавказцам. Результаты мирного воспитания нашего, как я упомянул, сказались тотчас же; потом нам пришлось пожинать еще много плодов этого воспитания, и пришлось опять, уже во время войны, учиться и учить старым сноровкам, брошенным по приказанию и выплывшим снова наружу, как только мы столкнулись с боевой деятельностью.

9 сентября эшелон, состоявший из нашего полка и 5-й пешей батареи Кавказской гренадерской дивизии, двинулся из Тифлиса по Дилижанскому шоссе в г. Александрополь, куда и прибыл, согласно данному маршруту, 26 сентября.

На первом переходе батарея пошла между дивизионами драгун, хотя неприятеля, конечно, и предвидеться не могло около Тифлиса, да еще в мирное время. При таком порядке не замедлила подтвердиться пословица, что пеший конному не товарищ: пешая батарея совсем заморилась и все-таки отставала от головного дивизиона, который постоянно должен был останавливаться, чтобы дать подтянуться колонне; задний же дивизион шел черепашьим шагом. К счастью, со второго перехода был изменен порядок движения, и батарея пошла отдельно; полк же старался развить шаг лошадей и достиг того, что, подходя к Александрополю, мы легко делали около 7 верст в час, причем было обращено строгое внимание на то, чтобы хвост каждого эскадрона не рысил и не смел оттягивать. Шли мы без мундштуков, на трензелях.

В Александрополе нас встретил и пригласил к себе на обед, как офицеров, так и нижних чинов, 154-й пехотный Дербентский полк, у которого мы и пировали почти целую ночь. Нечего говорить, что как большинство тостов, так и все разговоры были на тему «война», которую мы надеялись предпринять осенью же. Обычай встречи и угощения прибывающей воинской части какой-либо другой частью твердо укрепился тогда в кавказских войсках; такие две части называли себя кунаками, т. е. друзьями. Обычай этот имеет великий смысл в боевом отношении, так как такие части-кунаки не только не покинут друг друга в бою, но и приложат все силы помочь друг другу и выручить как на поле брани, так и в походе и в лагере.

В начале октября был отдан приказ о сформировании действующего корпуса на кавказско-турецкой границе[1] и о назначении командующим корпусом генерал-адъютанта Лорис-Меликова. В день своего прибытия он произвел войскам лагеря тревогу, а после церемониального марша собрал вокруг себя всех офицеров и сказал соответствующую случаю речь. Мы ей очень обрадовались, так как, во-первых, могли из нее заключить, что дело положительно клонится к войне, которой мы очень желали, а, во-вторых, нам объявлено было о выдаче полугодового оклада жалованья сверх нормы и о переходе на довольствие по военному положению.

Вскоре после того кавалерия действующего корпуса получила новую организацию: Кавказская кавалерийская дивизия, состоявшая из 4 драгунских полков, была расформирована, и были составлены три сводных кавалерийских дивизии. 1-я и 3-я дивизии состояли из 1 драгунского и 4 казачьих полков, а 2-я—из 2 драгунских и 3 казачьих. Начальником кавалерии был назначен генерал-майор кн. Чавчавадзе, а начальниками дивизий: 1-й—свиты его величества генерал-майор Шереметьев, 2-й—генерал-майор Лорис-Меликов и 3-й—генерал-майор Амилахвари (3-я дивизия была в Эриванском отряде).

Одновременно с этим было приказано усиленно готовиться к зимней кампании. Началась усиленная покупка полушубков для нижних чинов, насколько мне помнится, по высокой цене и с большими затруднениями. Индендантство же доставило в наш полк всего лишь около ста полушубков довольно плохого качества. Началась также покупка обозных лошадей для укомплектования их по военнному времени; на каждую обозную лошадь отпущено было казной 100 рублей, и покупка этих лошадей не составила никакого затруднения.

26 октября объявлена была дислокация войск действующего корпуса для расположения на зимних квартирах.

1-й кавалерийской дивизии выпало на долю зимовать в духоборских селениях и армянских аулах пограничного Ахалкалакского уезда. Тверской драгунский полк, вошедший в состав этой дивизии, выступил из Александрополя 29 октября и прибыл на свои зимние квартиры 1 ноября.

На зиму полк разместился в трех духоборских деревнях. Стоянка была сносная в отношении расположения людей и лошадей, но по причине сильных холодов и метелей, а главное по привычке добиваться тучных тел у лошадей в ущерб их выносливости и силе, проездки не делались. Рассуждали так: будет война или нет—бабушка надвое сказала, а во всяком случае

[1] Корпус составился из главных сил, находившихся в Александрополе Эриванского отряда Г. Л. Тергукасова и Ахалцыхского отряда Г. Л. Девеля. *А. Б.*

на военном смотру лошадей нужно показать наподобие бочек, а то, пожалуй, въедет порядком. Такой взгляд совершенно не разделял наш новый начальник дивизии, но его требования были нам еще мало известны. Эскадронные командиры не могли так быстро переменить привычек, усвоенных в мирное время, и хотя на словах вполне соглашались с мнением, что лошадь, хорошо кормленная, требует и хорошей езды, но на деле как-то так выходило, что друг перед другом они не могли не хвастаться телами лошадей и старались перещеголять других в этом именно направлении.

Тут еще раз наглядно подтвердилась истина, о которой так много говорят и пишут и которая все-таки забывается по миновании необходимости: в мирное время от войск нужно требовать непременно и исключительно только того, что необходимо им в военное время. Эта забывающаяся истина впоследствии очень часто напоминала о себе, и много раз мы проклинали наши мирные методы обучения.

К январю 1877 года полк был приведен в материальном отношении в блестящее положение. Оставшаяся часть полкового обоза и необходимые тяжести прибыли к полку из Царских Колодцев в декабре, так что мы могли тронуться в поход по данному приказанию тотчас же.

1 апреля, по телеграмме командующего, полк выступил в г. Александрополь усиленным маршем в два перехода. Погода была ненастная; громадные сугробы таявшего снега препятствовали движению обоза. Поэтому полк, прибывший своевременно к месту назначения, два дня оставался без обоза. К этому же времени все войска главных сил были стянуты к Александрополю. 11 апреля, хотя нам никто ничего не объявлял, разнесся между нами слух, что 12-го будет объявлена война, и что мы в ночь с 11-го на 12-е перейдем границу. В 7 часов вечера весь лагерь, по распоряжению корпусного командира, был оцеплен густой цепью с приказанием никого в город из лагеря не выпускать, а затем в 11 часов вечера все полковые адъютанты были потребованы в штаб корпуса, и там нам продиктовали манифест об объявлении войны и приказ командующего корпусом, в котором значилось, что кавалерия должна перейти границу в 12 часов ночи. Так как оставалось всего полчаса до 12 часов, то я поскакал в свой лагерь для объявления этой новости. Я застал лагерь уже собранным и всех готовившимися к выступлению. Кто, когда и как успел это объявить,—оказалось невозможным узнать; сам командир полка полковник Наврузов удивлялся, почему полк собирается.

Выступили мы в $12\frac{1}{2}$ часов ночи и быстро подошли к турецкой казарме, стоявшей на правом берегу Арпачая. Ночь была очень темная. Река была в полном разливе. Мы переправились

частью в брод и частью вплавь. Турки крепко спали, и нам стоило больших усилий разбудить их и потребовать сдачи их в плен. После некоторых переговоров турки, видя себя окруженными, исполнили наше требование и сдались без единого выстрела вместе со своим бригадным командиром. Другая наша колонна так же успешно выполнила возложенное на нее поручение. Мы взяли тогда в плен больше сорока сувари (турецкие драгуны) и сотню турецкой конной милиции со значком.

Сделав около 60 верст в первый день перехода границы, полк имел первым ночлегом село Кизил-Чах-Чах. После этого 1-я Кавказская кавалерийская дивизия, в состав которой мы входили, начала снимать неприятельские посты по Арпачаю, не удаляясь внутрь страны. К вечеру стало известно, что турецкий отряд из трех родов войск стоит верстах в двадцати от нас. Начальник дивизии послал разведку в сторону противника, а дивизию расположил биваком около какого-то турецкого селения, название которого я не помню. К пяти часам утра, когда приказано нам было выступить, разведка точно выяснила, что турецкий отряд со своего бивака снялся и спешно отступил к Карсу. Мы двинулись за ним, но догнать его не могли.

Подойдя к Карсу, мы узнали, что значительный отряд турецких войск выступил из Карса в Эрзерум и что с этим отрядом ушел главнокомандующий Анатолийской армией Мухтар-паша. Обойдя вокруг крепости Карса, на что потребовалось много времени, мы погнались за Мухтар-пашой. Взяли много отставших турецких солдат, часть их обоза, но догнать самый отряд не могли и заночевали у подножия Саганлукского хребта с тем, чтобы на другой день вернуться обратно к Карсу. В окрестных селениях турки встречали наши войска угрюмо и молча, армяне же с восторгом. Когда мы выступили из Александрополя, у нас было взято на двое суток сухарей и больше ничего. А так как шли уже третьи сутки после нашего выступления, то приказание «растянуть» не могло быть выполнено, ибо уже все сухари были съедены. Лазаретный фургон и обоз сбились с дороги и попали в руки шайки башибузуков, которые убили и изуродовали нескольких солдат. Все эти жертвы были не к чему, так как Мухтар-паша успел удрать в горы и скрылся в лесу. Ночью был сильный холод, огней разводить не позволяли, и мы были очень злы. Вместо Мухтар-паши взяли нескольких отсталых пленных с оружием, часть обоза и патронных ящиков.

На рассвете следующего дня выступили обратно, но, проходя мимо карских укреплений, наткнулись на засаду, желавшую преградить нам путь к нашим главным силам. При стычке, насколько мне помнится, мы потеряли одного или двух воинов, засаду опрокинули и вернулись обратно к востоку от Карса, где встретились с нашей пехотой. Помнится мне, 26 апреля было

донесено главному командованию, что большие стада быков пасутся за северным фронтом Карса. Туда была отправлена бригада кавалерии, состоящая из Тверского полка и, кажется, казачьего Горско-Моздокского. Скота мы не встретили, но зато встретились с производившим вылазку из Карса турецким отрядом, состоявшим из пехоты, артиллерии и кавалерии. Турецкая пехота цепями начала наступать на нас. Наш полк спешился и открыл по ним ружейный огонь. Тогда турки открыли и орудийный огонь. У нас появились убитые и раненые офицеры и солдаты. Ввиду наличия перед нами значительных турецких сил приказано было отступать, посадив спешенные части опять на лошадей.

Я ехал за своим полковым командиром шагах в десяти от него, как вдруг со страшным воем неприятельский снаряд упал между командиром полка и мною и разорвался. Лошадь полковника Наврузова сделала большой скачок, оборвав все четыре повода, и понесла его, врезавшись в третий эскадрон, где ее и словили. Моя лошадь от испуга опрокинулась навзничь, и я вместе с нею упал на землю. Затем она вскочила и ускакала, я же остался пеший. В это время весь наш отряд тронулся рысью, и я, чтобы не попасть в плен, побежал по пахотному полю. Когда я увидел моего трубача, изловчившегося поймать мою лошадь, я несказанно обрадовался, быстро вскочил на нее и понесся догонять свое начальство. На этом, собственно, и кончился наш бой с турками, вернувшимися обратно в Карс.

Постепенно Карс охватывался нашими войсками, и скоро мы его обложили со всех сторон. Вскоре подвезли осадную артиллерию, и началась первая осада крепости.

Время это для нас было очень беспокойное. Ежедневно турки делали вылазки; тогда кавалерию вызывали вперед, и мы должны были на рысях в разомкнутом порядке доходить, под сильным артиллерийским огнем, до ближайших фортов, никогда не сталкиваясь с неприятелем, теряя людей, и возвращались домой. Помнится мне следующий случай. Некий майор Артадуков, увидев неприятельскую батарею, стоявшую на открытом поле, развернул свой дивизион и, бросившись на нее в бешеную атаку, прогнал ее. Но доскакать до нее вплотную не смог, так как перед батареей оказалась громаднейшая балка с очень крутыми берегами, по которым он спуститься не мог. Увидев, что батарея удирает и, таким образом, цель достигнута, он скомандовал: «по-взводно налево кругом». Во время этого поворота крепостная граната из Карса попала во взвод эскадрона, причем убило лошадей всего взвода, но ни одного человека не ранило. Граната, ударив по голове правофланговой лошади и спускаясь ниже, последней лошади во взводе оторвала копыто. Я никогда более такого случая в жизни не видал.

Этим 2-м взводом 2-го эскадрона командовал 17-летний воль-

ноопределяющися Р. Н. Яхонтов[1], брат моей второй жены, который получил за это дело георгиевский крест. Мне пришлось молодым офицером начинать воевать рядом с ним и закончить свои боевые подвиги старым генералом в Германскую войну 1914—1917 гг., имея его у себя в штабе уже старым полковником. Он провел всю свою жизнь в Тверском полку и последние два года перед германской войной был в отставке. Когда же Германия нам объявила войну, он примчался ко мне с Кавказа, одушевленный старой дружбой и желанием послужить еще родине под моим начальством, что я и имел возможность ему устроить, тем более, что я его горячо любил и считал его благородным, верным мне другом.

Продолжаю дальше. Мы называли эти вызовы кавалерии к Карсу «выходами на бульвар», и этот «бульвар», признаться, нам порядочно надоел.

---

[1] Яхонтов был удивительно чистой души, скромный и тихий человек. Прожил он 66 лет, и никто никогда не слышал, чтобы он с кем-нибудь поссорился или на него кто-либо серьезно сердился. Его любили и старые и молодые. Выйдя в отставку, он продолжал жить в Царских Колодцах и, будучи старым холостяком, был окружен громадной полковой семьей. И не только в полку, но и среди поселян он был любим. Кроме книг и токарного станка, его страстью была охота. Охотники всего Кавказа хорошо его знали и любили, так как вместе с ним исходили и изъездили все дебри, самые глухие и непроходимые места в горах и лесах. Историю Кавказа, нравы и обычаи, поверья и легенды множества народностей, его населяющих, он знал удивительно. Беседа с ним была крайне интересна, так как он был очень остроумный, наблюдательный и всегда добродушно-веселый собеседник. В революционные годы присутствие его было для меня большим утешением. Он был мистиком. Близость верований и убеждений, общие воспоминания, твердость его духа делали наши беседы большой для меня отрадой. В 1920 году он сильно болел, буквально погибая от истощения. Он провел в своей жизни три войны: Турецкую 1877/78 г., Японскую — 1904/05 г. и Германскую — 1914 — 1917 гг., у него было много боевых наград и отличий, но так страдать от голода и холода, как в Москве в 1918—1920 гг., ему раньше не приходилось. У него в комнате в эти зимы бывало до 4° мороза. Тогда нам всем бывало худо. Это, конечно, и отозвалось на нас всех, но меня лично несколько лучше питали, так как многие друзья делились со мной куском хлеба. Яхонтов служил в Главкоже, в канцелярии Главного военно-инженерного управления, наконец покойный друг наш Дмитрий Николаевич Логофет перед самой своей смертью устроил его в Туркпредставительство по конной части. Слабый, больной, исхудалый, он в лютые зимы тащился ранним утром на службу, добросовестно работал и иногда возвращался домой, усталый и измученный, в 6 и 7 часов вечера. Когда со службы его сократили, он был страшно потрясен. Начались хождения и часовые ожидания в очередях, в профсоюзе, на бирже труда и т. д. Не стало сил, и он, жестоко страдая от грудной жабы, туберкулеза легких и расширения сердца, скончался. Для меня и моей семьи это была тяжелая потеря. После моих братьев и сына это был мне самый близкий человек. Последнюю услугу он оказал мне, начертив для меня две карты галицийских битв. Какое горячее участие принимал он во всем, касавшемся моих военных дел и лично меня, видно из его писем к сестрам с войны. При жизни я его любил, но мало ценил, и теперь только это сознал. *А. Б.*

Вскоре наш полк переместился с восточной на западную сторону Карской долины. В это же время двинули и отряд, состоявший, насколько мне помнится, из Кавказской гренадерской дивизии, 2-й Сводной казачьей дивизии с соответствующей артиллерией, на Саганлукский хребет по дороге в Эрзерум против турецкого отряда, шедшего для выручки Карса. Наша атака при Зевине оказалась неудачной, и наши войска стали отступать.

Когда я думаю об этом времени, я всегда вспоминаю забавный и вместе с тем печальный эпизод с талантливейшим корреспондентом петербургской газеты (кажется «Нового времени») Симборским. Он приехал в Кавказскую армию одушевленный лучшими намерениями. Завоевал все симпатии своими горячими прекрасными корреспонденциями, своим веселым нравом и остроумием. Но после неудач у Зевина нелегкая его дернула написать экспромтом стихи по этому поводу. Они стали ходить по рукам и всех нас несказанно веселили. Вот эти стихи, насколько я их помню:

ЧОРТОВА ДЮЖИНА.

Под трубный звук, под звон кимвалов,
В кровавый бой, как на парад,
Пошли тринадцать генералов
И столько ж тысячей солдат.
Был день тринадцатый июня;
Отпор турецкий был не слаб:
Солдаты зверем лезли втуне, —
Тринадцать раз наврал наш штаб.
Под трубный звук, под звон кимвалов
С челом пылающим... назад...
Пришли тринадцать генералов,
Но... много менее солдат...

Громы и молнии понеслись на бедного Симборского от высшего начальства. Особенно был обижен генерал Гейман [1], отличившийся под Ардаганом и сплоховавший под Зевином. Симборский во время одной пирушки опять обмолвился по его адресу:

Прощай, друзья. Схожу с арены,
Отдаться силе все должны.
Я гибну — жертвою измены...
Измены — счастия войны.
Из шутки, сказанной в полпьяна,
Устроить пошлость и скандал
Не смог бы витязь Ардагана,
Сумел зевинский генерал.

[1] Генерал Гейман был сын барабанщика-еврея. Чтобы в то время прославиться и дослужиться до больших чинов, ему нужно было быть исключительно талантливым и умным человеком. *А. Б.*

После этого судьба нашего веселого, талантливого журналиста-корреспондента была решена окончательно, его выслали из пределов Кавказской армии, и русская публика была лишена возможности читать правдивые и талантливые статьи о войне.

Вслед затем выяснилось, что наш отряд, обкладывавший Карс, должен снять осаду и уходить, что и было сделано очень искусно и спокойно. Турки заметили наше отступление лишь тогда, когда мы окончательно ушли. Мы отошли перехода на два назад и стали на месте, где в прошлую войну 1854 года было сражение при Кюрюк-Дара. Нам было указано, где войска должны были остановиться в случае наступления турок, и обозначены позиции, которые каждая часть войск должна была занимать. Но мы эти позиции не укрепляли, относясь к туркам слишком свысока, чтобы в их честь рыть землю. Турки наступали по горам очень осторожно. Мы же беспечно шли внизу по долине, нисколько о них не беспокоясь. Когда мы остановились, они тотчас же остановились над нами и закрепились. В таком положении мы простояли довольно долго друг против друга.

В это время Эриванский отряд генерала Тергукасова также потерпел неудачу и отошел в деревню Игдырь, где и остановился. Там совершенно так же русские стояли внизу, а на горных высотах над ними стояли турки. Решено было начать наступление Эриванским отрядом, а потому к нему в подкрепление послали бригаду конницы (в которую входил наш полк и, кажется, Кизляро-Гребенской казачий) под начальством генерал-майора князя Щербатова.

Этот князь был в своем роде «оригинал». Он всегда говорил: «Я люблю, чтобы вверенная мне часть была всегда сыта и довольна, и я ей эту сытость устрою на счет жителей». К счастью для этих последних, их по дороге в Эриванский отряд не попадалось, ибо мы шли по совершенно обнаженной равнине, где решительно ничего не было.

В три перехода мы перешли до Игдыря, где и расположились. Тут мы простояли довольно долго (месяца полтора), ничего не предпринимая. Раз только турки сами перешли в наступление и, вероятно не особенно охотно, стали медленно спускаться с гор. Все войска по тревоге выступили и заняли назначенные им позиции. В нашей бригаде артиллерии не было, но была ракетная батарея [3], которая и открыла огонь по спускавшимся туркам вместе с артиллерией нашей пехоты. Турки остановились, а затем спешно удрали обратно в горы, чем это дело и кончилось.

К концу лета наша бригада была отозвана обратно в главный отряд, чему мы очень обрадовались, так как в Игдыре мы находились без нашего обоза, и большинство из нас имели на себе только одну рубашку. При той страшной жаре, которая летом обычна в этом крае, это обстоятельство было мучительно. Обыкновенно

мы делали так: раздевались догола и садились под бурку, а белье, снятое с нас, кипятили в котелке, а затем вывешивали его на солнце. Что касается до пищи, то в то время походных кухонь не существовало. Когда войска стояли на месте, то они варили себе пищу в котлах. В тех же случаях, когда войска находились в движении или без обоза, как мы, то продукты раздавались по рукам, и каждый варил себе, что мог. В этом отношении солдаты и офицеры одинаково страдали.

Тем же порядком мы вновь вернулись в главный отряд. Мы очень удивились, что застали войска отряда в другом положении, чем в то время, когда мы его оставили. Оказалось, что накануне нашего прибытия турки атаковали своими главными силами наш отряд, сбили его и заставили несколько отступить. Это всех очень сердило, и все серьезно обижались на врагов, что «те осмелились нас атаковать». В таком презрении мы держали тогда турок! Прибыв в Башкадыклярский лагерь, мы расположились на назначенные нам места и вошли в курс обыкновенной жизни в лагере. Каждый день один дивизион ходил в сторожевое охранение, а другой отдыхал. Иногда же мы делали экскурсии в сторону врага.

Так наши части и турки стояли друг против друга до конца сентября. За это время к нам подошло подкрепление: 1-я гренадерская дивизия, два Оренбургских казачьих полка и разные другие части, именования которых я не помню.

Наконец, мы перешли в наступление, причем одна часть ударила по противнику с фронта, а другая, сильнейшая, вышла ему в тыл. Таким образом противник был разрезан пополам. Та часть, которая была отрезана нами, сдалась и положила оружие. Другая же часть бежала в крепость Карс, где и спряталась.

3 октября, когда это совершилось, со мной произошел такой случай. Наш полк выступил 2 октября вечером, совместно с целой колонной пехоты и артиллерии. Мы шли всю ночь и к рассвету подошли к горе Авлиар, которая была в центре неприятельской позиции. На нее пустили в атаку 1-й Кавказский стрелковый батальон, и он быстро овладел этой сильной позицией. В это же время турки начали продвигаться своим фронтом к Авлиару, и нашему полку было приказано пройти рысью к оврагу, который отделял Авлиар от остальной турецкой позиции, и спешиться у оврага. Командир полка приказал мне поскакать вперед и выбрать место для этого. Я поскакал, но не успел приблизиться к нужному месту, ибо лошадь моя внезапно сделала неестественный скачок и упала убитой, но я остался цел. Чтобы выполнить назначенную мне задачу, я приказал трубачу, меня сопровождавшему, спешиться, а мне дать свою лошадь и поскакал дальше вполне успешно.

Вскоре подошедший полк спешился в указанном мною месте, и солдаты, побежав вперед, заняли цепь по краю оврага. Турки

же, спускавшиеся было уже вниз, бросились обратно и заняли густою цепью другую сторону оврага. Цепи лежали друг от друга шагах в двухстах; огонь был развит очень сильный, пули перелетали через наших стрелков и попадали в наших несчастных лошадей, но, конечно, и часть людей сильно пострадала.

Случайно я спас своим советом одного из штаб-офицеров, майора Гриельского, который лег рядом со мной. На этом месте было много плоских камней. Один из них я поставил перед своей головой и посоветовал ему сделать то же самое. Только что он выполнил мой совет, как пуля ударила по этому камню и свалила его. Не будь этого,—Гриельский был бы убит наповал.

Лошади в течение суток ничего не пили и изнемогали от жажды; поэтому полку было приказано отправиться к нашему лагерю, так как это было ближайшее место для водопоя. После водопоя мы сейчас же вернулись обратно. Но за время нашего отсутствия войска отступили от того места, где стояли раньше, и вели усиленный бой у возвышенности, именуемой Кабахтана. Нас поставили в резерве за ней. Затем весь боевой порядок двинулся вперед, и мы расположились на ночь на тех местах, которые занимали утром.

На рассвете другого дня мы продолжали атаку противника, опрокинули его и прогнали к Карсу. Артиллерийский огонь карских укреплений остановил наше наступление. Тут мы приступили ко второй осаде Карса, окружив его со всех сторон. Наш полк расположился с западной стороны Карса. Доставили опять дальнобойную артиллерию, которая и стала обстреливать вновь карские форты. Помнится мне, что 24 октября турками была произведена большая вылазка, в отражении которой участвовал и наш полк. Впрочем, он ничего особенного в этот раз не сделал. Отличились же, насколько мне помнится, тифлисские гренадеры, которые взяли штурмом одно из главных укреплений Карса—Хафис-Паша. Впрочем, в эту же ночь они должны были этот форт очистить, так как он находился под обстрелом цитадели и всех фортов Карса. Этот эпизод однако показал, что турки—уже не те вояки, что прежде. Повидимому, поэтому и было решено попробовать взять крепость штурмом.

Штурм был назначен с 5-го на 6-е ноября. Было распределено, какие части какие форты штурмуют, а вся кавалерия была расположена на Эрзерумской дороге, так как это был единственный путь отступления для карского гарнизона. Штурм начался вечером, как только стемнело, и, по получавшимся сведениям, форты Карса один за другим попадали в наши руки. Наконец, к рассвету выяснилось, что все форты взяты, а громадная колонна турок, выбитая из крепости, направлялась по Эрзерумской дороге. Тут-то кавалерия и начала действовать, атакуя турок на ходу.

Наш полк попал в такое положение. Увидя перед собой турецкую колонну, он готовился ее атаковать и уже выстроил фронт, когда из этой колонны начали махать руками, шапками, чтоб мы подошли к ней. В это же время другая колонна вышла нам в тыл, и мы опасались, что попали между двух огней, как вдруг и оттуда стали кричать и звать нас, чтобы мы подошли и забрали их. Командир полка отправил по два эскадрона к каждой из этих колонн, и они обе нам сдались. По расспросам пленных выяснилось, что все вылезавшие из крепости турки потому только и выходили, что войска, штурмовавшие Карс, брали в плен неохотно и предпочитали уничтожать пленных. Поэтому выбитые из крепости турки предпочитали выйти и сдаваться кавалерии. Действительно, рассматривая положение турок, нужно сознаться, что им другого выхода не было: до Эрзерума было не менее 3-4 переходов, вышли они в одних своих куртках, без всякого обоза, и в таком одеянии, без пищи, по колено в снегу, пройти им до Эрзерума было бы невозможно.

К утру окончательно выяснилось, что Карс со всеми своими укреплениями и цитаделью, со всей многочисленной крепостной артиллерией и всеми запасами, был нами взят. Вскоре после этого было получено известие, что часть войск Александропольского отряда и весь Эриванский отряд под общим начальством генерал-лейтенанта Геймана разбили турецкую армию у Деве-Бойну. Таким образом противника больше в Малой Азии не оказывалось, и оставались только незначительные силы, спрятавшиеся в крепости Эрзерум, который штурмовался войсками Геймана, но неудачно.

Эрзерумский отряд после неудачного штурма отошел от него и, тесно блокируя, стал ее осаждать. Что касается нашего Александропольского отряда, бравшего Карс, то мы были распущены на зимние квартиры, причем наш полк попал на наши старые места в Джалол-Оглы, Воронцовку и Покровку. Я сдал должность полкового адъютанта и был назначен начальником полковой учебной команды, которую на зиму вновь собрали. Офицеры по очереди ездили в отпуск в Тифлис, и полк вообще расположился по мирному времени. У нас было затишье, тогда как в Дунайской армии война продолжалась. Читали мы в газетах о взятии Плевны, о выигранном сражении под Шипкой, о быстром приближении наших войск к Андрианополю, который и был взят без боя, о приближении нашего авангарда к Сан-Стефано. Вообще было ясно, что война кончается. 19 февраля мир был подписан, а в марте нашему полку со всей 1-й кавалерийской дивизией было приказано итти в Эрзерум, который по мирным условиям был нам сдан. Прибыли мы к Эрзеруму к апрелю и были поставлены перед ним по дороге на Трапезунд, который был занят турецкими войсками.

После заключения мира мы стояли на оккупации довольно свободно. В начале сентября 1878 года было получено известие, что турецкий отряд из трех родов войск прибудет в Эрзерум для принятия его от нас. В назначенный день навстречу ему был послан как бы почетный караул, состоявший из эскадрона драгун от нашего полка, батальона пехоты и одной батареи. Мы выстроились развернутым фронтом вдоль дороги и ждали их приближения. Сколько помню, турецкий отряд состоял из 5-6 батальонов пехоты, 3-4 эскадронов кавалерии и 2-3 батарей артиллерии. Увидев нас, турки остановились в нерешительности, не отдавая себе отчета, для чего мы вышли к ним навстречу. Тогда генерал Шереметьев послал своего переводчика доложить начальнику турецкого отряда, какому-то паше, что часть русской армии вышла им навстречу для отдания им чести, и что он просит их двигаться смело вперед. Наши музыканты начали играть какой-то марш, а офицеры салютовали шашками. Турецкие войска прошли мимо нас, имея довольно хороший вид. Очевидно, это были лучшие турецкие части. Но что нам показалось странным, это то, что в конце турецкой колонны впереди войскового обоза ехало несколько карет, в которых сидели турецкие дамы, очевидно жены начальствующих лиц. Они нами очень заинтересовались, высовывались из окон экипажей и жадно на нас смотрели. Кареты их были запряжены быками, что нас тоже очень поразило. Когда шествие это кончилось, мы вернулись в свой лагерь, а на другой день выступили обратно через Карс в свои пределы. Эту зиму мы провели опять в Джалол-Оглы и его окрестностях, но на совершенно мирном положении.

Служба в Петербурге.

В сентябре 1879 года мы вернулись через Тифлис в Царские Колодцы, где и заняли свои прежние казармы. Мне надоело все одно и то же, и после войны начинать опять старую полковую жизнь я находил чрезмерно скучным. Поэтому следующим летом я постарался уехать на воды в Ессентуки и Кисловодск, так как чувствовал себя не совсем здоровым. В то время готовилась экспедиция в Теке. Я был назначен в состав этой экспедиции и хотел оправиться на столько, чтобы мне здоровье не помешало принять в ней участие. К сожалению, это не удалось, я заболел, и наш начальник дивизии, ген. Шереметьев, бывший также в Ессентуках, потребовал меня к себе и заявил, что не находит возможным разрешить мне ехать в экспедицию. Я донес командиру полка решение начальника дивизии и взял свое первоначальное заявление обратно. Экспедиция должна была отправиться в июле месяце. Я же оставался на водах до

осени, после чего вернулся в полк, который в то время был в двухэскадронном составе, ибо первый дивизион ушел в Ахал-Теке. Мое здоровье плохо поправлялось, я все еще болел, но тем не менее нес службу, заведуя полковой учебной командой, за что был представлен в производство в чин ротмистра. Провел я очень скучную зиму и первый раз заинтересовался медиумизмом.

При мне случалось много очень интересных явлений, которые убедили меня, что эта отрасль, неизведанная наукой, действительно существует. Между прочим, мне помнится, на одном из сеансов дано было сообщение, что майор Булыгин убит накануне, о чем полку решительно ничего не могло быть известно. Этот штаб-офицер командовал 1-м эскадроном. Он был самостоятельный, умный и распорядительный человек, которого в полку очень любили и уважали. Наш кружок не поверил сообщению, но на следующий день утром была получена телеграмма от начальника дивизиона из Ахал-Теке, в которой тот доносил командиру полка, что Булыгин действительно был убит в день, указанный на сеансе. Это нас всех очень опечалило, но еще более привлекло к спиритическим опытам.

На одном из сеансов у нас появились несколько фраз, написанных на неизвестном нам языке. Мы отложили в сторону этот лист бумаги, так как ничего не поняли, но когда в комнату вошел один из наших товарищей, персидский принц, и взглянул на эти строки, он сильно побледнел. Оказалось, что это было написано по-персидски и относилось к нему. Его бабушка, давно умершая, будто бы упрекала его в том, что он отходит от заветов предков, пьет вино и т. д.

Эти поразительные факты мне сильно засели в голову, и я с тех пор стал стремиться читать как можно более книг по этим отвлеченным вопросам. Но достать их в то время в глуши Кавказских гор в военной среде было весьма затруднительно. Гораздо позднее, в Петербурге и за границей, я начитался вдоволь всевозможных журналов и книг по этим вопросам.

До 1881 года я продолжал тянуть лямку в полку, жизнь которого в мирное время, с ее повседневными сплетнями и дрязгами, конечно, была мало интересна. Разве только охота на зверя и птицу—великолепная, обильная, в чудесной горной лесистой местности—несколько развлекала.

Я решил поступить в Кутаисский иррегулярный конный полк, состоящий из туземцев Кутаисской же губернии. Но в это время командир Тверского полка предложил мне поступить в переменный состав Офицерской кавалерийской школы, находившейся в Петербурге. Я это предложение принял, предполагая, что после этого я вернусь обратно в свой полк. Но вышло так, что я остался в Петербурге, так как, в 1883 году мне было предложенно зачислиться в конно-гренадерский полк и оставаться

в постоянном составе Офицерской кавалерийской школы. Вследствие этого, силою судеб, я остался в Петербурге и на много лет поселился на Шпалерной улице близ Смольного монастыря в Аракчеевских казармах, низких и приземистых, представлявших громадный контраст чудной природе Кавказа, который с тех пор я окончательно покинул. Петербург был мне все же близок, так как я в нем воспитывался, и я считал его родным.

Я был зачислен адъютантом школы, начальником которой в то время был генерал И. Ф. Тутолмин. Но вскоре он был назначен начальником Кавказской кавалерийской дивизии, а начальником школы был назначен В. А. Сухомлинов, в то время еще полковник. Я был в то же время назначен начальником Офицерского отдела Офицерской кавалерийской школы. В это время я часто производил различные набеги и кавалерийские испытания, и жизнь моя наполнилась весьма интересовавшими меня опытами кавалерийского дела. В этот период в течение нескольких лет я также ведал ездою пажей, для чего приезжал в Пажеский корпус, где в манеже давал уроки езды. Отношения с молодыми людьми у меня были самые товарищеские.

В 1884 году я женился на племяннице Карла Максимовича Гагемейстера, моего названного дяди, Анне Николаевне фон-Гагемейстер. Этот брак был устроен, согласно желанию моего дяди, ввиду общих семейных интересов. Но, несмотря на это, я был очень счастлив, любил свою жену горячо, и единственным минусом моей семейной жизни были постоянные болезни и недомогания моей бедной, слабой здоровьем жены. У нее было несколько мертворожденных детей, и только в 1887 году родился сын Алексей, единственный оставшийся в живых.

Во время пребывания моего в постоянном составе школы у меня было много мимолетных приятелей, товарищей по кутежам и всевозможным эскападам, в особенности—до моей женитьбы. Но серьезной и глубокой привязанности в то время не помню. Более других я любил Евгения Алексеевича Панчулидзева, с которым впоследствии пришлось вместе переживать Галицийскую эпопею во время Германской войны. Он умер в Киеве от болезни сердца в 1915 году. Помню также Константина Федоровича Брюмера, с которым связывала меня более серьезная дружба, чем с остальными приятелями.

Все эти годы моей петербургской жизни протекали в кавалерийских занятиях Офицерской школы, скачках, всевозможных конкурсах, парфорсных охотах, которые позднее были мною заведены сначала в Валдайке, а затем в Поставах Виленской губернии. Считаю, что это дело было поставлено мною хорошо, на широкую ногу, и принесло значительную пользу русской кавалерии. Охоты эти производились с большими сворами собак, со строевыми лошадьми, прекрасно выдержанными, проходившими

громадные расстояния без всякой задержки. Время это — одно из лучших в воспоминаниях многих и многих кавалеристов, и сам я вспоминаю эти охоты, — создание моих рук, — с большой любовью и гордостью, ибо много мне пришлось превозмочь препятствий, много мне вставляли палок в колеса, но я упорно работал, наметив себе определенную цель и достиг прекрасных результатов.

В школе я тогда читал офицерам лекции о теории езды и выездки лошадей. Но все эти кавалерийские интересы не поглотили меня всецело. Я читал военные журналы, множество книг военных специалистов, русских и иностранных, и всю жизнь готовился к боевому делу, чувствуя, что могу и должен быть полезен русской армии не только в теории, но и на практике. Я говорил об этом давно близким людям, и многие это помнили. В то же время меня интересовали и оккультные науки, которыми я усердно занимался вместе с писателем Всеволодом Соловьевым, С. А. Бессоновым, М. Н. Гедеоновым и другими.

Много лет спустя, изучая оккультизм и читая книги теософические и книги других авторов по этим отвлеченным вопросам, я убедился, насколько русское общество было скверно осведомлено, насколько оно не имело в то время никакого понятия о силе ума, образования, высоких дарований и таланта своей соотечественницы Е. П. Блаватской, которую в Европе и Америке давно оценили. Ее «психологические» фокусы — такой, в сущности, вздор. Они в природе вполне возможны, это нам доказала Индия, но если бы этих явлений даже и не было, если бы Блаватская на потеху людей их и подтасовала, то, оставляя их в стороне, стоит почитать ее сочинения [1], подумать о том пути, духовном, который она открывала людям, о тех оккультных истинах, с которыми она нас знакомила и благодаря которым жизнь человеческая становится намного легче и светлее.

В последнее время (т. е. в 1924 г.) я часто стал бывать на кладбище Ново-Девичьего монастыря, так как там похоронили друга моего и племянника Блаватской Р. Н. Яхонтова. Совсем близко от его могилы нашел я и могилу Всеволода Сергеевича. Это заставило меня много раз переживать мысленно то старое время, о котором в последующей моей жизни я почти забыл.

Странный был человек В. С. Соловьев: в нем рядом со светлыми сторонами, умом, талантом, исключительной симпатичностью, резко проявлялись темные стороны. Будто одержимость

---

[1] «Изида» — два тома, «Секретная доктрина» — три тома, «Ключ к теософии», «Голос безмолвия» и множество статей в периодических журналах. В России известны были ее книги под псевдонимом «Рада Бай»: «Из пещер и дебрей Индостана», «Голубые горы», «Дурбар в Лагоре» и др. *А. Б.*

какая-то. Он иногда и сам говорил: «В меня вселяется иногда нечисть какая-то, меня отчитывать следует» А про Е. П. Блаватскую он также всегда говорил, что в ней—бес, что темная сила ею овладела. Недавно я читал все три тома «Воспоминаний» Витте. Сергей Юльевич—двоюродный брат Блаватской. В третьем томе он посвящает ей несколько страниц и тоже говорит, что в ней было что-то «демоническое». Он к ней очень несправедлив и пристрастно подчеркивает все росказни того времени об ее юных годах. Дело не в этих ее похождениях молодости, а дело во многих томах ее сочинений, которые сами по себе представляют собой если не чудо, то весьма трудно объяснимый факт. Вспоминая, что она получила образование, какое давалось нашим барышням 30-х, 40-х годов, стоит задуматься, откуда она набралась бездны премудрости, о которых трактует хотя бы во многих томах своей «Секретной доктрины» и других своих книгах. С. Ю. Витте—очень умный, государственного ума человек, но в оккультных науках—полный невежда. Смешно читать чепуху, которую он написал о Блаватской[1].

Однако я забежал на много лет вперед. Вернусь к старому Петербургу того времени, когда мы дружили с Вс. Серг. Соловьевым, занимались оккультизмом, читали журналы и книги по этим вопросам, устраивали спиритические сеансы и т. д. и т. п.

Между прочим, я видел знаменитого медиума Энглингтона—англичанина, приезжавшего на время в Петербург. В наших сеансах участвовала баронесса Мейендорф с дочерью, лейб-гусар князь Гагарин, флигель-адъютант полковник князь Мингрельский, князь Барклай-де-Толли и многие лица, которых я теперь не помню. Сеансы устраивались иногда у меня, иногда у Мейендорф. У нас являлся довольно часто некий Абдула, именовавшийся индийским принцем, затем являлась какая-то женщина, якобы с дочкой, и разные другие лица. Энглингтон был очень сильный медиум, и при нем происходили поистине необычайные феномены. Летали под потолок тяжелейшие вещи, из другой комнаты при плотно закрытых дверях прилетали тяжелые книги и т. п.

Подтасовки тут не могло быть никакой, и я, впервые видя это, был буквально поражен. Несколько позднее явился на петербургском горизонте с юга некий медиум Самбор, у которого также мне пришлось наблюдать поразительные явления. Я и их изучал и много наблюдал за ними. Еще видел я госпожу Фай (англичанка miss Fay), поразительно сильную своим медиумизмом. Один только Ян Гузик был у меня под сомнением со своими

---

[1] И вообще в его воспоминаниях на страницах, где он говорит о своих двоюродных сестрах Блаватской и Желиховской, очень много предвзятых неточностей. *А. Б.*

материализованными зверями; хотя окончательно уличить его мне и не удалось, но верить трудно было.

Семейная моя обстановка в эти годы была следующая. Жена моя происходила из лютеранской семьи, и имение ее брата было расположено в Эстляндской губернии, недалеко от Ревеля. У меня были очень хорошие отношения с семьей моей жены, но по своим чисто русским, православным убеждениям и верованиям я несколько расходился с ними. Моя кроткая и глубоко меня любившая жена с первых же лет нашего брака пошла за мной и по собственному желанию приняла православие, несмотря на противодействие ее теток, очень недовольных тем, что она переменила религию. Впрочем, это не помешало нам поддерживать самые дружеские отношения со всей ее семьей. Почти каждую осень после лагерного сбора мы проводили некоторое время у них в деревне, за исключением тех лет, когда ездили за границу. Посещали мы обыкновенно Германию и Францию, как-то прожили лето в Аркашоне, откуда я один съездил в Испанию, в Мадрид.

В общем, могу сказать, что первый мой брак был безусловно счастлив. Смерть детей, ранняя кончина жены глубоко меня потрясли. Последние годы своей страдальческой жизни жена была все время больна и почти не покидала постели. Скончалась она в 1908 году. В последнее мгновение перед смертью ее лицо, искаженное страданием, вдруг преобразилось, радостная счастливая улыбка появилась на лице, она вся просветлела и потянулась вперед, протянув руки, будто увидела кого-то, к кому давно стремилась, и умерла. Это было настолько реально, что укоренило во мне убеждение, что смерти нет, а есть только видоизменение нашего бытия.

Я остался один с сыном своим Алексеем, который в то время кончал Пажеский корпус и вскоре вышел корнетом в лейб-гвардии конно-гренадерский полк. Любил я его горячо, но отцом был весьма посредственным. Окунувшись с головой в интересы чисто служебные, я не сумел приблизить его к себе, не умел руководить им. Считаю, что это большой грех на моей душе.

Хочется тут забежать вперед на много лет и сказать несколько слов о бедном моем сыне. Хотя во время германской войны он был далеко от меня, но я знал от его ближайшего начальства, что он вел себя прекрасно, заслужил много наград и был произведен в следующий чин. В 1916 году во время затишья на фронте он бывал в отпуску в Москве, гостил у моей жены и в именьи брата Бориса под Москвою. Вот эти отлучки из полка, которыми я был очень недоволен, и сыграли роковую роль в его жизни. Но в то время не до него мне было, надвигалась революционная буря.

Я был поражен, когда год спустя получил телеграмму от моего сына из Москвы, в которой он просил у меня разрешения

жениться на семнадцатилетней Варваре Ивановне Котляревской. Я отвечал согласием, хотя и был крайне смущен такой неожиданностью. Я видел эту девочку за два года до того, когда перед войной был с женой в Киссингене, а она со своей бабушкой Варварой Сергеевной Остроумовой были нашими соседями по столикам табльдота в гостинице. Во время войны я и мой сын стали получать массу любезных телеграмм и подарков на фронте, подписанных их именами. Мы отвечали телеграммами с благодарностями, но так как меня и мою армию в то время вся Россия баловала вниманием и подношениями, то я и не придавал особого значения посылкам Остроумовой и Котляревской. Жена моя мне ранее писала и говорила во время своих приездов на фронт, что Остроумова ужасно за ней ухаживает, намекая на то, что ее внучка вбила себе в голову выйти замуж за моего сына. Они обе с увлечением рассказывали моей жене о спиритических сеансах, на которых, будто бы, являлась моя покойная жена, выражая одобрение этой свадьбе.

Я слишком был занят фронтом и мало обращал внимания на эти разговоры. Конечно, я кругом виноват, я должен был вникнуть в этот вопрос серьезнее. Картина ясна: бабушке и внучке, богатым и честолюбивым, пожелалось блеснуть перед московскими подружками блестящим браком. Помилуй бог, сын главнокомандующего прославленного Юго-западного фронта. Мою жену я сильно виню во всем происшедшем, она должна была быть более осторожной, хотя она и оправдывалась обычными женскими доводами: «Девочка сама этого хочет, она хорошей семьи, православная, хорошая патриотка и прекрасно образованная, средства большие, кажется искренней и доброй». К сожалению, в таких случаях не должно ничего «казаться», а нужно знать, а кроме того—лучше не соваться в чужую жизнь и не брать на себя тяжелой ответственности. Я очень виню свою жену, но и для нее все случившееся потом было большим горем.

Сына обвенчали весьма быстро. А он, усталый от фронта, усталый от своего предыдущего неудачного романа, искал уюта, отдыха, тепла, семьи, комфорта и ласки. Но грянул большевистский переворот, я был ранен, потерял свое положение, все были выбиты из колеи. «Бабушка» сразу превратила моего несчастного сына в «офицеришку-нахлебника». Обе они создали ему такой домашний ад, что он буквально сбежал от них куда глаза глядят. С тех пор я его больше не видел. Существует несколько версий об его смерти, но достоверно я ничего не знаю. Он пропал без вести. Вот почему считаю себя виноватым перед ним и говорю, что это—тяжкий грех на моей душе. Не зная людей, я не должен был давать согласия на этот брак.

Что касается его жены, то доходившие до меня слухи были поразительны. Дело в том, что когда мой сын пропал, а

ее бабушка умерла, мы по долгу совести звали ее жить с нами, желая такой молоденькой женщине оказать заботу, думая, что под нашим кровом ей будет безопаснее жить. Но она не приняла нашей руки, а стала устраивать у себя политические салоны то с правым, то с левым направлением. Ее гостями были то епископы, монахи и монахини, то матросы и деятели крайнего большевизма. Такая мешанина очень смущала меня и мою жену, и мы все постепенно отдалились от нее. Затем до нас дошли слухи, что она сошлась с коммунистом, потом он умер, затем вдруг из газет мы узнали, что она арестована по церковному делу, ее судили и приговорили к смертной казни. Моя жена хлопотала, чтобы ее спасти. В ее ходатайстве было указано на ненормальность Котляревской («больных не казнят, а лечат»), было приложено медицинское свидетельство двух знавших с детства эту сумасбродную особу врачей, подтверждавших ее истеричность и психопатию. Профессора Г. И. Россолимо и В. А. Щуровский, большие авторитеты, и ходатайство моей жены спасло жизнь этой экзальтированной бедняжке. Ее амнистировали и выпустили на свободу. Немного погодя она опять собралась выходить замуж за кого-то. Дай ей бог счастья, но только бы мне забыть весь тот трагический сумбур, какой она внесла в мою жизнь.

Я все это счел долгом подробно осветить, так как в заграничных газетах много писали о ней, как о какой-то Жанне д'Арк. Между тем это была большая сумасбродка, фантазерка, многим, и прежде всего самой себе, повредившая своей болтовней и выходками, совершенно ненормальными. К сожалению, она носила нашу фамилию и тем еще более привлекала к себе внимание любопытных обывателей. А шум возле ее имени в заграничных газетах ей весьма льстил и кружил и без того больную юную голову. Должен сказать, что рядом с полоумными выходками она делала много добра, и я лично обязан ей многими заботами и вниманием во время моей болезни и ареста. Душевные ее порывы относительно многих доходили до самопожертвования. Ведь ранее того, она оказала много серьезных услуг семье моего брата Бориса, когда он умер в Бутырской тюрьме в 1918 г.

Мой сын, как и большинство офицеров, совершенно не был подготовлен к революции и не разбирался ни в каких политических партиях. Он ошалел от всего происшедшего, но честно принял новое свое положение. Стал учиться бухгалтерии, стал искать работы какой угодно, самой тяжелой, ничем не смущаясь, и принял революцию, как благо для русского народа, спокойно отдавая все прежние прерогативы на общую пользу. Бедный человек. Но таких много. И в России не я один отец, скорбящий о погибшем сыне, нас много!

Возвращаюсь к прерванному рассказу на много лет назад. Кроме сына около меня в то время было два младших брата с семьями.

Старший, Борис, служил вначале в том же самом Тверском драгунском полку на Кавказе, как и я, но вскоре вышел в отставку, женившись на баронессе Нине Николаевне Рено. Она была украинкой, православная, но с французской фамилией, воспитанием и образованием. Рено были люди очень богатые. Борису повезло, ибо он совсем не знал своей невесты, был сосватан заочно, а получил исключительно милую, добрую, любящую жену, да еще ее мать и бабушку, которые буквально боготворили его и баловали, как родного сына. Вначале Борис и Нина жили в Петербурге, но вскоре для них специально родными Нины было куплено имение «Глебово», под Москвой около г. Воскресенска. Пока мать была жива, хозяйство этого прекрасного имения велось хорошо, но после ее смерти все пошло вкривь и вкось, ибо Борис воображал себя помещиком, но ровно ничего в хозяйстве не понимал. Несмотря на это крестьяне его любили.

Младший мой брат, Лев, служил всегда в морском ведомстве и очень увлекался своим делом. Впоследствии он был назначен начальником морского генерального штаба и в чине контр-адмирала в 1909 году скончался. Нужно правду сказать, что наши морские неудачи на Дальнем Востоке и всевозможные непорядки в морском министерстве сильно волновали его и, конечно, не могли не ухудшить состояния его здоровья. Женат он был на Екатерине Константиновне Панютиной, происходившей из морской семьи; женился он в бытность свою в Черноморском флоте, в Николаеве.

Мы все жили дружно, и семейные наши события всегда были близки одинаково нам всем, хотя часто мы жили в разных местах и виделись редко. По характеру, образу жизни и служебным интересам все три брата были весьма различны.

В девяностых годах прошлого столетия я был назначен помощником начальника Офицерской кавалерийской школы. Начальником школы был в то время генерал-майор Авшаров. Он был человек с виду добродушный, но с азиатской хитрецой и,—не знаю, вследствие ли старости или свойств характера,—не отличался особым рвением к службе и везде, где мог, старался доставить мне неприятности и затруднения. В сущности, во внутреннем порядке школы всем управлял я, а он был как бы шефом, ничего не делающим и буквально бесполезным. Он старался как будто бы и дружить со мной, но одновременно выказывал большую хитрость, заявляя всем начальствующим лицам, а в особенности вел. князю Николаю Николаевичу, что управляет всей школой он и что ему необыкновенно трудно управлять мною и моими помощниками. Великий князь Николай Николаевич отлично знал, в чем дело, но благодаря генералу Палицыну, его начальнику штаба, считал нужным терпеть Авшарова и дальше.

Личио меня это нисколько не устраивало, и поэтому в один

прекрасный день я написал ген. Палицыну письмо, в котором изложил, что я не настаиваю на том, чтобы меня назначили начальником школы, но прошу о назначении меня командиром какой-либо кавалерийской бригады, так как не считаю возможным оставаться на должности помощника начальника школы и нести все его обязанности, не имея никаких прав и преимуществ по службе. Об этом я просил его доложить и великому князю.

Оказалось, как мне это было впоследствии сообщено, что великий князь все время настаивал, чтобы я был назначен начальником школы, и что это был каприз Палицына—сохранить такое невозможное положение. В скором времени после этого Авшаров был смещен и назначен состоящим в распоряжении великого князя, а я был назначен начальником школы. При этом Николай Николаевич мне сказал, что более бездеятельного и бесполезного человека, как Авшаров, он никогда в жизни не встречал и что отнюдь не он виноват в том, что Авшарова так долго держали на этом месте.

Вскоре затем, по выбору Николая Николаевича, я был назначен начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Она считалась лучшей и, конечно, была балованным детищем Николая Николаевича. В ней числились следующие полки: лейб-гвардии Конно-гренадерский, л.-г. Уланский ее величества полк, л.-г. Гусарский его величества полк, л.-г. Драгунский, Гвардейский запасный десятиэскадронный кавалерийский полк; 2-й дивизион Гвардейской конно-артиллерийской бригады числился в этой дивизии. Командирами этих полков были следующие лица: Вл. Хр. Рооп, Александр Афиногенович Орлов, Борис Михайлович Петрово-Соловово и герцог Г. Г. Мекленбургский. Каждый из них имел свои хорошие и дурные стороны, но со всеми ними у меня были прекрасные отношения. Все мне верили и считали необходимым стараться угождать мне в той или иной степени.

Каждый из этих генералов имел, конечно, свои специфические свойства. Рооп, человек очень красивый, изящный, корректный, выдержанный, в своем полку почти никакой роли не играл, и корпус офицеров его почему-то не любил. Что касается Орлова, то он, наоборот, имел громадное влияние на офицеров своего полка, и все они очень уважали и любили его. Он сильно пил, и даже эта страсть не мешала любви офицеров к нему, а напротив как бы увеличивала эту любовь; бывали случаи, когда офицеры скрывали от высших начальствующих лиц его дебоши. Наружность его была исключительно красивая. Он на моих глазах буквально сгорел, будто сжигаем внутренним огнем отчаяния и горя. Это—тот самый Орлов, о котором передавали легенды романтического характера[4]. Я уверен, что ничего грязного тут не было и не могло быть, но что им увлекались—это верно. Отчасти благодаря этим увлечениям, вернее одному из увлечений, он и погиб. Забо-

лев скоротечной чахоткой, он был отправлен в Египет, но, не доехав, умер, и тело его привезли в Петербург. Я чрезвычайно сожалел о ранней его смерти.

Командир Гусарского полка, Петрово-Соловово, был честнейший и откровеннейший человек, я очень его любил. Не знаю, где он и что с ним случилось. Что касается герцога Мекленбургского, то он в мое время закончил командование своим полком и вскоре затем скончался. Это был большой чудак, и как он ни старался быть хорошим полковым командиром, это ему мало удавалось. Он был очень честный, благородный человек и всеми силами старался выполнять свои обязанности. Женат он был на очень умной и энергичной женщине Наталии Федоровне Вонлярской (графиня Карлова), она много способствовала смягчению странностей его характера.

Сдал он лейб-драгун при мне графу Келлеру, известному своим необычайным ростом, чванством и глупостью.

Граф Келлер был человек с большой хитрецой и карьеру свою делал ловко. Еще когда он был командиром Александрийского гусарского полка, в него была брошена бомба, которую он на лету поймал и спасся от верной смерти. Он был храбр, но жестокий, и полк его терпеть не мог.

Женат он был на очень скромной и милой особе, княжне Марии Александровне Мурузи, которую все жалели. Однажды ее обидели совершенно незаслуженно, благодаря ненависти к ее мужу. Это было в светлый праздник. Она объехала жен всех офицеров полка и пригласила их разговляться у нее. Келлеры были очень стеснены в средствах, но долговязый граф желал непременно задавать шику (чтобы пригласить всех офицеров гвардейского полка разговляться, нужно было очень потратиться). Хозяева всю ночь прождали гостей у роскошно сервированного стола и дождались только полкового адъютанта, который доложил, что больше никого не будет.

Затем распространились слухи, что офицеры решили побить своего командира полка и бросили жребий, на кого выпадет эта обязанность. Об этом мне доложил командир бригады, также бывший лейб-драгун, барон Нетельгорст. Я от него и узнал, что главным воротилой в этом деле был полковник князь Урусов, старший штаб-офицер полка. Я его потребовал к себе по делам службы, сказал ему, что я знаю о подготовляемом в полку скандале, и заявил ему официально, что скандала я не допущу и что в этом случае он первый пострадает, ибо я немедленно доложу великому князю, что он—первый зачинщик в этом деле, и попрошу об исключении его со службы. Урусов этого никак не ожидал и до того растерялся, что мне стало даже жаль его. Но тем не менее эта моя мера привела к тому, что в полку, хотя бы временно, все успокоилось.

Вскоре после этого вел. князь Владимир Александрович, бывший шефом этого полка, пригласил меня к себе на семейный завтрак, после которого у себя в кабинете передал мне об этих слухах и просил моего энергичного содействия, чтобы прекратить всякую по этому поводу болтовню. Я его заверил, что все это мне известно, и что мною приняты все меры к пресечению этого. Еще до этого мною был собран корпус офицеров драгунского полка, причем командиру полка было мною предложено не являться на это собрание. Я дал слово офицерам, что командир полка изменит свое обращение с ними. После этого я отправился к графу Келлеру и серьезно переговорил с ним. Как офицеры, так и он жаловались друг на друга. Я и с него взял честное слово изменить свой грубый образ действий относительно офицеров и тем предупредить возможные эксцессы.

Это все рисует человека, и я остановился на этом инциденте лишь потому, что с именем графа Келлера было связано много сплетен и рассказов. Я же теперь (1924 г.) прочел в только что изданной переписке Николая II с императрицей, что этот граф Келлер старался мне вредить и набросить тень на меня. Я убедился, что напрасно старался оберегать его от заслуженных побоев офицеров. Значит, они были правы в своей ненависти к нему.

Мои отношения с главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского округа вел. князем Николаем Николаевичем были прекрасные. Он относился ко мне чрезвычайно любезно и верил мне безусловно. Точно так же и для меня он был авторитетом по военным делам. Я твердо знал, что он честно и правдиво выполняет все свои обязанности. Это не мешало возникновению различных конфликтов, которые иногда случались между нами. Однажды я был приглашен к нему на завтрак и приехал заблаговременно к 12 часам. Дежурный адъютант мне тотчас передал, что великий князь меня ждет с большим нетерпением и приказал пригласить меня в кабинет, как только я приеду. Я поспешил войти. Он тотчас же начал мне объяснять свои воззрения по поводу случая в одном из полков. Я не был согласен с его мнением и высказал это прямо. Тогда он вскочил со своего места и, подбежав к окну, стал барабанить пальцами по стеклу. Так прошло несколько минут. Я встал и тоже молча стоял. Затем великий князь буквально выбежал из кабинета и скрылся. Я в недоумении бросил курить, а затем, несколько погодя, видя, что он не возвращается, вернулся назад в приемную комнату и сказал адъютанту, что мне по экстренному делу нужно немедленно вернуться домой. Прошло несколько дней, очень для меня тревожных. Както утром я вновь по телефону был приглашен пожаловать к завтраку. Великий князь меня встретил словами. «Забудем о наших недоразумениях. Я вам ничего не говорил, а вы мне ничего не возражали. Пойдемте завтракать». На этом дело и кончилось.

Служба в Варшавском и Киевском военных округах.

В декабре 1908 года я получил извещение, что должен получить армейский корпус, и что предположено мне дать XIV корпус, который стоял в г. Люблине. В начале января 1909 года я покинул Петербург.

Приехав в Варшаву, я явился к командующему войсками округа генерал-адъютанту Георгию Антоновичу Скалону. Он принял меня очень хорошо, и я отправился в Люблин, которого раньше никогда не видел. Город произвел на меня прекрасное впечатление.

Сначала начальником штаба XIV корпуса был генерал Федоров, человек очень толковый, дельный, симпатичный, и мне было очень приятно с ним иметь дело. Но у него была одна странность: он любил занимать меня очень пространными рассказами и, когда увлекался подробностями, то всегда подкладывал одну ногу под себя. Это был плохой признак. Если я бывал чем-нибудь занят другим, а он устраивался поудобнее, подложив ногу под себя, я сейчас же призывал его к порядку и просил принять более официальную позу. К сожалению, я вскоре расстался с этим милым человеком, так как он получил дивизию.

Начальником штаба на его место был назначен генерал-майор Леонтович, раздражительный, подозрительный, болезненный, неприятный человек. Мне постоянно приходилось разбирать разные казусы по поводу различных обид, которые ему якобы причиняли. В общем, это был несносный субъект, и мне пришлось представить его к увольнению от занимаемой должности, что мне было крайне неприятно, так как он был человек семейный. Вскоре он был назначен командиром одной из дивизий в другом корпусе, и я слышал, что он и там выказал себя с очень плохой стороны.

После его ухода от меня временно исполнял должность начальника штаба—командир Тульского полка С. А. Сухомлин, в высшей степени толковый и исполнительный человек, и начальник штаба 18-й пехотной дивизии полковник В. В. Воронецкий. А затем ко мне приехал на эту должность генерал Владимир Георгиевич Леонтьев, умный, дельный, к сожалению очень болезненный человек.

Три года я прожил в Люблине, в очень хороших отношениях со всем обществом. Гуебрнатором в то время был толстяк N, в высшей степени светский и любезный человек, но весьма самоуверенный и часто делавший большие промахи. Однажды у меня с ним было серьезное столкновение.

Всем известно, что я был очень строг в отношении своего корпуса, но в несправедливости или в отсутствии заботы о своих сослуживцах, генералах, офицерах и тем более о солдатах, меня

упрекнуть никто не мог. Я жил в казармах против великолепного городского сада. Ежедневная моя прогулка была по его тенистым чудесным аллеям. Прогулки эти разделял мой фокстерьер Бур. В один прекрасный день, когда я входил в сад, мне бросилась в глаза вновь вывешенная бумажка на воротах, как обычно вывешивались различные распоряжения властей. «Нижним чинам и собакам вход воспрещен». Я сильно рассердился. Нужно помнить, что мы жили на окраине среди польского, в большинстве враждебного, населения. Солдаты были русские, я смотрел на них как на свою семью.

Я свистнул своего Бурика, повернулся и ушел. В тот же день я издал приказ, чтобы все генералы и офицеры наряду с солдатами не входили в этот сад, ибо обижать солдат не мог позволить. Можно было запретить сорить, грызть семечки и бросать окурки, рвать цветы и мять траву, но ставить на один уровень солдат и собак, это было слишком бестактно и неприлично. Кроме того я сообщил об этом командующему войсками и просил его принять меры к укрощению губернатора. Так как Г. А. Скалон был не только командующий войсками, но и генерал-губернатором, то он и отдал соответствующий приказ об отмене распоряжения губернатора, который приехал ко мне и очень извинялся, что не посоветовался раньше со мной. Впоследствии он чрезвычайно заискивал во мне.

В то же время, или немного ранее, в Москве появился новый военный журнал «Братская помощь»—очень талантливый и интересный. Во главе его стоял полковник генерального штаба Михаил Сергеевич Галкин, но душою журнала и вдохновительницей всего дела, по собственному печатному признанию редактора-издателя, была Надежда Владимировна Желиховская (дочь покойной Веры Петровны Желиховской), которую я уже много лет не видал. С этой семьей я разошелся в свое время из-за интриг Всеволода Сергеевича Соловьева.

Я знал Надежду Владимировну молоденькой девушкой. Я вспомнил о ней, всегда мне нравившейся, вспомнил ее брата Ростислава, моего друга юности, и потянуло меня узнать, где она, что с ними творилось за все эти долгие годы. Я написал в редакцию «Братской помощи», спрашивая адрес Надежды Владимировны. Однако, получив его, я,—не отдавая себе отчета, почему,—порвал эту открытку и запомнил только, что две сестры Желиховские живут в Одессе. Я читал статьи Надежды Владимировны о впечатлениях ее в московских лазаретах, удивляясь впечатлительности ее, вполне одобряя все ее выводы и взгляды на положение наших раненых и увечных после Японской войны. Меня безусловно тянуло к этой энергичной девушке, но я боролся сам с собой и отдалял от себя мысль о том, что ее жизнь, полная самоотверженной работы на пользу изувеченных солдат и их

обездоленных семей,—именно то, что для моей жизни было бы самым подходящим и важным. Я откинул мысль о Надежде Владимировне, взял отпуск и уехал в заграничное путешествие. На этот раз я решил посвятить все свое время Италии и в Германии был только проездом.

Из Италии я проехал в Грецию и Турцию и вернулся в Россию через Одессу. Я помнил, что там живут сестры Желиховские, но решил проехать мимо, не заезжая к ним, тем более, что я и запоздал в своем отпуске. Странная борьба происходила все это время в моей душе. Мысль моя постоянно возвращалась к Надежде Владимировне и к ее семье, к тому далекому времени, когда она была совсем молоденькой девушкой, даже девочкой, какой я ее знал еще в Тифлисе и затем в Петербурге. С другой стороны, я себя сдерживал и сам себя убеждал, что я с ней не виделся около двадцати лет и не знаю, что с ней, как она жила все эти годы, захочет ли выйти за меня замуж. Эти переживания были очень тяжелые. С одной стороны, я считал, что моя жизнь кончена, что я должен жить только для сына, и полагал, что если мне нужна женщина, то я мог бы ее найти и без женитьбы; с другой стороны, неотступно стояла мысль, что я непременно должен жениться на Надежде Владимировне.

В этих колебаниях прошел еще год. Я жил в Люблине, возился со своей службой, объезжал весь корпус, который был размещен по разным городам и местечкам Царства Польского. Довольно часто бывал в Варшаве и, несмотря на любимое дело и милое общество, томился своим одиночеством. У меня была прекрасная квартира в 9 или 10 комнат, балкон выходил в великолепный городской сад, и вообще все было ладно, кроме отсутствия хозяйки.

В конце 1910 года я все-таки написал в Одессу, затем поехал туда и вернулся в Люблин уже женатым человеком. Но почему я должен был это сделать и кто мне это внушал, я не знаю. Тем более, что семьи братьев и добрые знакомые в Люблине мне предлагали устроить богатую и гораздо более блестящую женитьбу. Я всегда был очень самостоятелен и тверд по характеру и потому, чувствуя как бы постороннее влияние и внушение какой-то силы, сердился и боролся против этого плана женитьбы на девушке, которую 20 лет не видел. Если бы мы жили в одном городе и с ее стороны было бы желание, выражаясь вульгарно «поймать выгодного жениха»,—можно было бы подумать, что меня гипнотизируют. Много раз я писал ей письма и рвал их. И когда она узнала, наконец, о моих планах, то крайне удивилась и даже не сразу согласилась на это. Этот случай достоин внимания психолога и поэтому я так подробно на нем останавливаюсь.

Последний год в Люблине я прожил уже с женой, которая вскоре завоевала все симпатии в городе и в войсках. Она энер-

гично принялась подготавливать дело помощи раненым солдатам и инвалидам, так как давно уже отдавала свои силы этому делу.

В конце лета 1911 года приезжали к нам из Америки старшая сестра жены—Вера Владимировна со своим мужем Чарльзом Джонстоном. Ее я знал с давних пор, но американца-мужа ее увидел впервые. Публицист, писатель, теософ, оккультист, переводчик древних манускриптов и книг с санскритского, индустанского, бенгальского языков, он заинтересовал меня очень, и мы провели с ним несколько интересных для меня вечеров. Они погостили у нас недолго. После их отъезда наступили тревожные дни. Были маневры, пробные полеты самолетов, тогда только что появившихся у нас. Приезжали великие князья, различное начальство и иностранцы. Закопошились какие-то вражеские элементы. Я стал получать анонимные письма, что меня убьют, чтобы я не появлялся перед войсками и т. п. В Одессе в это время умерла старушка-няня моей жены, и она, по вызову сестры, уехала туда. Вскоре туда же приехал и Ростислав Яхонтов, и они похоронили эту свою бескорыстнейшую слугу, верного самоотверженного друга рядом со своей матерью.

Вскоре в моей служебной карьере произошла большая перемена. Меня назначили помощником командующего войсками Варшавского военного округа, генерал-адъютанта Г. А. Скалона. Жена моя уже обжилась в Люблине и очень мало интересовалась моей карьерой. Это меня даже огорчало. Ей не хотелось переезжать в шумную Варшаву. Тем не менее, надо было ехать. Военный официальный Люблин и частный дружеский кружок знакомых провожали нас сердечно, трогательно и пышно.

Проехав в Варшаву и остановившись в великолепной гостинице «Бристоль», мы стали разыскивать себе квартиру в ожидании прибытия обстановки из Люблина. В это время весь служебный персонал Варшавы жил в казенных прекрасных квартирах, а генерал Скалон—в замке бывших польских королей. Но для помощника его казенной квартиры не было. Мы устроились на Уяздовской аллее, вблизи парка, в прелестной квартире и были очень ею довольны. Но когда жена моя узнала, что мне полагается по должности казенная дача и что остаток лета можно провести там, то с радостью туда поехала вместе со своими собачками Буром и Белкой, которых очень любила и которым места в варшавской квартире было весьма мало. Я шутил и дразнил жену утверждением, что она гораздо больше любила своих фоксов, чем мою военную карьеру.

Казенная наша дача была в 30 верстах от города в упраздненной крепости Зегрж, на берегу широкой реки Буго-Нарев. Это был поистине райский уголок. Громадный парк, чудный фруктовый сад, цветник. Дом большой со всеми приспособлениями для удобной и приятной жизни и летом и зимой. Искусный

садовник ежедневно скрашивал нашу жизнь редкими цветами, фруктами и ягодами. Это была не жизнь, а сплошной праздник. Телефон, соединявший нас с Варшавой, автомобили, постоянные приезды друзей. Там же жили на своей отдельной даче начальник штаба генерал-лейтенант Клюев со своей хорошенькой нарядной женой, генерал-квартирмейстер Постовский со своей многочисленной семьей, полковник Калинг с женой и дочерью и еще несколько военных семей. Скалон предпочитал летом жить в Варшаве в Лазенках. Из всех генерал-гуебрнаторов, кажется, только Гурко любил Зегрж и проводил там каждое лето. В парке над обрывом над рекой был очень живописный уголок со скамейкой под старым развесистым дубом, перед глазами расстилалась чудесная даль. На этом дереве была прибита доска с надписью: «Здесь любил отдыхать генерал-фельдмаршал И. А. Гурко». И я последовал его примеру, часами просиживая на этом месте во время прогулок.

Несмотря на многие плюсы нашей жизни в Варшаве, перевешивали все-таки минусы моей служебной жизни, и мы прожили там всего год с небольшим. Но об этом речь впереди.

Мы с женой настолько полюбили Зегрж, что даже зимой несколько раз туда ездили. Жена моя устроила там школу для русских детей вместе с польскими и еврейскими. Зимой устраивала им елку, снабжала детскими книгами. На все это несколько косились в Варшаве, но первое время мы этого не замечали.

В Варшаве нас окружило блестящее общество, элегантная жизнь, множество театров, в которых у меня были свои ложи, поочереди с начальником штаба, концерты, рауты, обеды, балы и сплетни, интриги, водоворот светской пустой жизни невообразимый. Разобраться в отношениях людей, служебных и частных, было первоначально очень трудно. У жены моей понемногу наладилось дело и составился более интимный и симпатичный кружок знакомых.

Я был окружен следующими лицами. Мой ближайший начальник, командующий войсками Варшавского военного округа, генерал-адъютант Скалон, был и генерал-губернатором Привислинского края. Он был добрый и относительно честный человек, скорее царедворец, чем военный, немец до мозга костей. Соответственны были и все его симпатии. Он считал, что Россия должна быть в неразрывной дружбе с Германией, причем был убежден, что она должна командовать Россией. Сообразно с этим он был в большой дружбе с немцами и в особенности с генеральным консулом в Варшаве бароном Брюком, от которого, как я слышал от многих, никаких секретов у него не было. Барон Брюк был большой патриот своего отечества и очень тонкий и умный дипломат.

Я считал эту дружбу неудобной в отношении России, тем более, что Скалон, не скрывая, говорил, что Германия должна

повелевать Россией, мы же должны ее слушаться. Насколько точка зрения Скалона была правильна, это—другой вопрос, но при тогдашних обстоятельствах, при официальной дружбе России с Францией, я считал это совершенно неуместным, чтобы не сказать более. Я знал, что война наша с Германией—не за горами и находил создавшуюся в Варшаве обстановку угрожающей, о чем и счел необходимым частным письмом сообщить военному министру Сухомлинову. Мое письмо, посланное по почте, попало в руки генерала Утгофа (начальника Варшавского жандармского управления). У них перлюстрация действовала усиленно, а я наивно полагал, что больших русских генералов она не могла касаться. Утгоф, тоже немец, прочтя мое письмо, сообщил его для сведения Скалону.

В этом письме я писал Сухомлинову, что, имея в виду угрожающее положение, в котором находятся Россия и Германия, считаю такую обстановку весьма ненормальной и оставаться помощником командующего войсками не нахожу возможным, почему и прошу разжаловать меня и обратно назначить командиром какого-либо корпуса, но в другом округе, по возможности— в Киевском.

Сухомлинов мне ответил, что он совершенно разделяет мое мнение относительно Скалона и будет просить о моем назначении командиром XII армейского корпуса, находившегося в Киевском военном округе, что спустя несколько времени и было исполнено.

Не могу не отметить странного впечатления, которое производила на меня тогда вся варшавская высшая администрация. Везде стояли во главе немцы: генерал-губернатор Скалон, женатый на баронессе Корф, губернатор—ее родственник, барон Корф, помощник генерал-губернатора Эссен, начальник жандармов Утгоф, управляющий конторой государственного банка барон Тизенгаузен, начальник дворцового управления Тиздель, обер-полицмейстер Мейер, президент города Миллер, прокурор палаты Гессе, управляющий контрольной палатой фон-Минцлов, вице-губернатор Грессер, прокурор суда Лейвин, штаб-офицеры при губернаторе Эгельстром и Фехтнер, начальник Привислинской железной дороги Гескет и т. д. Букет на подбор. Я был назначен по уходе Гершельмана и был каким-то резким диссонансом: «Брусилов». Зато после меня получил это место барон Рауш фон-Траубенберг. Любовь Скалона к немецким фамилиям была поразительна. Я знаю хорошо, что многие из этих людей с немецкими фамилиями были искренними русскими патриотами и честными людьми, но видимость этого подбора смущала многих.

Начальником штаба был, однако, русский генерал Николай Алексеевич Клюев. Очень умный, знающий, но желавший сделать свою личную карьеру, которую ставил выше интересов России.

Потом, в военное время, оказалось, что Клюев не обладал воинским мужеством. Но в то время этого, конечно, я знать не мог.

Зимой 1912 года я был послан к военному министру с докладом о необходимости задержать запасных солдат от увольнения с действительной службы. В Петербурге я доложил военному министру о положении дел в Варшавском округе, и он нашел необходимым, чтобы я доложил об этом лично царю. Я сказал Сухомлинову, что считаю это для себя неудобным. Но когда он стал настаивать на этом, то я ему сказал, что если сам царь меня спросит об этом, то я по долгу службы и русского человека ему скажу, что думаю, но сам я выступать не стану. Сухомлинов меня заверил, что царь меня обязательно спросит о положении дел в Варшавском округе. Но когда я явился к Николаю II, то он меня ни о чем не спрашивал, а лишь поручил мне кланяться Скалону. Это меня крайне удивило и оскорбило. Я никак не мог понять, в чем тут дело.

Как бы то ни было, я уехал в Варшаву, получив обещание военного министра, что я получу корпус в Киевском округе. Ранее было решено, что в случае войны я буду назначен командующим 2-й армией, которой впоследствии командовал Самсонов, столь неудачно окончивший свое жизненное поприще. Естественно, что при данной обстановке я не заикался об этом предположении в Петербурге и не заручился на случай войны решительно никакими обещаниями.

Летом 1913 года я окончил мою службу в Варшавском округе и перешел в Киевский. В августе месяце я участвовал на маневрах в качестве главного посредника в Полтавской губернии под общим руководством генерала Иванова. Казалось бы, что перемещение из блестящей Варшавы в маленький провинциальный город Винницу, где стоял штаб 12-го армейского корпуса, должно было огорчить и меня и мою жену, но на самом деле мы оба обрадовались, что уезжаем от очага всевозможных интриг и конфликтов. Вернувшись с маневров, я забрал свою жену и, простившись с варшавским обществом, покинул этот край. На вокзале я был расстроган единодушными и сердечными проводами.

Прибыв в Винницу, я осмотрелся, принял корпус, который был одним из самых больших в России, ибо в нем были две пехотных дивизии, одна стрелковая бригада, две кавалерийских дивизии, саперные части и т. д. Корпус был разбросан по всей Подольской губернии и войска были расположены, главным образом, на австрийской границе. До меня этим корпусом командовал генерал Корганов, у которого были свои заслуги, но который в последнее время был совершенно больной человек, и корпус был сильно запущен. В этом корпусе была 19-я пехотная дивизия, которая ранее была на Кавказе и была мне близка по Турецкой

войне 1877 года. Я был очень рад встрече с дивизией, родной мне по далеким воспоминаниям молодых лет.

Винница—очень хорошенький, уютный городок, живописно расположенный на холмистых берегах красивой реки (Западный Буг), удивительное сочетание культуры и захолустья одновременно. Рядом с целыми старосветскими усадьбами в садах и огородах посреди города—театр, который смело можно перенести в любую столицу, шестиэтажная гостиница с лифтом, электричеством, трамваи, водопровод, прекрасные парные извозчики. И тут же боковые улички и переулки, заросшие травой, и мирно разгуливающие поросята, куры и цыплята. Окрестности очень красивые, много старинных польских и украинских поместий, монастырей и хуторов. Близость Галиции сказывалась во многом. Во всяком случае, мы с женой сразу заинтересовались этим городком и были очень довольны, что судьба нас занесла в него. А близость Одессы еще более радовала мою жену.

Подчеркиваю: это было в 1913 году, но в этом крае никто не помышлял о возможности близкой войны и никто не думал о ней, кроме меня. Я стал объезжать войска вверенного мне корпуса, и только тогда войска увидели, что у них есть командир корпуса. Войска были прекрасные, но ими ранее мало занимались, и мои требования сначала казались моим подчиненным несколько тяжелыми. Зимой я в особенности налегал на военную игру и проэкзаменовал всех начальствующих лиц в этом отношении. Громадное большинство начальников охотно пошло на мои требования и усердно занимались, насколько могли. В общем я был доволен и надеялся, что к 1914 году войска подготовятся надлежащим образом. Была также очень интересная военная игра в Киеве в штабе округа [5]. Кроме того, весной была совершена полевая поездка в войсках корпуса, к которой я привлек всех начальствующих лиц. Многим из них в следующем году пришлось воевать вместе со мной в Галиции (генерал Каледин, Орлов, Рагоза, Сухинский, Ханжин и т. д.).

Зимой и весной к нам приезжали мой сын, сестра и брат жены, бывали в театре, концертах. Я много ездил с сыном верхом.

Винница—это последний этап нашего мирного, тихого бытия в прошлом. Всего год мы там прожили до войны. Наш скромный уютный домик с садиком, любимые книги и журналы, милые люди, нас окружавшие, масса зелени, цветов, прогулок по полям и лесам, мир душевный... А затем—точка... Налетел ураган войны и революции, и личной жизни больше нет. Конец прошлому в малом и великом. Винница была для нас на рубеже, на перевале и потому ярко сохранилась в памяти сердца.

Первую половину войны жена моя с сестрой оставались в Виннице, которая оказалась у меня в тылу. Целая сеть лазаретов, госпиталей, летучих отрядов, приютов была ими организо-

вана, и работа их была оценена в войсках и обывателями по заслугам. В нашей семье сохранились самые лучшие воспоминания об этом милом городе, о сердечных отношениях с людьми всех рангов, положений и национальностей.

Я решил в 1914 году поехать за границу, чтобы опять полечиться в Киссингене. Летом 1914 года мы с женой осуществили это намерение и жили в Киссингене, где пили воду, купались и гуляли. Я был твердо убежден, что всемирная война неизбежна, причем, по моим расчетам, она должна была начаться в 1915 году; поэтому мы и решили не откладывать нашей лечебной поездки и отдыха и вернуться к маневрам домой.

Мои расчеты основывались на том, что хотя все великие державы спешно вооружались, но Германия опередила всех и должна была быть вполне готовой к 1915 году, тогда как Россия с грехом пополам предполагала изготовиться к этому великому экзамену народной мощи к 1917 году, да и Франция далеко не завершила еще своей подготовки.

Было ясно, что Германия не позволит нам развить свои силы до надлежащего предела и поспешит начать войну, которая, по ее убеждению, должна была продлиться от 6 до 8 месяцев и дать ей гегемонию над всем миром.

Хочется вспомнить интересную картинку из жизни нашей в Киссингене. Перед самым отъездом мы как-то собрались присутствовать на большом празднике в парке, о котором извещали публику громадные афиши уже несколько дней под ряд. Праздник этот живо характеризует настроение немецкого общества того времени, а главное—поразительное уменье правительства даже в мелочах ставить во главе всякого дела таких организаторов, которые учитывали необходимость подготавливать общественное мнение к дальнейшим событиям, которые вскоре нам пришлось пережить.

Ничего подобного в России не было, и наш народ жил в полном неведении о том, какая грозовая туча на него надвигается и кто ближайший лютый враг.

В тот памятный вечер весь парк и окрестные горы были великолепно убраны флагами, гирляндами, транспарантами. Музыка гремела со всех сторон. Центральная же площадь, окруженная цветниками, была застроена прекрасными декорациями, изображавшими московский Кремль, церкви, стены и башни его. На первом плане возвышался Василий Блаженный. Нас это очень удивило и заинтересовало. Но когда начался грандиозный фейерверк с пальбой и ракетами под звуки нескольких оркестров, игравших «Боже, царя храни» и «Коль славен», мы окончательно поразились. Вскоре масса искр и огней с треском, напоминавшим пушечную пальбу, рассыпаясь со всех гор на центральную площадь парка, подожгла все постройки и сооружения Кремля. Пе-

ред нами было зрелище настоящего громадного пожара. Дым, чад, грохот и шум рушившихся стен. Колокольни и кресты церквей накренялись и валились наземь. Все горело под торжественные звуки увертюры Чайковского «12-й год». Мы были поражены и молчали в недоумении. Но немецкая толпа аплодировала, кричала, вопила от восторга, и неистовству ее не стало пределов, когда музыка сразу при падении последней стены над пеплом наших дворцов и церквей, под грохот апофеоза фейрверка, загремела немецкий национальный гимн. «Так вот, в чем дело! Вот чего им хочется!»—воскликнула моя жена. Впечатление было сильное. «Но чья возьмет?»—подумалось мне.

В описанный мною день мы еще не отдавали себе настоящего отчета о положении вещей и уходили с курортного праздника с тяжелым впечатлением от шума, гама, трескотни, чада, дыма и немецкой наглости. Горы и парк все еще сияли огнями потухающей иллюминации. Мы молчали, думая свою горькую думу. Вдруг до нас долетел громкий веселый голос своеобразного патриота нашего соотечественника. Он влез на стул и во все горло кричал: «Ферфлюкторы проклятые, а вы забыли, как русские казаки Берлин спасали». «Да, основательно забыли, и не только это, но и многое другое—и забыли, и не учли»,—подумалось мне. Смешно и в то же время грустно стало на душе от этой выходки несколько вульгарного, но симпатичного представителя русского купечества.

Мы почти заканчивали курс нашего лечения в Киссингене, когда было получено неожиданное известие об убийстве наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда и его жены в Сараеве. Общее негодование было ответом на этот террористический акт, но никому и в голову не могло притти, что это убийство послужит поводом для начала страшной всемирной войны, которой все ждали, но и опасались. Многочисленная курортная публика Киссингена оставалась совершенно спокойной и продолжала свое лечение. Однако удивительный ультиматум императора Франца-Иосифа к Сербии поколебал общее оптимистическое настроение, а заявление России, что она не может остаться спокойной зрительницей уничтожения Сербии, меня лично убедило, что война неизбежна, а потому, не ожидая дальнейших известий, я решил с женой немедленно собраться и ехать домой, тем более, что я в то время был командиром XII армейского корпуса, стоявшего на границе Австро-Венгрии.

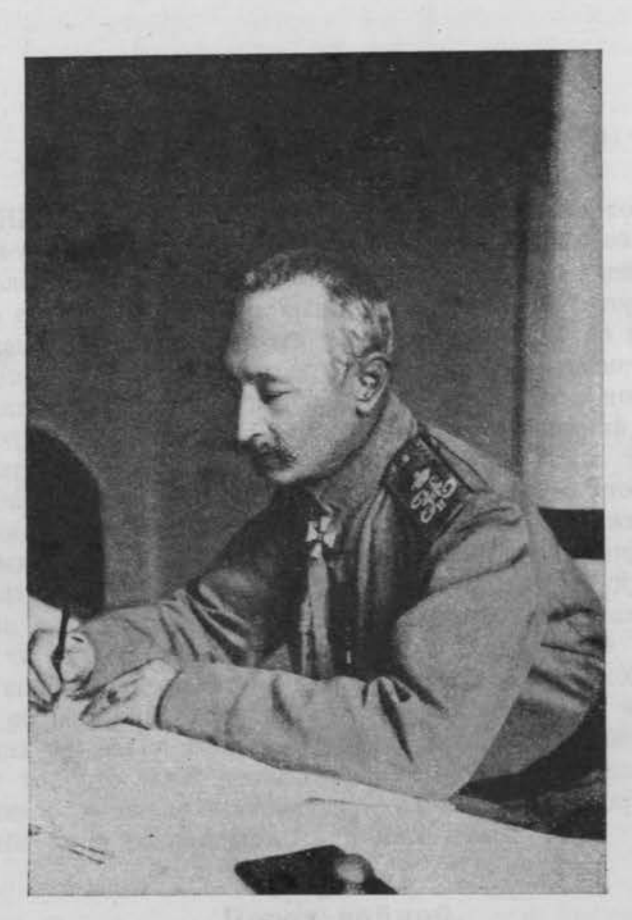
Встречавшиеся знакомые, с которыми я прощался, имея уже билеты в кармане, смеялись надо мной, уверяя, что никакой войны не будет.

По дороге нигде не было заметно особенного возбуждения. Не то нашли мы в Берлине. Переезжая на автомобиле из Anhalter Banhof к центральному вокзалу на круговой железной дороге,

мы были остановлены на улице Unter den Linden, у нашего посольства, громадным скоплением народа в несколько тысяч человек, которые ревели патриотические песни, ругали Россию и требовали войны. С трудом добрались мы до вокзала, добыли билеты и ночным скорым поездом уехали на Александрово, куда и прибыли благополучно в 5 часов утра 16/29 июля.

Между прочим, во все время нашего пребывания в Киссингене нашим соседом за табльдотом был бравый, усатый, военного вида кавалер. Он ежедневно приезжал на автомобиле и очень всегда спешил по каким-то делам. На всех прогулках он нам попадался на пути. Садясь в вагон в Киссингене, а затем в Берлине, мы опять его видели. Тут уж я сообразил, что это неспроста. Очевидно, он наблюдает за мной и знает, что я—командир русского корпуса, стоящего на границе. Когда в Александрове, в виду наших жандармов, проверявших паспорта, он опять мелькнул среди публики, остававшейся за границей, я не вытерпел и, сняв шляпу, иронически ему поклонился: мне стало очевидно, что я счастливо ускользнул из его рук,—еще два дня, и меня бы арестовали. Нельзя не удивляться и не оценить берлинскую военную разведку, если даже в мирное время они были так предусмотрительны и всех нас грешных, русских генералов-путешественников, наперечет знали.

В Варшаве, которую мы проезжали в тот же день, все было спокойно, и публика, повидимому, не подозревала, что мы находимся накануне войны. Помощник командующего войсками Варшавского военного округа генерал от кавалерии барон фон-Траубенберг, которого мы встретили на вокзале, мне передал, что пока мобилизуется лишь Киевский военный округ, но что все уверены, что мы войны избежим.



А. А. БРУСИЛОВ
в начале войны (1914 г.).

ГОДЫ ВОЙНЫ 1914—1917 гг.

*

Я НИКОГДА не вел дневника и сохранил лишь кое-какие записки, массу телеграмм и отметки на картах с обозначением положения своих и неприятельских войск в каждой операции, которую совершал. Великие события, участником которых я был, легли неизгладимыми чертами в моей памяти. Я не имею намерения писать связанных между собой подробных исторических воспоминаний о мировой войне, и тем более не в моих намерениях подробно описывать боевые действия тех армий, которыми мне пришлось командовать во время этой войны. Цель моих воспоминаний—более скромная. Она состоит в том, чтобы описать мои личные впечатления и переживания в тех великих событиях, в которых я был или действующим лицом или свидетелем.

Думаю, что эти страницы будут полезны для будущей истории, они помогут многое правильно осветить, охарактеризовать только что пережитую эпоху, нравы и психологию ныне уже исчезнувшей, а в то время жившей во-всю русской армии и многих ее вождей. Надеюсь, читатель не посетует, что на этих страницах он не найдет ничего стройного, цельного, а лишь прочтет то, что меня наиболее мучило или радовало, то, что захватывало меня полностью, да еще несколько картинок, почему-либо ярко сохранившихся в моей памяти.

Перед войной.

Утром 18 июля 1914 года я прибыл из отпуска в Винницу, вечером 19 июля я получил циркулярную телеграмму, что Германия объявила нам войну; вслед за сим объявила нам войну и Австрия (26 июля). Итак, свершилась давно ожидаемая и неизбежная катастрофа, размер и последствия которой никто и сообразить не мог.

В каком же положении находилась к этому времени наша армия и в какой степени боевой готовности в этот момент ока-

залась Россия? Чтобы ясно это понять, необходимо, хотя бы в нескольких словах, вспомнить, как развивались наши военные силы в царствование императоров Александра III и Николая II.

Александр III, человек твердый и прямой, не имел склонности к военному делу, не любил парадов и военной мишуры, но требовал наивозможно большего усиления военной мощи России. Военный министр Ванновский, при помощи даровитого своего помощника, начальника Главного штаба—Обручева, за время этого тринадцатилетнего царствования сделал очень много и значительно упорядочил и развил наши военные силы, а, кроме того, главное внимание обратил на обороноспособность нашего Западного фронта против Германии и Австро-Венгрии; этот театр военных действий усердно ими подготовлялся. Новая дислокация войск, постройка крепостей, новое устройство крепостных и резервных войск—немедленно поставили Россию в завидное положение государства, серьезно готовящегося к успешной защите своих западных границ.

К сожалению, с воцарением Николая II и, в особенности, с удалением Ванновского и Обручева—картина резко переменилась.

Явились, по свойству характера молодого царя, колебания то в ту, то в другую сторону, а новый военный министр Куропаткин не был достаточно настойчив в своих требованиях, не получал достаточных кредитов и старался лишь угодить великим мира сего, хотя бы и в ущерб делу.

Несбыточные и непродуманные миролюбивые тенденции привели к фатальной для нас Гаагской мирной конференции, которая лишь связала наши руки и затормозила наше военное развитие, тогда как Германия продолжала энергично усиливаться. А затем мы затеяли порт-артурскую чепуху, приведшую к печальной памяти Японской войне.

Эта проигранная нами война, закончившаяся революцией 1905—1906 г., была ужасна для наших вооруженных сил еще в том отношении, что мы готовились упорно к войне на Западном фронте и в то же время неосторожно играли с огнем на Дальнем Востоке, фронт которого нами совершенно не был подготовлен. Только в самое последнее перед Японской войной время мы наспех и кое-как сделали кое-что «на фуфу», рассчитывая лишь попугать Японию, но отнюдь с нею не воевать. Когда же, вследствие нашей неумелой ребяческой политики и при усердном науськивании императора Вильгельма, война с Японией разразилась, наше военное министерство оказалось без плана мобилизации и без плана действия на этом фронте.

Можно смело сказать, что эта война расстроила в корне все наши военные силы и разбила в конец всю работу Ванновского и Обручева [6]. Не место и не время перечислять тот страшный сумбур, в который ввергла эта злосчастная война армию России.

Но чтобы дать образчик нащей боеспособности после этой войны, приведу для примера положение, в котором находился XIV армейский корпус в начале 1909 года, когда я вступил в командование им (а ведь он был расположен на самой границе—в Варшавском военном округе). В его состав входили: 2-я и 16-я пехотные и 1-я Донская казачья дивизии. Из этих войск одна бригада 2-й пехотной и одна бригада Донской дивизии находились на Волге в продолжительной командировке. Обоз всех частей корпуса был в полном беспорядке, а мундирная одежда была только на мирный состав, и имелся лишь один комплект 2-го срока, а 1-го срока совсем не было. Сапог было только по одной паре, и те в неисправности. В случае мобилизации не во что было одеть и обуть призванных людей, да и обоз развалился бы, как только он бы тронулся. Пулеметы были, но лишь по 8 на полк, однако без запряжки, так что в случае войны пришлось бы их возить на обывательских подводах. Мортирных дивизионов не существовало. Нам было известно, что патронов, как для легких орудий, так и для винтовок, было чрезвычайно мало. Когда наши отношения с Австро-Венгрией обострились вследствие аннексии Боснии и Герцоговины и нас, корпусных командиров, в предвидении возможной войны собрали в Варшаву, то для меня стало ясным, что все — в таком же положении, как и XIV корпус, и что мы в то время безусловно воевать не могли, даже если бы немцы захотели аннексировать Польшу или прибалтийские провинции.

В 1910 году 2-я пехотная дивизия отошла от меня в другой корпус, а ко мне вошла 17-я пехотная дивизия. Отличная по составу, она по своему снаряжению была еще в худшем положении, чем ранее поименованные части, ибо у нее уж совсем никакого обоза не было (он был ею оставлен на Дальнем Востоке в 1905 году со всем имуществом по военному времени), а тут на западной границе она уж 4 года жила в полной беспомощности, почти голая. Если все это принять во внимание и вспомнить, что Сухомлинов стал военным министром лишь весной 1909 года, справедливость требует признать, что за пять лет его управления до начала войны было сделано довольно много: мобилизация произошла успешно и достаточно быстро, принимая во внимание нашу плохо развитую сеть железных дорог и громадные расстояния, а о безобразном сумбуре, бывшем до него, не было и помину. Виновен Сухомлинов, конечно, во многом, в особенности в том, что вопрос об огнестрельных припасах был решен неудовлетворительно: недостаток их—одна из главных причин наших неудач 1915 года. Вина эта—тяжелая, но ее должен разделить с ним, помимо бывшего тогда начальником Главного артиллерийского управления Кузьмина-Караваева, и генерал-инспектор артиллерии вел. князь Сергей Михайлович.

Сухомлинова я знал давно, служил под его начальством и считал, да и теперь считаю, его человеком, несомненно, умным. быстро соображающим и распорядительным, но ума поверхностного и легкомысленного. Главный же его недостаток состоял в том, что он был, что называется, очковтиратель и, не углубляясь в дело, довольствовался поверхностным успехом своих действий и распоряжений. Будучи человеком очень ловким, он, чуждый придворной среде, изворачивался, чтобы удержаться, и лавировал для сохранения собственного благополучия. Несомненно, его положение было трудное при слабохарактерном императоре, на которого влияли с разных сторон. Помимо того, он восстановил еще против себя, в угоду правительственному течению, всю Государственную думу. А это был большой промах, ибо Дума всеми силами старалась развить военную мощь России, поскольку это от нее зависело.

К началу войны, помимо недостатка огнестрельных припасов, в реформах Сухомлинова были и другие крупные промахи, как, например, уничтожение крепостных и резервных войск. Крепостные полки были отличными крепкими частями, прекрасно знавшими свои районы, и при их существовании наши крепости не сдавались бы и не бросались бы с той легкостью, которая покрыла позором случайные гарнизоны этих крепостей.

Скрытые полки, образованные взамен уничтоженных резервных, также не могли заменить последних по недостатку крепких кадров и спайки в мирное время. Правда, некоторые второочередные дивизии в общем дрались впоследствии недурно, но обнаружили многие недостатки, которых не было бы в старых резервных частях.

Уничтожение крепостных районов на западной границе, стоивших столько денег, было не продумано и также сильно способствовало неудачам 1915 года. И это—тем более, что был разработан новый план войны, с легким сердцем сразу отдававший противнику весь наш Западный край; в действительности же мы его не могли покинуть и должны были выполнить план, совершенно не предвиденный и не подготовлявшийся. Во всяком случае, я убежден, что Сухомлинов изменником не был, принял военное министерство в отчаянно-расстроенном виде и за пять лет работы сделал довольно много, хотя и недостаточно. Нельзя не признать, что мог он и должен был сделать гораздо больше.

Как бы то ни было, но война нам была объявлена, мобилизация совершалась быстро и в возможном порядке, и я готовился выступать со своим штабом корпуса, когда получил предписание вступить в командование VIII армией, которая составлялась из моего XII корпуса Киевского округа, VII и VIII корпусов Одесского округа и XXIV корпуса Казанского округа с одной кавалерийской и четырьмя казачьими дивизиями.

По мирному расписанию, я был раньше предназначен командовать II армией на Северо-западном фронте, но с уходом моим из Варшавского военного округа в Киевский было ясно, что я этой армии не получу, и мое назначение в VIII армию было для меня сюрпризом очень приятным. Я не честолюбив, ничего лично для себя не домогался, но, посвятив всю свою жизнь военному делу и изучая это сложное дело беспрерывно в течение всей моей жизни, вкладывая всю свою душу в подготовку войск к войне, я хотел проверить себя, свои знания, свои мечты и упования в более широком масштабе.

Не буду останавливаться на описании положения, в котором находилась наша действующая армия, вступая в эту войну. Скажу лишь несколько слов об организации нашей армии и об ее техническом оборудовании, ибо ясно, что в XX столетии одною только храбростью войск без наличия достаточной современной военной техники успеха в широких размерах достигнуть нельзя было.

Пехота была вооружена хорошо соответствующей винтовкой, но пулеметов было у нее чрезмерно мало, всего по 8 на полк, тогда как минимально необходимо было иметь на каждый батальон не менее 8 пулеметов, считая по 2 на роту, и затем хотя бы одну 8-пулеметную команду в распоряжении командира полка. Итого—не менее 40 пулеметов на четырехбатальонный полк, а на дивизию, следовательно, 160 пулеметов; всего же в дивизии было 32 пулемета. Не было, конечно, бомбометов, минометов и ручных гранат, но, в расчете на полевую войну, их в начале войны ни в одной армии не было, и отсутствие их в этот период войны военному министерству в вину ставить нельзя. Ограниченность огнестрельных припасов была ужасающей, крупнейшей бедой, которая меня чрезвычайно озабочивала с самого начала, но я уповал, что военное министерство спешно займется этим главнейшим делом и сделает нечеловеческие усилия, чтобы развить нашу военную промышленность.

Что касается организации пехоты, то я считал,—и это оправдалось на деле,—что четырехбатальонный полк и, следовательно, 16-батальонная дивизия—части слишком громоздкие для удобного управления. Использовать их в боевом отношении достаточно целесообразно—чрезвычайно трудно. Я считал, да и теперь считаю [7], что нормально полк должен быть трехбатальонный, 12-ротного состава, в дивизии—12 батальонов, а в корпусе не 2, а 3 дивизии. Таким образом, в корпусе было бы 36 батальонов вместо 32, а троечная система значительно облегчала бы начальству возможность использовать их наиболее продуктивно в бою. Что касается артиллерии, то в ее организации были крупные дефекты, и мы в этом отношении значительно отставали от наших врагов.

Восьмиорудийная батарея чересчур велика для того, чтобы батарейный командир имел возможность развивать тот огонь, который могут дать восемь орудий. Считаю, что 6-орудийная батарея при достаточном количестве снарядов может дать ту же силу огня, как и 8-орудийная батарея. Затем у нас почти сплошь были все легкие орудия, сильные своим шрапнельным огнем, но немощные стрельбою гранатами; на армейский же корпус, помимо 3-дюймовой артиллерии, было всего один мортирный дивизион из 12 гаубиц, а на всю мою армию был лишь один дивизион тяжелой артиллерии. Мы имели на 32-батальонный корпус 96 легких орудий и 12 гаубиц, а всего 108 орудий, тогда как немцы, например, имели на 24-батальонный корпус 166 орудий, из коих 36 гаубиц и 12 тяжелых орудий, которых у нас было чрезвычайно мало. Другими словами, по роду артиллерийского нашего вооружения наша артиллерия была приспособлена, да и то в слабой степени, к оборонительному бою, но никак не к наступательному.

Наша артиллерия, как это доказала война, стреляла хорошо по-батарейно и дивизионами, но стрельбы высших соединений артиллерии орудиями различных калибров для достижения наибольших боевых результатов—она безусловно не знала. И уже в военное время ей пришлось на тяжелом опыте, после тяжких испытаний, наскоро обучаться такой сложной стрельбе. В этом она нисколько не была виновата, ибо в мирное время на полигонах обыкновенно дело кончалось стрельбой дивизионами однородных орудий, а на инспекторов артиллерии в корпусах в мирное время смотрели, как на людей, которые в военное время будут заниматься исключительно учетом огнестрельных припасов и снабжением ими войск. Иначе говоря: из того, что артиллерийских припасов было недостаточно, что артиллерии вообще было мало, в особенности тяжелой, что система обучения артиллериста была нерациональная,—ясно, что военное министерство, включая и Главное управление генерального штаба и генерал-инспектора артиллерии,—не отдавало себе отчета, что такое современная война.

Конечно, никто в то время не предполагал, что на всех фронтах миллионные армии в скором будущем глубоко закопаются в землю и перейдут к той системе войны, которая столь осмеивалась в Японскую кампанию и в особенности жестоко критиковалась германцами, которые в эту великую войну первые перешли к позиционной войне. Но, во всяком случае, и до войны ясно было, что тот из противников, который окажется более слабым, будет зарываться в землю, что, следовательно, наступающий должен будет сосредоточивать крупные соединения артиллерии различных калибров на избранных участках, чтобы подготовлять надлежащим образом наступление пехоты. Все это было совер-

шенно упущено, и нужно признать, что большинство высших артиллерийских начальников, совсем не по своей вине, не умели управлять артиллерийскими массами в бою и не могли извлекать из них ту пользу, которую пехота имела право от них ожидать.

Еще за несколько лет до этой войны, в бытность мою командиром XIV армейского корпуса, я чувствовал этот важный пробел в обучении артиллерии стрельбе и требовал стрельбы групп силою в 8, 10 и 12 батарей по известным целям, с переносом огня с одной цели на другую; но мое начальство находило такие стрельбы излишними и мне далеко не покровительствовало. Еще в меньшей степени, в бытность мою командиром XII армейского корпуса, допускались такие стрельбы в Киевском военном округе, и его главный начальник, генерал-адъютант Иванов, считавшийся тонким артиллерийским специалистом, их безусловно не одобрял, считая их вредными и называя такие стрельбы напрасной тратой снарядов,—якобы на основании опыта Японской войны.

На каждый армейский корпус было по одному саперному батальону, составленному из одной телеграфной роты и трех рот сапер. Очевидно, что такое количество сапер при современном оружии, развиваемом им огне и необходимости искусно закапываться в землю, было совершенно недостаточно. При этом нужно признать, что и пехота наша обучалась в мирное время самоокапыванию отвратительно, спустя рукава, и вообще саперное дело в армии было скверно поставлено [8]. Что касается кавалерии, то кавалерийские и казачьи дивизии состояли из четырех полков, шестиэскадронного или шестисотенного состава с пулеметной командой из 8 пулеметов и дивизиона конной артиллерии двухбатарейного состава, по 6 орудий в каждой. Сами по себе эти кавалерийские и казачьи дивизии были достаточно сильны для самостоятельных действий стратегической конницы, но им недоставало какой-либо стрелковой части, связанной с дивизией, на которую она могла бы опираться. В общем, кавалерии у нас было слишком много, в особенности после того, как полевая война перешла в позиционную, и уже во второй половине войны были сформированы в каждой конной дивизии четырехэскадронные или четырехсотенные пешие дивизионы (по одному на конную дивизию).

Воздушные силы в начале кампании были в нашей армии поставлены ниже всякой критики. Самолетов было мало, большинство их были довольно слабые, устаревшей конструкции. Между тем, они были крайне необходимы как для дальней и ближней разведки, так и для корректирования артиллерийской стрельбы, о которой ни наша артиллерия, ни летчики понятия не имели. В мирное время мы не озаботились возможностью изготовления самолетов дома, у себя в России, и потому в течение всей кампании мы значительно страдали от недостатка в них.

Знаменитые «Ильи Муромцы», на которых возлагалось столько надежд, не оправдали их. Нужно полагать, что в будущем, значительно усовершенствованный, этот тип самолетов выработается, но в то время существенной пользы принести они не могли. Дирижаблей у нас в то время было всего несколько штук, купленных дорогой ценой за границей. Это были устаревшие, слабые воздушные корабли, которые не могли принести и не принесли нам никакой пользы [9]. В общем, нужно признаться, что по сравнению с нашими врагами мы технически были значительно отсталыми, и, конечно, недостаток технических средств мог восполняться только лишним пролитием крови, что, как будет видно, имело свои весьма дурные последствия.

Как известно, после Японской кампании, которая, как прообраз будущего, показала пример позиционной войны, критика всех военных авторитетов по поводу этой кампании набросилась на способ ее ведения. В особенности немцы страшно восставали и зло смеялись над нами, говоря, что позиционная война доказала наше неуменье воевать и что они, во всяком случае, такому примеру подражать не станут. Они утверждали, что вследствие особенности их географического положения они не могут позволить себе роскоши продолжительной войны, и им необходимо разбить своих врагов в возможно более короткое время и закончить войну в 6—8 месяцев, не больше. Они льстили себя надеждой, что быстрыми и могучими ударами они на-голову разобьют сначала один вражеский фронт, а затем, пользуясь внутренними операционными линиями, перекинут большую часть своих войск на другой, чтобы покончить с другим противником.

Для выполнения таких намерений, естественно, позиционная война не годилась. Немцы считали, что в полевых сражениях они сразу будут разворачивать наибольшую часть своих сил, чтобы в начале боя иметь возможность развитием сильнейшего огня подавить огонь противника с охватом одного или обоих флангов, в зависимости от обстановки. Полагалось, что атака фронтальная при силе современного огня хорошего успеха дать не может, а решение участи сражения нужно искать на флангах, и на ударном фланге нужно концентрировать войска в возможно большем количестве. Общий же резерв для парирования случайностей должен был быть небольшим.

Эта теория, усиленно проповедывавшаяся германскими военными писателями, в общем была и нами принята. И у нас о позиционной войне никто и слышать не хотел. Однако практика вскоре указала, что при разворачивании многомиллионных армий они вынуждены занять сплошной фронт чуть ли не от моря до моря, и нет ни места, ни возможности маневрировать по примеру войны 1870—1871 гг. Вследствие этого при сплошных линиях фронтов является необходимость атаковать в лоб сильно укре-

пленные позиции, и тут артиллерия и должна играть роль молота, раздробляющего все перед ним находящееся на избранных участках атаки.

Во всяком случае, мы выступили с удовлетворительно обученной армией. Корпус офицеров страдал многими недостатками, о которых тут подробно не место говорить, так как это вопрос очень сложный. Вкратце же скажу, что, после несчастной Японской войны этим вопросом стали серьезно заниматься, стараясь, в особенности, установить систему правильного выбора начальствующих лиц. Система эта не дала, однако, особенно благих результатов, и к началу войны мы не могли похвастаться действительно отборным начальствующим составом.

Было много причин этого безотрадного факта. Главная из них состояла в том, что аттестации офицеров составлялись аттестационными комиссиями, вполне безответственными за свои аттестации. При известном русском добродушии и халатности зачастую случалось, что недостойного кандидата аттестовали хорошо в надежде поскорей избавиться от него посредством нового высшего назначения без неприятностей и жалоб со стороны обиженного. Я сильнейшим образом восставал против такого образа действий, и трудно себе представить, сколько было у меня неприятностей по этому поводу во время моего командования дивизией и двумя корпусами.

Существование гвардии с ее особыми правами было другой причиной недостаточно осмотрительного подбора начальствующих лиц. Дорожа своими привилегиями, гвардейские офицеры полагали, что между ними неудовлетворительных быть не может, что действительностью не оправдывалось, и не раз случалось, что гвардейское начальство пропускало своими снисходительными аттестациями людей, заведомо неспособных, командирами полков в армию, считая, что в отборном войске, в гвардии, эти люди командовать отдельными частями не могут, а в армии—не беда, сойдет! Наконец, генеральный штаб избавлялся от своих неспособных членов тем, что сплавлял их командовать полками, бригадами и дивизиями и уже назад их в свою среду не принимал, вместо того, чтобы правдиво аттестовать их непригодными к службе.

Движение по службе в самой армии происходило столь медленно и процент вакансий на должности начальников отдельных частей был столь мал, что подавляющее большинство офицеров этой категории выслуживало свой возрастный ценз в чине капитана или подполковника. Можно было по пальцам сосчитать счастливчиков из армии, дослуживших до должности начальника дивизии. Невольно армейские офицеры апатично смотрели на свою долю и злостно относились к гвардии и генеральному штабу, кляня свою судьбу.

Нужно еще упомянуть, что из старых традиций, положенных в основу службы Павлом I и богато развившихся в царствовании Николая I, многое сильно вредило делу. Так, например, самостоятельность, инициатива в работе, твердость в убеждениях и личный почин отнюдь не поощрялись, и требовалось большое искусство и такт, чтобы иметь возможность проводить свои идеи в войсках, как бы они ни были благотворны и хотя бы отнюдь не противоречили уставам. Было много высшего начальства, которое смотрело войска лишь на церемониальном марше и только по более или менее удачной маршировке судило об успехе боевого обучения армии.

В общем состав кадровых офицеров армии был недурен и знал свое дело достаточно хорошо, что и доказал на деле, но значительный процент начальствующих лиц всех степеней оказался, как и нужно было ожидать, во многих отношениях слабым, и уже во время войны пришлось их за ошибки спешно сменять и заменять теми, которые на деле выказали лучшие боевые способности. Если помнить, что ошибки во время войны влекут за собой часто неудачи, а в лучшем случае излишнее пролитие крови, то необходимо признать, что наша аттестационная система была неудачна.

Неприязнь, с которой относились войска к корпусу офицеров генерального штаба как в мирное, так и в военное время требует некоторого пояснения, хотя подробно на ней останавливаться на этих страницах полагаю излишним. Несомненно, большая часть этих офицеров соответствовала своему назначению, и между ними было много умных, знающих и самоотверженных работников; но в их среде находился некоторый, к счастью небольшой, процент людей, ограниченных, даже тупых, но с большим самомнением. Впрочем, последним недостатком страдала значительная часть чинов этого корпуса, в особенности молодежь, которая льстила себя убеждением, что достаточно окончить $2^1/_2$-годовое обучение в академии, чтобы сделаться светилами военного дела, и считала, что только из их среды могут выходить хорошие полководцы.

Помню, как за несколько лет до войны я присутствовал в вагоне, возвращаясь из заграничного путешествия, в штатском платье, при ожесточенном споре какого-то саперного подполковника с двумя молодыми офицерами генерального штаба. Последние утверждали, что их ученый корпус подготовляется академией по преимуществу для выработки полководцев, вождей армий, а служба генерального штаба есть только переходная ступень, подготовляющая их к главному делу—командованию армиями; что человек, не окончивший академии, настоящим полководцем быть не может, а будет лишь игрушкой в руках своего начальника штаба. Их оппонент, человек повидимому горячий, быстро и резко говоривший, им возражал с пеной у рта, что, начиная с Александра

Македонского и кончая Наполеоном и Суворовым, не было ни одного знаменитого полководца из академиков и что в Турецкую кампанию 1877/78 г. особенно прославился Гурко, не академик, и Скобелев, окончивший академию последним, а в нашу войну с Японией, где все высшее наше начальство было почти сплошь из офицеров генерального штаба, с Куропаткиным во главе, оно совсем не выказало нужных для полководцев качеств. Речь злосчастного оппонента молодых штабных деятелей нисколько не убедила, и они, с некоторым высокомерием, снисходительно, но твердо и спокойно стояли на своем, считая свое убеждение аксиомой.

Привел я эту картинку с натуры потому, что она характерна и сразу раскрывает яснее всяких длинных объяснений причины озлобления армии к своему генеральному штабу: для того, чтобы дойти до высших степеней командования, нужно быстро выдвигаться вперед в ущерб строевым офицерам, занимая не только штабные, но и командные должности, и до войны большая часть начальников дивизий и корпусных командиров были из офицеров генерального штаба. В действительности, конечно, ни одно учебное заведение фабриковать военачальников не может, так как для этого требуется много различных свойств ума, характера и воли, которые даются природой и приобретаться обучением не могут. Неоспоримо, конечно, что полководец должен знать хорошо свое дело и всесторонне изучить его тем или иным способом. Нужно также признать, что военная академия очень полезна, и несомненно желательно, чтобы ее курс проходило возможно большее число офицеров. Но нужно помнить, что необходимо вслед за окончанием курса, в течение всей службы, беспрерывно следить за военной наукой и продолжать изучать ее, так как военная техника быстро совершенствуется, и тот, кто успокоится, сложа руки, по окончании какой бы то ни было академии, быстро отстанет от своего времени и дела и сделается более опасным для своей работы, нежели неуч, так как будет обладать отсталыми, а следовательно воображаемыми, но не действительными знаниями. Нельзя не осудить также карьеризма, которым были охвачены многие из успешно оканчивавших питомцев военной академии со времен Милютина. На это, впрочем, были свои исторические причины, о которых тут не место говорить.

Как бы то ни было, но я считаю долгом признать, что за некоторыми исключениями офицеры генерального штаба в эту войну работали хорошо, умело и старательно выполняли свой долг. Одно было неладно: это—за малым исключением постоянное, быстрое перемещение этих офицеров с одной должности на другую для более быстрого движения вперед; они не задерживались ни на каком месте—ни на штабном, ни на строевом, а потому трудно было им входить основательно в круг своих обязанностей и при-

носить ту пользу, которую они могли и должны были оказать. Такое перелетание с места на место также озлобляло армию, которая называла их белою костью, а себя—черною. В этом, однако, нужно винить скорее ставку, желавшую быстрее выдвигать своих академических товарищей, которые без приказа сверху не имели бы возможности столь резво прыгать. Неоспорим и тот факт, что многие, притом наиболее способные академики, изучив исключительно военное дело, уходили с военной службы на должности, ничего общего не имевшие с военным искусством, и старались занимать должности, лучше оплачиваемые. Мы видели офицеров генерального штаба в роли государственного контролера, министров путей сообщения, внутренних дел, начальников железных дорог, губернаторов и т. п.

Верховным главнокомандующим был назначен вел. князь Николай Николаевич. По моему мнению, в это время лучшего верховного главнокомандующего найти было нельзя. По предыдущей моей службе, в бытность мою начальником Офицерской кавалерийской школы, а затем начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, я имел возможность близко узнать его, как по должности генерал-инспектора кавалерии, так и по должности главнокомандующего гвардией и Петербургского военного округа. Это—человек несомненно всецело преданный военному делу и теоретически и практически знавший и любивший военное ремесло. Конечно, как принадлежавший к императорской фамилии, он, по условиям своего высокого положения, не был усидчив в работе, в особенности—в молодости. По натуре своей он был страшно горяч и нетерпелив, но с годами успокоился и уравновесился. Назначение его верховным главнокомандующим вызвало глубокое удовлетворение в армии. Войска верили в него и боялись его. Все знали, что отданные им приказания должны быть исполнены, что отмене они не подлежат и никаких колебаний не будет.

С начала войны, чтобы спасти Францию, Николай Николаевич совершенно правильно решил нарушить выработанный раньше план войны и быстро перейти в наступление, не ожидая окончания сосредоточения и развертывания армий. Потом это ставилось ему в вину, но в действительности это было единственное верное решение. Немцы, действуя по внутренним операционным линиям, естественно должны были стараться бить врагов поочередно, пользуясь своей развитою сетью железных дорог. Мы же с союзниками, действуя по внешним линиям, должны были навалиться на врага сразу со всех сторон, чтобы не дать возможности германцам уничтожать противников поочередно и перекидывать свои войска по собственному произволу.

Жаль, что эту азбучную истину не приняли в соображение лица, составлявшие новый план войны, ссылавшиеся на то, что

неизвестно, на кого наш враг раньше набросится—на французов или на нас. Казалось бы, здравый смысл должен был подсказать, что немцы фатально обязаны неизбежно силою обстановки атаковать раньше французов, во-первых, потому, что французы скорее нас мобилизуются и раньше нас могут перейти в наступление, а во-вторых потому, что в случае полной удачи немцы могут быстрее склонить к миру французов, нежели русских с их необъятным пространством в тылу. Удивительный план войны с отводом назад на линию Белосток — Брест был окончательно разработан, поскольку мне помнится, на секретном совещании в Москве, кажется осенью 1912 года, и тогда же утвержден. В то время я был помощником командующего войсками Варшавского военного округа и высказал мои сомнения относительно целесообразности этого плана бывшему тогда начальником штаба этого округа генералу Клюеву, участвовавшему в составлении этого плана; но он со свойственным ему самомнением стал уверять меня, что это решение безукоризненно хорошо и другого быть не может. Каждый из нас остался при своем мнении, но так как это дело меня не касалось, то я бросил об этом спорить.

Справедливость требует, однако, сказать, что вел. князь Николай Николаевич к этому совещанию привлечен не был, невзирая на то, что он должен был выполнять вырабатывавшийся план; чтобы избежать его присутствия, совещание назначили не в Петербурге, а в Москве. Во время объявления войны ему пришлось, в силу необходимости, спешно менять план войны, что в заслугу Главному управлению генерального штаба и Сухомлинову никак поставить нельзя. Францию же необходимо было спасти, иначе и мы, с выбытием ее из строя, сразу проиграли бы войну.

Николай Николаевич требовал строгой и справедливой дисциплины в войсках, заботился о нуждах солдата, усиленно следил за тем, чтобы не было засилия штабов над строевым элементом, не жалел наград для строевых работников, был скуп относительно награждений штабных и тыловых деятелей, строго запрещая награждать их боевыми отличиями. Я считал его отличным главнокомандующим.

Фатально было то, что начальником штаба верховного главнокомандующего был назначен бывший начальник Главного управления генерального штаба Янушкевич, человек очень милый, но довольно легкомысленный и плохой стратег. В этом отношении должен был его дополнять генерал-квартирмейстер Данилов, человек узкий и упрямый. Его доклады несомненно влияли в значительной степени на стратегические соображения верховного главнокомандующего, и нельзя не признать, что мы иногда действовали в некоторых отношениях наобум и рискованно разбрасывались—не в соответствии с теми силами, которыми мы располагали.

Главнокомандующим армиями Юго-западного фронта, в состав которого вошла и моя VIII армия, был назначен командующий войсками Киевского военного округа генерал-адъютант Н. И. Иванов. Это был человек вполне преданный своему долгу, любивший военное дело, но в высшей степени узкий в своих взглядах, нерешительный, крайне мелочный и, в общем, бестолковый, хотя и чрезвычайно самолюбивый. Он был одним из участников несчастной Японской кампании, и думаю, что постоянные неудачи этой злосчастной войны влияли на него и заставляли его непрерывно сомневаться и пугаться зря, так что даже при вполне благополучной обстановке он постоянно опасался разгрома и всяких несчастий.

Начальником его штаба в начале кампании был М. В. Алексеев, человек очень умный, быстро схватывающий обстановку, отличный стратег. Его главный недостаток состоял в нерешительности и мягкости характера. При твердом главнокомандующем эти недостатки не составляли бы беды, но при колеблющемся и бестолковом Иванове это представляло собой большую угрозу для хорошего ведения дела на Юго-западном фронте.

Что касается моей армии, то она составляла левый фланг всех наших сил, оборонявших нашу западную границу, что давало мне возможность свободнее маневрировать, нежели другим армиям. Моим начальником штаба был генерал Ламновский. Это был человек умный, знающий, энергичный и в высшей степени трудолюбивый. Не знаю, почему он составил себе репутацию панического генерала. Подобная характеристика совершенно неверна. Он быстро соображал, точно выполнял мои приказания и своевременно их передавал в войска, был дисциплинирован и никогда не выказывал трусости и нерешительности. Жили мы с ним в дружбе и согласии. Правда, он не всегда одобрял мои планы, считая их иногда рискованными, и по долгу службы докладывал свои сомнения, но раз какое-либо дело было решено, он клал всю свою душу для наилучшего выполнения той или иной предпринимавшейся операции. Его недостаток был в том, что он не очень доверял своим штабным сотрудникам и лично старался входить во все мелочи, в особенности—по генерал-квартирмейстерской части. Этим он обезличивал своих помощников и переобременял себя работой, доводившей его до переутомления. Во всяком случае, это был отличный начальник штаба.

В начале кампании генерал-квартирмейстером штаба моей армии был Деникин, но вскоре он, по собственному желанию служить не в штабе, а в строю, получил, по моему представлению, 4-ю стрелковую бригаду, именуемую «железной», и на строевом поприще выказал отличные дарования боевого генерала. После Деникина генерал-квартирмейстером был назначен генерал Никитин, человек средних способностей, честный, спокойный и при

таком начальнике штаба, как Ламновский, не игравший в штабе никакой роли.

Рядом с VIII армией действовала III армия, во главе которой стоял генерал Рузский, человек умный, знающий, решительный, очень самолюбивый, ловкий и старавшийся выставлять свои деяния в возможно лучшем свете, иногда в ущерб своим соседям, пользуясь их успехами, которые ему предвзято приписывались. В качестве яркого примера этого могу привести тот странный и печальный факт, что он никогда не опроверг резкой неточности, появившейся в русской печати в первых же телеграммах о наших армиях и о взятии Львова.

Уже в самом начале войны, когда наша армия быстро продвигалась вперед, меня очень озабочивали ее тыл и связь, которую необходимо было держать штабу армии как с передовыми войсками, так и со штабом фронта. Тыловые учреждения далеко не были сформированы, автомобилей было очень мало, транспортов недостаточно, телеграфных колонн тоже; что же касается санитарной части, то она была лишь в самом зародыше и, как дальше будет видно, во время первых сражений положение раненых было очень тяжелое. Вообще, тыл наших армий был, в сущности, в начале кампании в хоатическом состоянии и был более приспособлен к стоянию на месте, т. е. к обороне, нежели к работе во время энергичного наступления, которое выпало нам на долю.

В общем, следует признать, что в техническом отношении мы были подготовлены неудовлетворительно и что если бы военное министерство не занималось преимущественно войной с Государственной думой, а шло бы с ней рука об руку, то результат подготовки получился бы иной. Объяснение, что мы предполагали быть готовыми лишь к 1917 году, и что война застала нас врасплох, только усугубляет вину, ибо нам было известно, что немцы подготовляются к 1915 году, а следовательно, хоть тресни, а мы также должны были, чего бы это ни стоило, подготовиться к этому году, а не к 17-му. И это было, хотя и трудно, но возможно; мы же готовились недостаточно энергично, спустя рукава, не желая привлекать к этой работе общественные силы из личных политических соображений внутреннего порядка, и дошли до того, что начали войну, имея только по 950 выстрелов на легкое орудие, а тяжелых орудий почти совсем не имели.

Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная.

Ни для кого не было секретом, что после франко-прусской войны 1870/71 г. Германия, в опьянении от своих побед, стала стремиться к всемирной гегемонии. В этом отношении Россия, ее старая союзница и пособница, мешала ее планам на Ближнем Востоке, так же как и Франция с ее идеей о реванше и стремлением вернуть Эльзас и Лотарингию. Еще в большей степени

мешала Германии Англия с ее флотом и твердо установившейся мировой торговлей.

И вот, в особенности с воцарением императора Вильгельма II, начинается упорное планомерное развитие военных (сухопутных и морских) сил Германии во главе нового тройственного союза— Германия, Австро-Венгрия и Италия. При этом нравственная подготовка всех слоев германского народа к этой великой войне не только не была забыта, но была выдвинута на первый план, и народу, столь же упорно, как и успешно, всеми мерами внушалось, что Германия должна завоевать себе достойное место под солнцем, иначе она зачахнет и пропадет, и что великий германский народ, при помощи своего доброго немецкого бога, как избранное племя, должен разбить Францию и Англию, а низшую расу славян с Россией во главе обратить в удобрение для развития и величия высшей германской расы. Пришлось и всем остальным народам Европы волей-неволей напрягать свои силы для подготовки борьбы за свою свободу и интересы. Императору Александру III не оставалось другого решения, как сойтись с Францией, усердно подготовлять свой западный театр военных действий и развивать свои вооруженные силы.

При Николае II бестолковые колебания расстроили нашу армию, а всю предыдущую подготовку западного театра свели почти к нулю. Поощряемые Германией, мы устроили себе дальне-восточную авантюру, во время которой немцы наложили на нас крупную контрибуцию в виде постыдного для нашего самолюбия и разорительного для нашего кармана торгового договора. Мы позорно проиграли войну с Японией и такими деяниями нужно по справедливости признать, само правительство ускорило революцию 1905/06 г. В годы Японской войны и первой революции наше правительство ясно подчеркнуло и указало народу, что оно само не знает, чего хочет и куда идет. Спохватились мы в своей ошибке довольно поздно, после аннексии Боснии и Герцоговины, но нравственную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее не допустили.

Если бы в войсках какой-нибудь начальник вздумал объяснять своим подчиненным, что наш главный враг—немец, что он собирается напасть на нас и что мы должны всеми силами готовиться отразить его, то этот господин был бы немедленно выгнан со службы, если бы не был предан суду. Еще в меньшей степени мог бы школьный учитель проповедывать своим питомцам любовь к славянам и ненависть к немцам. Он был бы сочтен опасным панславистом, ярым революционером и сослан в Туруханский или Нарымский край. Очевидно, немец, внешний и внутренний, был у нас всесилен, он занимал самые высшие государственные посты, был persona gratissima при дворе. Кроме того, в Петербурге была могущественная русско-немецкая партия, требовавшая во что бы

то ни стало, ценою каких бы то ни было унижений крепкого союза с Германией, которая плевала на нас.

Какая же при таких условиях могла быть подготовка умов народа к этой заведомо-неминуемой войне, которая должна была решить участь России и Европы? Очевидно, никакая или скорее отрицательная, ибо во всей необозримой России, а не только в Петербурге, немцы царили во всех отраслях народной жизни.

Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война стряслась им на голову,—как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы, не знал почти никто, что такое славяне—было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать—было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, т. е. по капризу царя.

Что сказать про такое пренебрежение к русскому народу! Очевидно, немецкое влияние в России продолжало оставаться весьма сильным. Вступая в такую войну, правительство должно было покончить пикировку с Государственной думой и привлечь, поскольку это еще было возможно, общественные народные силы к общей работе на пользу родины, без чего победоносной войны такого масштаба не могло быть. Невозможно было продолжать сидеть на двух стульях и одновременно сохранять и самодержавие и конституцию в лице законодательной Думы.

Если бы царь в решительный момент жизни России собрал обе законодательные палаты для решения вопроса о войне и объявил, что дарует настоящую конституцию с ответственным министерством и призывает всех русских подданных без различия народностей, сословий, религий и т. д. к общей работе для спасения отечества, находящегося в опасности, и для освобождения славян от немецкого ига, то энтузиазм был бы велик и популярность царя сильно возрасла бы. Тут же нужно было добавить и отчетливо объяснить, что вопрос о Сербии—только предлог к войне, что все дело—в непреклонном желании немцев покорить весь мир. Польшу нужно было с высоты престола объявить свободной с обещанием присоединить к ней Познань и Западную Галицию по окончании победоносной войны. Последнее не только не было сделано, но даже на воззвание верховного главнокомандующего к полякам царь, к их великому недоумению и огорчению, ничем не отозвался и не подтвердил обещания великого князя.

Можно ли было при такой нравственной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильный патриотизм в народных массах. Чем был виноват наш солдат, что он не только ничего не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая

страна существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор—из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой родине! Не само ли самодержавное правительство, сознательно державшее народ в темноте, не только могущественно подготовляло успех революции и уничтожение того строя, который хотело поддержать, невзирая на то, что он уже отжил свой век, но подготовляло также исчезновение самой России, ввергнув ее народы в неизмеримые бедствия войны, разорения и внутренних раздоров, которым трудно было предвидеть конец.

Первый акт революции (1905/06 г.) ничему правительство не научил, и оно начало войну вслепую, само подготовляя бессознательно второй акт революции.

Войска были обучены, дисциплинированы и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятие о том, что представляла из себя эта война, отсутствовало полностью.

Невольно является вопрос: что за государственные люди окружали царя и что в это время думали ближние придворные чины всех рангов?

Подводя итог только что высказанному, я должен подтвердить твердое мое убеждение, что император Николай II был враг вообще всякой войны, а войны с Германией в особенности.

По традициям русского императорского дома, начиная с Павла I, и в особенности, при Александре I, Николае I и Александре II, Россия все время работала на пользу Пруссии, зачастую во вред себе, и только Александр III, отчасти под влиянием своей супруги-датчанки, видя печальные последствия такой политики в конце царствования своего отца, отстал от этой пагубной для России традиции. Но сказать, что он успел освободить Россию от немецкого влияния никак нельзя, и по воцарении слабодушного Николая II осталась лишь кажущаяся наружная неприязнь к Германии. Большая же программа развития наших вооруженных сил выплыла не столько для того, чтобы действительно воевать с Германией, сколько для того, чтобы обеспечить этим мир и успокоить общественное мнение, понимавшее, что хотим мы или не хотим, но войны не избежать. Сам же царь едва ли верил, что эта война состоится. Обвинять Николая II в этой войне нельзя, так как не заступиться за Сербию он не мог, ибо в этом случае общественное негодование со стихийной силой сбросило бы его с престола, и революция началась бы, при помощи всей интеллигенции, не в 1917, а в 1914 году. Несомненно, что этим предлогом воспользь-

зовались бы немедленно все революционные силы России, подготовлявшиеся в подпольи ко второму акту революции. Виноват же царь в том, что он сам не знал, чего хотел, не отдавал себе отчета в истинном положении дела и, окруженный лестью, самоуверенно думал, что мир и война в его руках: он был убежден, что он—тонкий дипломат, умело ведущий внешнюю и внутреннюю политику России по собственному произволу, невзирая на столь еще недавний урок Японской войны и революции 1905/06 г.

В заключение этой главы скажу: я всю жизнь свою чувствовал и знал, что немецкое правительство и Гогенцоллерны—непримиримейшие и сильнейшие враги моей родины и моего народа, они всегда хотели нас подчинить себе во что бы то ни стало; это и подтвердилось последней всемирной войной. Что бы ни расписывал в своих воспоминаниях Вильгельм II (берлинское издание 1923 г.), но войну эту начали они, а не мы; все хорошо знают, какая ненависть была у них к нам, а не наоборот.

В этом отношении вполне понятна и моя нелюбовь к ним, сквозящая со страниц «Моих воспоминаний». Но я всегда говорил и заявляю это печатно: немецкий народ и его армия показали такой пример поразительной энергии, стойкости, силы патриотизма, храбрости, выдержки, дисциплины и уменья умирать за свое отечество, что не преклониться перед ними я, как воин, не могу. Они дрались, как львы, против всего мира, и сила духа их поразительна. Немецкий солдат, следовательно—народ, достоин всеобщего уважения.

1914 год.

Львов.

Вверенная мне армия к концу июля была сосредоточнеа на линии Печиска — Проскуров — Антоновцы — Ярмолинцы, имея две кавалерийские дивизии выдвинутыми перед фронтом армии. XXIV корпус только головой своей начал прибывать к месту сосредоточения, так что в действительности у меня к началу военных действий было не 4, а 3 неполных корпуса, так как 1-я бригада 12-й пехотной дивизии была расположена на правом берегу реки Днестра с самостоятельной задачей. К ней должны были подойти три второочередных кавказских казачьих дивизии, но к моменту перехода в наступление начали прибывать только их первые эшелоны.

Сведения о противнике были у нас довольно скудны, и, правду говоря, наша разведка в общем была налажена малоудовлетворительно. Воздушная разведка, вследствие недостатка и плохого качества самолетов, была довольно слабая [10]; тем не менее, то, что мы знали, получилось главным образом через ее посредство;

агентов шпионажа у нас было мало, и те, которых мы наскоро набрали, были плохи. Кавалерийская разведка проникнуть глубоко не могла, так как пограничная река Збруч была сплошь и густо занята неприятельскими пехотными заставами. В общем, нам было известно, что пока против нас больших неприятельских сил не обнаружено; предполагалось, что неприятельские войска сосредоточиваются на Серете, по линии Тарнополь—Трембовля—Чортков, но в каком количестве и как расположены их силы, узнать не удалось.

На Збруче, кроме пехотных застав XI австрийского корпуса, находилась еще кавалерийская дивизия, которая чрезвычайно энергично действовала на нашем фронте. Между прочим, она произвела нападение на 2-ю сводную казачью дивизию, которая находилась впереди левого фланга армии у Городка [11]. Наша казачья дивизия была поддержана четырьмя ротами пехоты, которые были ей временно приданы. Для встречи подходящего к Городку противника наша пехота заняла густою цепью околицу села, а также поблизости находившуюся возвышенность, имея уступом за левым флангом Кавказскую казачью бригаду. Пулеметы же казачьей дивизии были поставлены на этом же фланге так, что могли обстреливать всю местность впереди залегшей пехоты. Конноартиллерийский дивизион стал на позицию за селом, а Донскую казачью бригаду начальник дивизии взял к себе в общий резерв.

Австрийская конница, подходя к Городку, развернула сомкнутый развернутый строй и без разведки, очертя голову, понеслась в атаку на нашу пехоту в столь неподходящем строю. Частью артиллерийский, а затем ружейный огонь встретил эту безумно храбрую, но бессмысленную атаку. Вскоре и пулеметы наши стали обсыпать австрийцев с фланга, а кавказские казаки ударили по ним с фланга и тыла. При этих условиях, очевидно, результат австрийской атаки оказался весьма для них плачевным: трупы перебитых людей и лошадей остались лежать на поле битвы, одиночные люди и лошади бегали по полю по всем направлениям, а остатки этой дивизии бросились беспорядочной толпой наутек. Распоряжался этим боем с нашей стороны состоявший в моем распоряжении генерал-майор Павлов. Начальник же дивизии ограничился тем, что сидел при резерве и не допустил свежую бригаду резерва преследовать разбитого врага. По этой причине остатки австрийской дивизии с ее артиллерией и пулеметами благополучно ушли за Збруч. Пришлось удалить этого неудачного начальника, которого заместил генерал Павлов.

Было получено приказание нашим армиям перейти 5 августа в наступление, не ожидая окончания сосредоточения войск. Такая спешка была вызвана необходимостью помочь англо-французам, которым приходилось плохо, дабы нашими наступительными дей-

ствиями оттянуть хотя бы часть вражьих сил с их Западного фронта на Восточный против нас. В это-то время выяснилось, что на губернский город Каменец-Подольск наступает колонна противника приблизительно силой в одну бригаду пехоты с артиллерией и двумя-тремя эскадронами кавалерии. По этому поводу мною была получена телеграмма главнокомандующего, предлагавшего мне направить на Каменец-Подольск достаточные силы, чтобы прикрыть этот город от вражеского нашествия. На это я ответил, что разбрасывать свои силы перед самым началом боевых действий я не считаю возможным, а что когда я перейду в наступление и войду на австрийскую территорию, то эта колонна, боясь быть отрезанной, сама побежит назад, без всякого понукания; разбрасываться же для второстепенных целей нахожу вредным. Главнокомандующий сдался на мои доводы и отменил свое распоряжение. Австрийцы действительно заняли Каменец-Подольск 4 августа, а 7 рот ополчения, находившихся там, без боя отошли в Новую Ушицу, австрийцы же 6-го числа, узнав о нашем переходе через Збруч, спешно покинули Каменец-Подольск и полностью вернули контрибуцию, которую собрали с жителей города. Это было совершенно естественно, потому что они хорошо понимали, что если они возьмут контрибуцию с жителей Каменец-Подольска, то и я, в свою очередь, заняв Тарнополь, Трембовлю и Чортков, не пощажу эти города и обложу их такой же, если не большей, контрибуцией.

5 августа войска вверенной мне армии быстро перешли через реку Збруч, составлявшую нашу государственную границу. Они были встречены незначительным сопротивлением застав австрийской пехоты и остатками конной дивизии, только-что разбитой у Городка, причем у австрийцев на Збруче никаких резервов не оказалось [12]. Во время перехода через Збруч сгорел до тла Гусятин; почему он сгорел и кто его поджог, так и осталось невыясненным. Несколько большее сопротивление встретили мы при форсировании реки Серета, в особенности у городков Тарнополя и Чорткова. Немногочисленные австрийские войска, оказавшиеся тут, были разбиты на-голову, и было взято несколько орудий, пулеметов и пленных. Вслед за сим более серьезный бой разгорелся на реке Коробце, но и тут противник обратился в бегство; была захвачена почти вся его артиллерия, много огнестрельных припасов, а также много пленных. При допросе они показывали, что были уверены, что мы еще на Серете и что столкновение с нами оказалось для них большим неприятным сюрпризом.

Моя армия имела 3 корпуса в 1-й линии и уступом за левым флангом XXIV корпус, который не поспел сосредоточиться ко дню нашего перехода в наступление и был мною направлен к укрепленному городу Галичу, ускоренной атакой которого я и предполагал заняться. Но тут я получил телеграмму главнокомандую-

щего, в которой значилось, что III армии приходится очень тяжело и что мне предписывается оказать ей усиленную поддержку.

Действительно, III армия, тесня противника, все с большим и большим трудом подвигалась по направлению к Львову, и наступил момент, когда она вынуждена была остановиться, не имея возможности осилить врага.

Вследствие получения такой директивы и имея в виду данные моей разведки, что на Гнилой Липе находятся значительные силы противника, окапывающиеся на ее правом берегу, я решил: оставить у Галича против его гарнизона XXIV корпус в виде заслона для обеспечения моего левого фланга, а тремя корпусами совершить ночной фланговый марш, чтобы примкнуть к левому флангу III армии и развернуться против главных сил противника, находившихся на Гнилой Липе [13]. Фланговый марш приходилось совершать вблизи от противника, и как мой начальник штаба, так и некоторые генералы считали такое движение крайне рискованным; я этого не находил, так как чувствовал, что неприятель выпустил из своих рук инициативу и пока думает лишь о том, чтобы прикрыть Львов, в особенности—после двух поражений, которые он уже понес. Кроме того, река Гнилая Липа вообще трудно проходима благодаря болотам и зарослям по обоим своим берегам; лишь в нескольких местах она имеет мосты с бесконечными гатями, представляющими собой настоящие узкие дефиле. Я был вполне убежден, что австрийцы не рискнут давать бой, имея ее у себя в тылу. Посему, невзирая на всякие разговоры, я оставил без изменения свое решение, которое было выполнено без всяких препятствий со стороны противника.

В общем, план сражения на Гнилой Липе состоял в том, чтобы XII и VIII корпуса атаковали противника, связав его с фронта, но не форсировали реки, пока ясно не обнаружится охват левого фланга австрийцев VII корпусом, который должен был, перейти Гнилую Липу, отбрасывать левый фланг австрийцев к югу, дабы отрезать эту неприятельскую группу от войск, противостоявших нашей III армии, и отдалить ее от г. Львова, дабы они не зашли в его форты. VIII корпус, кроме того, должен был загнуть свой левый фланг, чтобы отбивать атаки гарнизона крепости Галича. XXIV корпусу, шедшему, как раньше было сказано, на один переход уступом за левым флангом армии, было приказано свою головную бригаду выслать форсированным маршем к Галичу для облегчения положения VIII корпуса и всему XXIV корпусу было поручено направляться к Галичу для его осады, а в случае возможности—и захвата его внезапной атакой.

На реке Гнилой Липе моя армия дала первое настоящее сражение. Предыдущие бои, делаясь постепенно все серьезнее, были хорошей школой для необстрелянных войск. Эти удачные бои подняли их дух, дали им убеждение, что австро-венгерцы во

всех отношениях слабее их и внушили им уверенность в своих вождях. В течение двух дней, 17 и 18 августа, во время которых продолжался жестокий и сильный бой на Гнилой Липе, я убедился, во-первых, в том, что командующему армией необходим не малый, а сильный общий резерв, без которого сражение всегда будет висеть на волоске, и что небольшая часть, находящаяся в распоряжении командующего армией для парирования случайностей, как то полагали немцы, да и мы с ними до начала этой кампании, совершенно недостаточна. Во-вторых, убедился я также, что необходимо иметь сильный артиллерийский резерв для того, чтобы концентрировать артиллерийские массы на решающих пунктах, а отнюдь не иметь артиллерию равномерно разбросанной по всему фронту, разбитой поровну между дивизиями. Для этого я считал необходимым, чтобы инспектора артиллерии корпусов играли более деятельную роль начальников, управляющих огнем значительных артиллерийских соединений, а не ограничивались только снабжением своих войск огнестрельными припасами. Посему, по окончании сражения, был мною издан соответствующий приказ о роли инспекторов артиллерии во время боя.

На второй день боя VII корпус перешел через реку Гнилую Липу, правда, с большим трудом и значительными потерями, и стал охватывать левый фланг противника, но еще не было вполне ясно, в какой степени выиграли мы это сражение и насколько сильно неприятель пострадал. Он еще стоял на месте и упорно сопротивлялся. В особенности тяжело было левому флангу нашей армии, так как из крепости Галича австрийцы значительными силами охватывали фланг VIII корпуса, который тут дрался. Высланная, по моему приказу, генералом Цуриковым бригада XXIV корпуса притянула на себя большую часть войск гарнизона Галича и этим путем облегчила положение нашего VIII корпуса. На третий день боя с утра выяснилось, что австрийцы сочли себя разбитыми и что их главные силы в большом расстройстве почью стали отступать, прикрываемые сильными арьергардами. Наши войска, тесня их и быстро наступая, захватывали массу орудий, пулеметов, всякого оружия, значительные обозы и много пленных. Штаб армии во время этого сражения находился в г. Бережанах и был прочно связан со штабами корпусов и телефоном и телеграфом. Таким образом, я имел возможность своевременно получать с обширного фронта все необходимые донесения для управления боем.

Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии ген. Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Заняла́ она разрыв фронта между XII и VII корпусами по собственной инициативе и борясь с подавляющею силою противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии, которая запоздала к назначенному ей времени, не по своей, однако, вине.

Одновременно с выигранным мною сражением на Гнилой Липе, III армия успешно потеснила противника севернее меня и решительно отбросила его к городу Львову. В это время получена была директива главнокомандующего, который приказывал мне осаждать Львов с юга, тогда как III армия должна была осаждать Львов с востока и севера. Считалось, что Львов укреплен, обладает большим гарнизоном и что он представляет собой сильное препятствие для нашего дальнейшего продвижения.

Крупные недостатки моего тыла, его организации, при быстром продвижении вперед меня очень огорчили, но более всего меня озабочивала санитарная часть и ее заправилы. Непродуманные раньше меры обеспечения призора раненых, недочеты которого всецело лежали на ответственности военного министерства и Киевского военного округа, ясно показали свою полную несостоятельность. Вызванный мною перед сражением заведующий санитарной частью армии, доктор медицины, оказался невеждой в роли администратора. На мой вопрос: «Какие меры приняты для приема раненых в дальнейшей их эвакуации»,—он твердо ответил мне, что все распоряжения сделаны и что в Бережанах, куда будут свозиться раненые, у него готово 2 000 мест, а при необходимости он может принять там до 3 000 раненых. В действительности оказалось, что он в сущности мог принять не свыше 400 раненых, и когда было свезено свыше 3 500 только своих русских солдат и офицеров, не считая неприятельских раненых, то они оказались в крайне критическом положении. Пришлось наспех, отстранив заведующего санитарной частью, впречь в его работу всех состоявших при мне лиц для поручений и адъютантов, чтобы наскоро очистить некоторые дома, дабы как-нибудь укрыть раненых под какой-либо кров, реквизировать посуду и стаканы, устроить изготовление пищи и чая и подготовить несколько санитарных поездов, чтобы возможно быстрее эвакуировать раненых в тыл. Врачебная же помощь и своевременная перевязка оказались невозможными по недостатку врачей. В следующих боях, благодаря принятым тотчас же мерам, подобное безобразие более не повторялось, да и во главе санитарной части был мною поставлен толковый администратор ген. Панчулидзев.

Повидимому, положение о санитарной части оказалось негодным не только в VIII армии, ибо в ставке пришлось его вновь переработать. Нужно признать, что не только санитарная часть в самом начале кампании была весьма плоха, но и все новое положение о полевом управлении войсками совершенно никуда не годилось. Оно было объявлено и вошло в силу уже после начала войны, и на практике приходилось знакомиться с этим новым положением и с горечью убеждаться в безобразном и непрактичном его составлении. До нас доходили слухи, что Военный совет это положение не одобрил и что оно было проведено

в жизнь потому, что война была нам объявлена неожиданно. Дальше мне еще придется говорить об этом злосчастном положении; тут же скажу, что пришлось мне самому вмешаться в санитарное дело, чтобы его хоть сколько-нибудь упорядочить.

Считаю долгом совести помянуть добром многих представителей земства и отдельных лиц из ближайших к бывшей границе местностей. Помимо всякой администрации, они по собственной инициативе оказали громадные услуги раненым и больным воинам. Было создано много летучих отрядов, перевязочных пунктов и лазаретов. И все это—с энергией и распорядительностью, поистине достойными истории.

20 августа воздушная разведка донесла мне, что видна масса войск, стягивающихся к львовскому железнодорожному вокзалу, и что поезда один за другим, повидимому, нагруженные войсками, уходят на запад; о том же донесли кавалерийские разъезды, сообщившие, что неприятельские колонны быстро отходят, минуя Львов. В этот день я поехал для свидания с ген. Рузским, с которым хотел сговориться о наших дальнейших совокупных действиях, тем более что на время осады Львова [14] я ему, как старшему, должен был быть подчинен. Во время нашего совещания и он получил донесение командира IX корпуса ген. Щербачева, что команды разведчиков этого корпуса невозбранно подвигаются вперед и беспрепятственно занимают львовские форты, которые никем не защищаются. При этом ген. Щербачев, предполагая, что Львов очищается противником, просил разрешения двигаться вперед. Ген. Рузский очень был озадачен полученными сведениями и впал в большое сомнение относительно разрешения Щербачеву в его просьбе. Но в конце концов он на предложение Щербачева согласился и отдал приказание осторожно продвигаться ко Львову, сильно однако сомневаясь, чтобы такой важный и крепкий пункт мог быть очищен без серьезного боя.

В это же время в штабе моей армии было получено донесение от начальника 12-й кавалерийской дивизии, что один из его разъездов вошел во Львов, который был очищен от противника, и жители встретили офицера с 12 драгунами очень приветливо. Таким образом первым вошел во Львов кавалерийский разъезд, который беспрепятственно проехал по городу. Нужно признать тот факт, что противник главным образом ожидал нашего наступления на Львов от Брод на Красне; проигранное же им сражение на Гнилой Липе давало мне возможность выйти в тыл войскам, противостоявшим III армии, и этим участь Львова была решена. Совершенно ясно, что Львов так быстро пал благодаря совокупным действиям III и VIII армий, и без моего флангового марша, без разбития противника на Гнилой Липе и продвижения моих войск к югу от Львова этот город без боя очищен бы не был. В официальных же телеграммах высшего начальства объявля-

лось, что город Львов был взят генералом Рузским. Я против этого не протестовал, ибо славы не искал, а желал лишь успеха делу.

Взятие Львова описывалось затем в печати в совершенно неправдоподобных тонах: сообщалось, что «доблестные войска генерала Рузского продвигались по улицам города по колено в крови». А на самом деле ни во Львове, ни вблизи него уж дня три никаких сражений не было. Армия Рузского была еще далеко от города, когда VIII армия, продвинувшись южнее далеко вперед, заставила австрийцев очистить Львов.

Когда я ехал в автомобиле на совещание с генералом Рузским в III армию, сопровождавшие меня полковники гр. Гейден и Яхонтов, вследствие порчи шин, отстали от меня. Пока чинилась их машина, они обратили внимание на множество русин, идущих со стороны Львова.—Вы откуда?—поинтересовались они.—Из Львова.—А что, там много войска?—Нема никого, вси утекли.

Оба мои полковника, заинтересовавшись, решили проверить это показание. Все равно догнать меня они уже не могли. Их автомобиль беспрепятственно докатил до предместий самого Львова, у которых они столкнулись с отдельными мелкими частями III армии, собиравшимися туда входить и ожидавшими только городских властей. Въехав вместе с ними в город, они позавтракали с большим аппетитом в гостинице Жоржа и купили конфет в кондитерской. Вот насколько правильно осведомлялась русская публика о подробностях событий, происходивших на театре войны!

Не могу без горечи душевной вспомнить первую же восторженную телеграмму главнокомандующего о взятии Львова и Галича. Конечно, вел. князь Николай Николаевич был тут не при чем и просто не заметил предвзятости составленного текста телеграммы: «Доблестные войска генерала Рузского взяли Львов, а армия Брусилова взяла Галич».

Все солдаты и офицеры VIII армии были поражены: почему же армия генерала Рузского—«доблестная» по первым же шагам, а VIII армия—только просто армия, тогда как доблесть-то беспримерная была именно в войсках VIII армии, сражавшейся вдоль всей реки Гнилой Липы и до самого местечка Бобрка, не щадя своих сил и жизней бойцов. Вследствие этих боев, повторяю, австрийцы и принуждены были оставить Львов, а III армия пришла на готовое. С первых же шагов нам бросилась в глаза несправедливость и пристрастие штаба Юго-западного фронта. И чем дальше развертывались события, тем очевиднее это было. Сгущать краски к лучшему в делах любимчиков своих ради получения высших наград и умалять успехи других—не считалось неприличным. Я молчал, считая это мелочью и думая только о конечном результате для России. Да я и не мог, по условиям

дисциплины, ставить таких точек над і. Но в войсках моих разговоров и недовольства было много. Штаб Юго-западного фронта играл с огнем, допуская такую злую неправду. Умиравшие и искалеченные солдаты хорошо это понимали.

Гродек.

Тотчас по занятии Львова нашими войсками была получена директива главнокомандующего, который приказывал ген. Рузскому с его армией, усиленной XII корпусом из моей армии, двигаться на Раву-Русскую, мне же, заняв Львов, с главными моими силами расположиться восточнее Львова и оберегать левый фланг всего фронта, маневрируя моими войсками сообразно обстановке. Движение ген. Рузского к Раве-Русской вызывалось тем обстоятельством, что главные силы австрийской армии были на линии Люблин—Холм, и ген. Рузский своим движением должен был охватить фланг вражеских полчищ, с которыми северные армии фронта справиться не могли и были ими сильно теснимы.

С назначенной для моей армии ролью я согласен не был и находил такое решение вопроса об охране фланга фронта не соответствующим цели, ибо считал возможным одно из двух: или австрийцы не обратят внимания на нащ левый фланг и тогда моя армия в это тяжелое для нас время не примет никакого участия в общем деле, или же австрийцы соберут значительные силы на свой правый фланг, захватят город Львов, и я не буду в состоянии выполнить данной мне задачи. Я считал более целесообразным в это же время перейти самому в дальнейшее наступление и атаковать вражеские войска, расположившиеся на Гродекской позиции, чрезвычайно сильной и имевшей большое значение для дальнейшего наступления. При этом я предполагал, что если на Гродекской позиции будут стоять лишь только что разбитые нами войска, то по всем вероятиям, ввиду их деморализации после проигранного сражения, я их осилю; если же противник значительно усилится, то я перейду к временной обороне, укрепившись впереди Львова, и тогда левый фланг нашего фронта будет во всяком случае более обеспечен. Сохранение Львова в наших руках имело, по моему мнению, громадное нравственное значение, помимо главной цели—лучшего обеспечения операции ген. Рузского.

Эти соображения я по телеграфу сообщил ген. Алексееву, настоятельно испрашивая разрешения на их выполнение, однако при одном непременном условии—возвращение мне XII армейского корпуса. Главнокомандующий согласился с моими доводами, и его директива была соответствующим образом изменена, а я тотчас же двинул вверенную мне армию вперед, отдав вместе

с тем приказание командиру VIII корпуса взять возможно быстрей сильно укрепленный Миколаев, имевший, по моим сведениям, в это время незначительный гарнизон. Для этой же цели мною был ему направлен единственный дивизион тяжелой артиллерии, имевшейся в VIII армии.

22 августа мною было получено донесение командира XXIV корпуса, что сильно укрепленный Галич, почти без всякого сопротивления, был им взят с захватом всей тяжелой артиллерии и разных запасов, которые были там сосредоточены. Это мне была громадная радость, ибо обеспечивало мой тыл и освобождало XXIV корпус; одновременно с этим 2-я сводная казачья дивизия заняла Станиславов и направилась на Калуш—Болехов и Стрый. Сильно укрепленный Миколаев, вслед за сим, после хорошей артиллерийской подготовки, был также взят почти без потерь, а слабый гарнизон, в нем находившийся, частью попал в плен, а частью отступил [15]. Таким образом, и левый фланг моей армии, расположившийся против Гродекской позиции, был также прочно обеспечен. Я же со штабом армии из Бобрки переехал в г. Львов во дворец наместника.

Воздушная разведка в это время указывала, что войска противника заняли Гродекскую позицию и продолжают на ней спешно совершенствовать свои укрепления; вместе с тем, от нее же получались сведения, что по железной дороге подвозятся подкрепления и заметны пехотные колонны, двигающиеся от Перемышля к Гродеку.

Градоначальником г. Львова был мною назначен полковник Шереметов, занимавший перед войной должность волынского вице-губернатора, которому была дана инструкция требовать лишь одного—соблюдения полного спокойствия и выполнения всех требований военного начальства, и предписывалось сохранить возможно бо̀льшую нормальность жизни города.

Явившейся ко мне депутации от городского управления и всех сословий я объявил: «Для меня в данное время все национальности, религии и политические убеждения каждого обывателя безразличны; это—все дела, касающиеся мирного обихода жизни. Теперь война, и я требую от всех жителей одного условия: сидеть спокойно на месте, выполнять все требования военного начальства и жить возможно более мирно и спокойно. Наши войска мирных жителей трогать не будут; за все, что будет браться от жителей, в случае необходимости, будет немедленно уплачиваться русскими деньгами по курсу, определенному верховным главнокомандующим. Предваряю, однако, что те, которые будут уличены в сношениях с австрийцами или будут высказывать враждебность к нашим войскам, будут немедленно предаваться военно-полевому суду. Никакой контрибуции на город

накладывать не буду, если его жители будут спокойны и послушны».

Депутация заявила свою благодарность за сказанные мною слова и от имени населения твердо обещала, что не нарушит порядка и лойяльности по отношению к нам. Нужно сказать, что население выполнило свои обещания честно и добросовестно. В дальнейшем, когда назначенный генерал-губернатор Галиции вступил в исполнение своих обязанностей, предприняты были с нашей стороны разные политическо-религиозные меры, которые повели к большим недоразумениям и к тяжелым последствиям после очищения нами Галиции в 1915 году; но генерал-губернатор Галиции не был мне подчинен, и я совершенно не касался этого дела.

Униатский митрополит граф Шептицкий, явный враг России, с давних пор неизменно агитировавший против нас, по вступлении русских войск во Львов был, по моему приказанию, предварительно арестован домашним арестом. Я его потребовал к себе с предложением дать честное слово, что он никаких враждебных действий, как явных, так и тайных, против нас предпринимать не будет, в таком случае я брал на себя разрешить ему оставаться во Львове с исполнением его духовных обязанностей. Он охотно дал мне это слово, но, к сожалению, вслед за сим начал опять мутить и произносить церковные проповеди, явно нам враждебные. Ввиду этого я его выслал в Киев в распоряжение главнокомандующего. Состоявшему при мне члену Государственной думы, бывшему лейб-гусарскому офицеру графу Владимиру Бобринскому, поступившему при объявлении войны вновь на военную службу, мною было приказано осматривать все места заключения, которые попадали в наши руки, и немедленно выпускать политических арестантов, взятых под стражу австрийским правительством за руссофильство. Гр. Бобринский чрезвычайно охотно взялся за эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с руссофильской партией русин. Не помню цифр, но таких арестантов оказалось очень много, и они были немедленно освобождены; уголовные же преступники продолжали, конечно, содержаться под стражей, и были переданы в распоряжение галицийского генерал-губернатора.

Итак, войска вверенной мне армии были двинуты к западу от Львова с целью занять исходное положение для атаки знаменитой своей силой Городекской позиции, причем было приказано XXIV корпусу оставить небольшой гарнизон в Галиче, а с остальными силами форсированным маршем итти на присоединение к армии, заняв ее левый фланг. Его головные части попутно принимали участие во взятии Миколаева, и к 27 августа весь корпус успел занять свое исходное положение для участия в Городекском сражении.

К 28 августа обстановка, в которой находилась моя армия, рисовалась мне следующим образом. Из различных источников разведки мне было известно, что противник, отступивший от Львова, т. е. остатки войск, дравшихся против наших III и VIII армий, остановились на Гродекской позиции на правом берегу реки Верещицы и что к этим войскам подошли значительные подкрепления, но в каком размере—мне было неизвестно. Я считал, однако, что подкрепления должны были быть серьезными и что противник, конечно, знавший, что III армия пошла на Раву-Русскую, а у Львова осталась лишь VIII армия, вероятно сам перейдет в наступление. Эта мысль тем более была вероятна, что мосты на реке Верещице, разрушенные вначале австрийцами при отступлении, деятельно исправлялись, устраивались новые переправы, и несколько сильных авангардов перешло на левый берег Верещицы.

Являлся вопрос: при подобной обстановке переходить ли мне в наступление или же принять оборонительный бой. По моему неизменному правилу, которого я держался до конца кампании, поскольку это было хотя мало-мальски возможно, я решил перейти в решительное наступление. С рассвета 28 августа, зная, что противник, по всей вероятности, обладает значительно бо̀льшими силам, чем я, и сам может перейти в наступление, — я решил двинуть свои войска, ибо считал для себя более выгодным втянуться во встречный бой. В крайности, я всегда мог перейти потом к оборонительному бою, что гораздо выгоднее, чем с места сразу выпустить инициативу из своих рук. Такой образ действий, как в этом случае, так и в дальнейшем ходе кампании, мне значительно помогал, ибо при встречном бое против сильнейшего противника я смешивал его карты, спутывал его план действий и вносил значительную путаницу в его предположения. Это давало также возможность точно выяснить группировку его сил, а следовательно—и его намерения.

В действительности, австрийцы 28-го того же августа также перешли в наступление, и получился тот встречный бой, который я и предвидел. На всем фронте VIII армии силы противника, по сравнению с нашими, оказались подавляющими, а кроме того, он значительно превосходил нас количеством тяжелой артиллерии [16]. На всем фронте с рассвета завязался жестокий бой. Еще в предыдущие дни австрийцы сильно наседали на мой правый фланг—на XII корпус, позиция которого находилась в лесном пространстве; казалось, что противник предполагает наносить свой главный удар именно на этот фланг. Я, однако же, думал, что это—не что иное, как демонстрация, дабы заблаговременно притянуть туда наше внимание, а следовательно и резервы к нашему правому флангу. Действительно, в первый день сражения в центре против VII и VIII корпусов, а в осо-

бенности на левом фланге против XXIV корпуса, были направлены главные усилия противника. К вечеру выяснилось, что потери наши велики, вперед продвинуться сколько-нибудь значительно мы не могли, и все корпусные командиры доносили, что окапываются, причем некоторые из них прибавляли, что сомневаются в возможности удержаться на месте против подавляющих сил противника, его сильнейшего артиллерийского огня и многочисленных пулеметов. Мой резерв был израсходован только частью. По взятым пленным можно было считать, что против VIII армии находится не менее семи корпусов, т. е. почти вдвое большие силы, чем те, которыми я располагал. В частности, XXIV корпус, упиравшийся своим левым флангом в Миколаев, форты которого были взяты одним полком 4-й стрелковой бригады, значительно вылез вперед и охватывался австрийцами.

Имея в виду, что войска остановились к вечеру при встречном бое на случайных позициях и понесли уже значительные потери (в резерве у меня оставалось всего одна бригада пехоты), я сначала, отдавая директиву на следующий день, склонен был приказать отойти от занимаемых позиций, но с таким расчетом, чтобы центр армии занял львовские форты, а левый фланг упирался в форты Миколаева. Такую директиву я начал составлять, но затем меня начало мучить, что по французской поговорке — «ce n'esl que le premier pas qui coûte» [1], раз войска подадутся назад, то, пожалуй, у Львова им не удержаться; поэтому я окончательно решил: правому флангу и центру оставаться на своих местах, а левому флангу, в особенности 48-й пехотной дивизии, отойти с таким расчетом, чтобы занять высоты севернее Миколаева, и на этом фланге вести пока устойчивый оборонительный бой; центром же и правым флангом действовать активно. В этом решении не отходить мне помог выказанной им радостью состоявший при мне для поручений генерального штаба генерал-майор Байов, которому я тут же выразил мою благодарность за нравственную поддержку. Вместе с тем мною было приказано спешно вести через Галич ко Львову бригаду 12-й пехотной дивизии, которая к тому времени подошла к Станиславову. Затем я телеграфировал командующему III армией требование немедленно мне вернуть бригаду XII корпуса, которую он, вероятно по недоразумению, потащил с собой к Раве-Русской. От Тарнополя мною было приказано экстренно вести два батальона пополнения, по 1 000 человек каждый, также ко Львову. Второй сводной казачьей дивизии, находившейся у г. Стрыя, также было отдано приказание форсированным маршем прибыть к левому флангу армии, у Миколаева переправиться на левый берег Днестра и получить дальнейшие указания для действий от командира XXIV корпуса.

---

[1] «Только первый шаг труден».

Таким образом я притянул к полю сражения все, что только было возможно, дабы во что бы то ни стало отстоять Львов и не терял надежды, что, дав израсходоваться пылу австрийцев, я затем опять перейду в наступление. Было весьма затруднительно в данном случае экстренно перевозить войска по железным дорогам, ибо у нас в качестве подвижного состава по железной дороге европейской колеи могли служить только паровозы и вагоны, которые были нами захвачены у противника. Но часто бывает на войне, что при полном напряжении сил и крепком желании невозможное оказывается возможным, и потребованные мною подкрепления, как будет дальше видно, к решающему моменту были подвезены и подошли своевременно, за исключением, к сожалению, моей бригады, упомянутой ранее, которую ген. Рузский отказался вернуть, сообщая, что она уже втянута в бой. Тогда я просил направить мне какую-либо другую бригаду, так как если бы я не устоял, то и ему у Равы-Русской пришлось бы плохо. Просил я также и главнокомандующего в этом экстренном случае, который мог при неуспехе сильно скомпрометировать наши прежние удачи, воздействовать с своей стороны на III армию. Тем более, что, по имевшимся у нас сведениям, силы противника, противостоявшие III армии, были небольшие; но все мои заявления по этому поводу остались гласом вопиющего в пустыне.

В эту же ночь я получил телеграмму главнокомандующего, в которой впервые сообщалось, что тратить боевые припасы, в особенности артиллерийские снаряды, следует очень осторожно, ибо в запасе их мало. На это я ответил, что при данной обстановке я совершенно отказываюсь объявить приказ об осторожном расходовании огнестрельных припасов и этим обескураживать войска, имеющие против себя многочисленного противника с более могущественной артиллерией, совершенно не жалеющего снарядов, и что в данный момент не время и не место мне об этом думать.

В 3 часа ночи 29 августа явился ко мне начальник штаба XXIV армейского корпуса генерал-майор Трегубов с просьбой разрешить 48-й пехотной дивизии остаться на занятых ею с вечера местах и не отходить на высоты севернее Миколаева. Нужно заметить, что телеграфная и телефонная связь штаба XXIV армейского корпуса со штабом армии была нарушена и диспозиция была доставлена в штаб этого корпуса одним из моих адъютантов на автомобиле; телеграфная же связь была восстановлена лишь к полудню следующего дня. Я спросил начальника штаба корпуса, каким образом командир корпуса, получивший диспозицию к 9 часам вечера, решился не выполнить ее немедленно. Не мог же он не понимать, что отход на назначенную позицию мог быть выполнен лишь ночью, так как с рассвета бой, несомненно,

начнется усиленным темпом и тогда разговора о выполнении диспозиции уже быть не может. Ведь подобным самовольным действием нарушаются мои соображения, и это может повести к глубокому охвату левого фланга армии. На это мне начальник штаба корпуса ответил, что он диспозицию генералу Цурикову не докладывал, а приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова. Я ему сказал: «За совершенное вами преступление на поле сражения отрешаю вас и предаю вас суду». И тут же приказал начальнику штаба армии немедленно передать мое приказание генералу Байову ехать в штаб XXIV корпуса и принять там штаб корпуса, доложив генералу Цурикову, которого он мог увидеть не ранее 6—7 часов утра, что ни моего разрешения, ни моего запрета уже больше не требуется, ибо к его приезду бой будет в самом разгаре; я приказал передать ему также, что я крайне возмущен, что его начальник штаба им так мало дисциплинирован.

На второй день боя мой правый фланг держался на месте, и напор противника стал слабее, чем в предыдущий день; в центре VII и VIII корпуса, хотя и с трудом и большими потерями, также удержались на своих местах; но левый фланг, к сожалению, как я это предвидел, потерпел крушение. 48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Щерик в полном беспорядке и потеряла 26 орудий. Неприятель на этом фланге продолжал наступление, и если бы ему удалось продвинуться восточнее Миколаева с достаточными силами, очевидно, что армия была бы поставлена в критическое положение. Я направил на поддержку XXIV корпуса 12-ю кавалерийскую дивизию, бывшую в моем резерве; к тому же времени прибыла и 2-я сводная казачья. Чтобы остановить напор противника, ген. Каледин спéшил три полка, имея в резерве Ахтырский гусарский полк и один эскадрон белгородских улан; 2-я же сводная казачья дивизия заполнила разрыв, который оказался между VIII и XXIV корпусами. Так как спешенные части 12-й кавалерийской дивизии, очевидно, не могли остановить наступавшего многочисленного врага, то в этой крайности ген. Каледин пустил в конную атаку семь вышеперечисленных эскадронов, которые самоотверженно и бешено кинулись на врага. Эта атака спасла положение, наступавшие австрийцы в полном беспорядке ринулись назад и затем ограничились стрельбой на месте, но уже в наступление более не переходили. Я поставил ген. Каледину в вину то, что он вначале спéшил семнадцать эскадронов, хотя он не мог не сознавать, что максимум 2 тысячи стрелков не могут остановить не менее двух-трех дивизий пехоты. Вместо этой неудачной полумеры, не лучше ли было бы, выбрав момент, атаковать австрийцев всеми 24 эскадронами в конном строю при помощи конно-артиллерийского дивизиона и дивизионной пулеметной команды?

Около полудня того же 29 августа мною было получено донесение генерала Радко-Дмитриева, что его воздушная разведка выяснила, что несколько больших колонн стягиваются к Гродеку и что, очевидно, центр тяжести боя переносится к нашему центру. Было ясно из этих сведений, что 30 августа австрийцы предполагают пробить мой центр, разрезать армию пополам и по ближней дороге от Гродека ко Львову захватить этот важный административный и политический пункт. Это чрезвычайно важное и своевременное донесение, которое только и могло быть выяснено воздушной разведкой, дало мне возможность стянуть все мои резервы к VII и VIII корпусам. Таким образом, к рассвету 30 августа в центре моего боевого порядка было мною сосредоточено около 85 батальонов пехоты с их артиллерией из 152 батальонов пехоты, участвовавших в этом сражении, т. е. больше половины моей армии. Сюда же был передан дивизион тяжелой артиллерии, находившийся в моем распоряжении.

Мною было приказано VII и VIII корпусам, усиленными вышеуказанными резервами, перейти в наступление. Не потому, что они тут же разгромят неприятельские полчища, сосредоточенные против них, но в надежде, что такое наступление именно в том месте, где австрийцы рассчитывали неожиданно нанести нам всесокрушающий удар, собьет их с толку, они растеряются в большей или меньшей степени и перейдут от наступления, которое грозило бы нам тяжелым последствиями, к обороне. Иначе говоря, я желал во что бы то ни стало вырвать из их рук инициативу действий, что мне и удалось. Правда, VII и VIII корпуса продвинулись недалеко и громадные силы противника скоро остановили наш порыв, но сами-то они, израсходовав свои резервы, принуждены были перейти к обороне.

В этот момент, решавший участь сражения, явился ко мне вновь назначенный генерал-губернатор Галиции генерал-лейтенант граф Бобринский, о назначении которого на это место я сведений еще не имел. Он прибыл с несколькими состоявшими при нем лицами с вопросом, может ли он теперь переехать во Львов, чтобы вступить в исполнение своих обязанностей, так как ныне он расположился в г. Бродах, т. е. на самом краю своего генерал-губернаторства. Я ему ответил, что в данное время это рано: в разгар сражения, от исхода которого будет зависеть останется ли Львов в наших руках, или же придется его уступить врагу (я добавил еще, что надеюсь устоять), пока дело не кончено, уверенно сказать ему, когда он может переехать во Львов, я не могу. И это тем более, что участь общего сражения на Галицийском фронте зависит не от меня одного, а также от армий, которые в данный момент дерутся севернее моей. Во всяком случае, считаю его переезд во Львов в данный момент совершенно несвоевременным. Должен признаться, что я чрезвы-

чайно удивился, что на этот пост был избран генерал граф Бобринский. Я его давно знал за человека очень корректного, безусловно честного, но за такого, который во всю свою жизнь, в сущности, никаким делом не занимался и решительно никакого административного опыта не имел и иметь не мог. В молодости он служил в лейб-гусарском полку, а затем почти все время был без дела, исполняя по временам разные поручения. С Галицией он безусловно знаком не был, и нужно полагать, что большинство ошибок, которые были им впоследствии совершены во Львове, происходили от неопытности и отсутствия знания края.

30 августа были мною получены сведения, что австро-венгерцы у Равы-Русской были сломлены и начали отступать[17]. Они не были совершенно разбиты и не были отрезаны от своего пути отступления, но, во всяком случае, они быстро стали отходить. Это воскресило во мне надежду, что и враг, противостоящий мне, сочтет бесполезным дальнейшую борьбу со мной на Гродекской позиции. Дело в том, что из опроса пленных, которых мы забирали целыми толпами, вполне выяснилось, что против моих неполных 4 корпусов австрийцы направили 7 армейских корпусов, 21 дивизию пехоты, часть которых была снята с северной части их фронта с приказанием во что бы то ни стало взять Львов обратно. Таким образом, противник, сняв часть своих войск с севера, облегчил положение наших III и IV армий, и моя задача главным образом заключалась в том, чтобы выдержать напор вдвое сильнейшего противника.

Поздно вечером 30 августа австрийцы по всей линии вновь перешли в короткое наступление, но далеко не решительное и более шумное, чем сильное. Памятуя предыдущие бои, я понял, что, как и прежде, неприятель ночью отойдет, и чтобы отход его не был нами замечен, он делает вид, что желает нас атаковать. Поэтому мною было послано приказание зорко следить за действиями противника и двигаться вслед за ним. Наши предвидения оказались верными, и неприятель в ночь с 30 на 31 августа отошел к западу, перешел через многочисленные мосты реку Верешицу с левого на правый берег и разрушил все переправы на ней. Я не мог поставить в вину войскам, что они не поспели помешать разрушению переправ. Воистину последний трехдневный бой против сильнейшего противника непосредственно после нашего быстрого продвижения вперед и нескольких сражений, нами перед этим выигранных, сильно истомил войска, и нанесенные нам потери были громадны, хотя, понятно, значительно меньше, чем у австрийцев.

К счастью, в таком большом благоустроенном городе, как Львов, при заранее принятых мерах, невзирая на всякие затруднения, явилась возможность удобно разместить несколько тысяч раненых, надлежащим образом призреть их и своевременно

перевязать. Эвакуация раненых, которые подлежали перевозке. была тут также налажена удовлетворительно. Я объехал большинство госпиталей, чтобы осмотреть раненых и роздал нуждающимся деньги, а тяжело раненых награждал георгиевскими медалями. Мною было приказано быстро восстановить переправы через Верешицу и, не дожидаясь их устройства, немедленно переправить на правый берег команды разведчиков и всю кавалерию для преследования отступавшего противника. Этим частям удалось захватить много обозов, часть артиллерии и многочисленных пленных. В особенности в данном случае отличалась 10-я кавалерийская дивизия, которая во время этих боев перешла из III армии в состав VIII армии.

Во время этого жестокого трехдневного сражения жители города Львова, в особенности поляки и евреи, черезвычайно волновались мыслью о том, в чьи руки они попадут, т. е. останутся ли у нас или вновь придут австрийцы. Воззвание верховного главнокомандующего к полякам тут еще не было известно; и они, а тем более евреи, которые у нас находились в угнетенном положении, а в Австрии пользовались всеми правами граждан, нетерпеливо ждали, что нас разобьют, тем более, что австрийское начальство объявило им, что они обязательно на днях вернутся назад. Русины естественно были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазепинцев, выставивших против нас несколько легионов.

Перемышль.

Поскольку мне помнится, 1 сентября получено было приказание немедленно командировать генерала Радко-Дмитриева для принятия должности командующего III армией, генерал же Рузский назначался главнокомандующим армиями Северо-западного фронта вместо ген. Жилинского, который был смещен после крупной неудачи II армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии и крайне беспорядочного отступления с большими потерями I армии генерала Ренненкампфа.

Являлся вопрос о назначении командира VIII корпуса взамен Радко-Дмитриева. Старейшим начальником дивизии вверенной мне армии был генерал-лейтенант Орлов; у него была странная репутация как за время китайской кампании, так, в особенности, за время Японской войны. В китайскую кампанию он якобы старался вырваться из рук своего начальства, чтобы, как говорили, возможно больше заработать дешевых лавров, а в японскую кампанию, повидимому, ему пришлось расплачиваться за неудачные действия Куропаткина, и считалось, что он был козлом отпущения за проигрыш ляоянского сражения. Непосредственно перед этой войной он был начальником 12-й пехотной дивизии в XII корпусе, которым я командовал. Я видел его на больших

маневрах, на которых он действовал отлично; его дивизия вообще была в блестящем порядке, и обучал он ее прекрасно. В нескольких первых сражениях, которые VIII армия выиграла, действия Орлова были безукоризненны. На основании всего сказанного я просил о назначении ген. Орлова командиром VIII корпуса, не взирая на то, что в мирное время Орлова упорно не удостаивали зачисления кандидатом на должность корпусного командира. Мсе представление было уважено, и Орлов был назначен на просимую должность.

На основании директивы главнокомандующего, все армии фронта двинулись далее на запад, причем вверенной мне армии приказано было двигаться южнее линии Львов—Гродек—Перемышль, и попрежнему моя задача заключалась, главным образом, в том, чтобы, находясь на крайнем левом фланге всего нашего фронта, прикрывать его наступление от противника, могущего явиться как с запада, так и с юга. Задача осложнялась по мере нашего дальнейшего продвижения, так как наши коммуникационные линии удлинялись, и становилось все более и более трудным прочно обеспечивать наш левый фланг и тыл от покушений противника. Мне казалось, что с нашим продвижением вперед мою армию, для последней цели, необходимо было постепенно усиливать,—тем более что во время гродекского сражения мне пришлось единственную пехотную бригаду, обеспечивавшую наш тыл с левого фланга, притянуть к себе. По окончании этого сражения, после понесенных значительных потерь, армия, не получая пополнений, настолько была ослаблена, что я не нашел возможным отправить эту бригаду обратно на правый берег Днепра, а присоединил ее к ее дивизии. Я настоятельно просил главнокомандующего усилить армию на один корпус, ибо на правом берегу Днестра, на протяжении приблизительно около 200 верст, этот фланг оберегался всего тремя кавказскими казачьими дивизиями, что, понятно, было недостаточно. Результатом моих препирательств по этому поводу явилось назначение второочередной 71-й пехотной дивизии на замену снятой мной бригады. Пока этого было достаточно, ибо принципиально без крайней необходимости я считал недозволительным просить лишних подкреплений и сгущать краски, так как в это время на этом фланге находились лишь незначительные неприятельские силы, по преимуществу части ландштурма, которые не могли представить собой какой-либо серьезной угрозы для нашего тыла. Так как в тылу на правом берегу Днестра находилась теперь одна дивизия пехоты и три дивизии казаков, имевших однородную задачу, то, по моему ходатайству, эти части были объединены в одних руках в лице командира корпуса, которому был присвоен XXX номер.

Покончив с тыловыми вопросами и удостоверившись, что и сам армейский тыл приходит в большую степень порядка, я пере-

нес свой штаб из Львова в Любень-Вильке. Вся же моя армия находилась уже на правом берегу Верещицы, и я двинул ее вперед на линию Перемышль—Низанковицы—Добромиль—Хиров, выслав согласно директивы главнокомандующего 10-ю и 12-ю кавалерийские дивизии вперед на линию Дынов—Санок по реке Сану и далее, дабы не терять соприкосновения с противником, а 2-ю сводную казачью дивизию через Самбор—Старое Место в Карпаты к г. Турке, чтобы по возможности захватить и держаться на перевале большого шоссе, идущего от Венгерской долины. Противник, оставив значительный гарнизон в крепости Перемышль, отошел в западном направлении на левый берег Сана, где и остановился, чтобы привести себя в порядок после понесенных сильных неудач.

Мне казалось, что давать оправиться противнику не следовало и было необходимо, идя за ним по пятам, довершить его разгром, оставив лишь у Перемышля сильный обсервационный корпус. Против этого, конечно, можно было возразить, что наши коммуникационные линии удлинились бы чрезмерно, а они и без того были не в порядке, а в Львовском железнодорожном узле сразу же водворился полный хаос, и он был забит в такой степени, что мы стали получать довольствие всякого рода с большим опозданием. Я был бессилен помочь этому горю, так как это была область главного начальника снабжения армий фронта, подчиненного главнокомандующему фронтом, и на мои протесты и жалобы обращалось мало внимания. Думаю, однако, что при желании и умении была возможность привести тыл в быстрый порядок и в то же время довершить поражение уже разбитых войск противника, не допустив его вновь окрепнуть, благодаря пополнениям, подкреплениям и отдыху.

Обложение Перемышля было поручено вновь назначенному командующему III армией Радко-Дмитриеву. Когда он был командиром VIII армейского корпуса во вверенной мне армии, а также по предыдущим действиям в Болгаро-турецкую войну, я составил себе о нем представление, как о человеке чрезвычайно решительном, сообразительном и очень талантливом; ни малейшим образом я не сомневался, что он и в данном случае развернет присущие ему боевые качества и попробует взять Перемышль сразу, что развязало бы нам руки, закрепило бы за нами Восточную Галицию и дало бы возможность невозбранно двигаться дальше, не оставляя за собой неприятельской крепости и осадной армии. Действительно, после ряда поражений и громадных потерь австрийская армия была настолько потрясена, а Перемышль был настолько мало подготовлен к осаде, гарнизон же крепости, состоявший из части разбитых войск, был настолько расстроен, что, по моему глубокому убеждению, была возможность в половине сентября взять эту крепость штурмом при не-

большой артиллерийской подготовке. Но время проходило, а никаких поползновений на захват Перемышля не предпринималось [18]. Это дело меня не касалось, и потому я считал себя не вправе вмешиваться в предначертания моего соседа и тем или иным способом влиять на его решение.

До конца сентября мы стояли бездеятельно на назначенной нам линии и вполне отдохнули. Одно меня озабочивало, это — далеко не достаточный прилив пополнений; да и те, которые прибывали, были не в должной мере подготовлены к боевой деятельности. Относил я это к тому, что запасные батальоны были только что сформированы и не втянулись еще в свою работу в полной мере. Но я в этом, к сожалению, сильно ошибался: за всю войну мы ни разу не получали хорошо обученных пополнений, и чем дело шло дальше, тем эти пополнения прибывали все хуже и хуже обученные не только своему военному делу, но и в нравственном и политическом отношениях. Попрежнему никто не мог мне дать ответа при моих опросах, какой смысл этой войны, из-за чего она возникла и каковы наши цели. В этом отношении нельзя не обвинять военное министерство, столь плохо поставившее дело в наших запасных войсках.

В конце сентября крупные шероховатости в железнодорожной работе, в особенности в Львовском железнодорожном узле, стали усиливаться, и на львовской станции пути были настолько забиты, что получилась основательная пробка и не было никакой возможности разобраться в грузах и своевременно отправлять их по принадлежности. Это дело мне было не подведомственно, но, видя, что мои жалобы не приводят ни к чему, я самовольно командировал в Львов, чтоб привести в порядок этот важнейший железнодорожный узел, генерала Добрышина, специалиста железнодорожного дела, который, поскольку это оказалось ему возможным, не имея никакой власти, разобрался в беспорядках этого узла и по возможности разгрузил его. Положение его было очень щекотливое и тяжелое, ибо, как я только что сказал, Львов, вышедший из района моей армии, мне ни с какой стороны подчинен не был, и я тут вмешался не в свое дело; но так как благосостояние моей армии от беспорядка на железных дорогах начало страдать, а моим воплям никто не внимал, то, скрепя сердце, я захватным правом назначил генерала Добрышина начальником Львовского узла. Должен признать, что если раньше никто не внимал моим жалобам, то и тут мне никто не мешал распоряжаться в чужом ведомстве.

Во второй половине сентября было объявлено о формировании XI армии, целью которой была осада Перемышля, и в состав которой должны были войти несколько второочередных дивизий и бригад ополчения. Командующим армией был назначен ген. Селиванов. Это был старый человек, выказавший в японскую

кампанию не столько военного дарования, сколько твердости характера во время бунта во Владивостоке при революционном движении, охватившем всю Россию в 1905/06 г. Он был человек упрямый, прямолинейный и, по моему мнению, мало пригодный к выполнению возложенной на него задачи.

Наши дела севернее III армии шли в это время довольно неважно, и все внимание главнокомандующего и штаба Юго-западного фронта было направлено на фронт реки Вислы; группа же армий III, XI и VIII была поручена мне, и была отдана директива временно держаться на месте [19]. На этом основании я перенес свой штаб в Садовую Вишню, как пункт более центральный для выполнения новой возложенной на меня задачи.

Командовать осадою Перемышля до прибытия ген. Селиванова был назначен командир IX корпуса III армии генерал Щербачев, которого я давно знал по Петербургу. Он доложил мне, что по его мнению, вынесенному по близком ознакомлении с положением дел, Перемышль и в настоящее время взять штурмом легко и за удачу он ручается. Предложение было очень соблазнительное, даже если предполагать, что потери будут значительны, ибо с падением Перемышля вновь сформированная XI армия имела бы развязанные руки и значительно усилила бы фронт III и VIII армий. Кроме того, было несомненно, что противник, ввиду общего положения дел и нашего бездействия на левом фланге, в ближайшем будущем предпримет сильные наступательные действия для того, чтобы освободить Перемышль, важнейшую первоклассную крепость Австро-Венгерской империи. С падением Перемышля этот момент отпал бы и мы могли бы развить безбоязненно дальнейшие наступательные операции, которые могли иметь благотворное влияние на длительное сражение на Висле. Все вышеизложенное, вместе взятое, склонило меня согласиться на штурм Перемышля.

Изложив все только что перечисленные доводы главнокомандующему, я испросил его разрешения на производство этой операции, на что и получил утвердительный ответ. Я сознавал, что в сущности время для взятия Перемышля нахрапом прошло и что теперь это дело гораздо труднее и не сулит, как недели три тому назад, верной удачи; но выгоды взятия Перемышля были настолько велики, что стоило рискнуть. Некоторое разногласие у меня явилось при составлении плана атаки Перемышля с ген. Щербачевым в том, что, по его мнению, следовало атаковать важнейшую группу восточных фортов, наиболее современных и сильнее укрепленных, в особенности Седлисских. Ген. Щербачев полагал, что с падением этих фортов австрийцам держаться далее в Перемышле было бы невозможно. Соглашаясь с этим мнением, я, однако, полагал, что взятие живой силой восточных фортов, в особенности Седлисских, было проблематично и что

атака западных фортов, наименее вооруженных, сулит больший успех и отрезывает крепостной гарнизон от его путей отступления. Затруднительность атаки Перемышля состояла, главным образом, в том, что неприятельская армия, отошедшая на запад и находившаяся в то время в трех-четырех переходах от Перемышля, успела уже оправиться и пополниться. Следовательно, она должна будет немедленно перейти в наступление, дабы помочь перемышльскому гарнизону и не допустить падения этой крепости. Было необходимо иметь в виду возможность, которая потребовала бы встречи армии противника не во время штурма крепости, для чего надо было успеть построить боевой фронт в целях парирования атаки противника. Решено было сначала атаковать восточную группу фортов, чтобы привлечь внимание и резервы противника в эту сторону, а с остальных сторон охватить Перемышль и брать штурмом форты с северо-запада и юго-запада. Кавалерии было приказано усугубить свое внимание и усиленно производить разведывание, дабы она могла своевременно нас известить о переходе неприятеля в наступление.

В это время 2-я сводная казачья дивизия, направленная мною, как выше было сказано, в Карпаты к г. Турке, была остановлена, а затем ее начала теснить венгерская дивизия, и ген. Павлов просил помощи, чтобы приостановить контрнаступление венгерцев. Мною было приказано ген. Цурикову выслать из XXIV армейского корпуса один пехотный полк для подкрепления казаков.

Командующий III армией ген. Радко-Дмитриев в то же время настоятельно просил подкрепить его армию, опасаясь, что иначе он не будет иметь возможности удержаться на левом берегу Сана севернее Перемышля. Я находил эти опасения преувеличенными, но главнокомандующий приказал передать ему VII армейский корпус, что мною и было исполнено; XII корпус с генералом Лешем во главе я назначил в помощь войкам генерала Щербачева для атаки Перемышля, и таким образом южнее Перемышля в это время осталось два корпуса—VIII и XXIV.

Для атаки Перемышля, помимо частей формировавшейся XI армии, были назначены из XII корпуса 19-я пехотная дивизия для штурма фортов Седлисской группы и 12-я пехотная дивизия, которая должна была способствовать овладению северо-западными фортами, наиболее слабыми; юго-западные форты предназначались 3-й стрелковой бригаде; для артиллерийской подготовки штурма фортов Седлисской группы были собраны два дивизиона тяжелой артиллерии и два мортирных. Артиллерийская подготовка не могла быть продолжительной и достаточно интенсивной по недостатку снарядов, но, тем не менее, стрельба велась удачно, и неприятельский артиллерийский огонь подавлялся нашей артиллерией, так как, уступая австрийской в количествен-

ном отношении и калибром орудий, наша артиллерия качеством стрельбы была неизмеримо выше.

Ген. Щербачев, ведший эту операцию против Перемышля, был вполне убежден в благоприятных результатах нашего предприятия против этой крепости, и, действительно, два форта Седлисской группы были взяты штурмом 19-й пехотной дивизии, причем особенно отличился Крымский полк. Все внимание осажденных, как мы и желали, и большая часть его резервов были притянуты к Седлисской группе и становилось благовременным начать атаку северо- и юго-западных фортов. Но в это время случилось то, чего мы опасались. Австрийская армия перешла в наступление для спасения Перемышля [20]. Австрийцы могли к нам свободно подойти в четыре перехода и вступить с нами в бой. Явилась необходимость быстро прекратить штурм Перемышля, ибо силы врага, по нашим сведениям, превышавшие наши, направлялись частью против III армии, а частью против VIII.

Имея в этот момент всего два корпуса, которые ни в каком случае не могли бы сдержать наступающего врага, я, обсудив с ген. Щербачевым положение дела, пришел к заключению, что штурм Перемышля требовал, по всей вероятности, еще дней 5—6, которых у нас в распоряжении не оказывалось, а потому пришлось отказаться от этой выгодной операции, отозвать XII корпус из Перемышля и приказать XI армии снять осаду этой крепости и занять позицию, примыкая своим правым флангом к левому флангу III армии и левым—к правому флангу VIII армии.

Мои три корпуса заняли приблизительно фронт от дер. Поповище до г. Старого Места; это было в последних числах сентября. Так как III армия входила в состав порученной мне группы, то ген. Радко-Дмитриев донес мне, что он считает рискованным оставаться на левом берегу Сана, имея эту реку в своем тылу при недостаточном количестве переправ, и спрашивал моего согласия на отвод армии на правый берег Сана. Должен сознаться, что такое предположение ген. Радко-Дмитриева мне нисколько не улыбалось по той простой причине, что отведенная за реку III армия при сильном осеннем разливе несомненно находилась бы вне каких-либо покушений противника, но и сама она не могла бы ничего против него предпринять. Нетрудно было догадаться, что, имея Перемышль в своих руках, австрийцы, оставив перед III армией небольшие силы, перебросят бо́льшую часть своих войск с севера на юг, и моя малочисленная армия, ничем не прикрытая с фронта, могла оказаться в критическом положении, имея на своих плечах подавляющие неприятельские силы. Мне, однако, трудно было не согласиться с ген. Радко-Дмитриевым на отход его армии за Сан потому, что в случае какой-либо крупной неудачи у него он стал бы, несомненно, ссылаться на то, что из-за эгоистических личных видов я подверг его опасности пораже-

ния. Мне, заинтересованному в этом деле лицу, по военной этике, было невозможно достаточно сильно бороться с его желанием. Я надеялся, что главнокомандующий рассудит нас и решит на пользу общего дела. К сожалению, в своих предположениях я ошибся, и Радко-Дмитриеву было разрешено, в сущности говоря, бросить мою армию на произвол судьбы. В таком тяжелом положении мне оставалось лишь одно: вытребовать из III армии VII армейский корпус и впоследствии еще одну пехотную дивизию, дабы хоть сколько-нибудь уравновесить мои силы с силами противника.

Как бы то ни было, я успел построить фронт армии ко времени подхода австро-венгерцев, и, по своему обыкновению, при их приближении перешел в наступление для нанесения короткого удара, дабы спутать их карты. Это мне и на сей раз удалось. Дело в том, что дороги южнее Перемышля малочисленны, местность гористая, и глубокие колонны австро-венгерцев, не имея возможности своевременно развертываться, должны были принимать бой при невыгодных для них условиях своими головными частями. Из подслушанных телефонных разговоров, приказаний и донесений явствовало, что в первых числах октября австрийцы считали себя в чрезвычайно тяжелом положении, даже критическом; их начальство подбадривало их, сообщая, что севернее Перемышля русские отошли за Сан и что австро-венгерские войска в ближайшем будущем получат богатое подкрепление.

Тут впервые с начала этой кампании вверенной мне армии пришлось около месяца вести позиционную войну при крайне невыгодных для нее условиях. Правый фланг армии чуть не упирался в неприятельскую крепость, XI армия из второочередных дивизий и бригад ополчения была малоустойчивая, приходилось ее постоянно поддерживать, а противник все более и более на нас нападал с фронта, постоянно увеличивая свои силы. Одновременно с этим начало обнаруживаться наступление значительных сил против моего левого фланга с Карпат, которое охватывало XXIV корпус; кроме того, также относительно значительные силы стали наступать от Сколе и Болехова на Стрый — Миколаев прямым направлением на Львов нам в тыл. На мои настоятельные требования прислать мне подкрепления ввиду многочисленности врага и крайне тяжелой стратегической обстановки, главнокомандующий ограничился лишь тем, что распорядился начать эвакуацию Львова, и я был, можно сказать, брошен, как будто бы уничтожение моей армии, выход противника мне в тыл и захват им Львова не представляли одинаково важного интереса для всех нас.

Должен признать, что я и до настоящего времени не могу никак понять такое странное, ничем необъяснимое отношение к моей армии, которое могло иметь крайне тяжелые и печальные

последствия не только для нее, но и для всего Юго-западного фронта. Мне и до сего дня не удалось узнать, какие соображения в данном случае руководили как ген. Ивановым, так и бывшим тогда его начальником штаба ген. Алексеевым. В войсках моих ходили чрезвычайно тяжелые пересуды. Мне передавали, что в штабе Юзфронта было обычно выражение: «Брусилов выкрутится» или «пусть выкручивается». Это, конечно, сплетня, но характерная сплетня, и не следовало шутить с народным негодованием, давая повод к таким сплетням. Ведь масса солдатская прислушивалась к этим разговорам и добавляла от себя: «Конечно, генерал выкрутится, да только нашей кровью и костями». Бодрости духа, столь необходимой во время войны, это не прибавляло.

Итак, я был атакован с фронта почти двойными силами противника. Производился охват моего левого фланга войсками, спускавшимися с Карпат от Турки, и, наконец, направлением на Стрый—Миколаев—Львов выходили ко мне в тыл неприятельские силы, значительно превышавшие во всяком случае войска, которые должны были охранять его. На моем фронте стоял я довольно крепко, но меня тревожил левый фланг XI армии, который обстреливался тяжелой артиллерией крепости Перемышля и был недостаточно устойчив. Кроме того, одна из второочередных дивизий, в одну не прекрасную ночь атакованная II австрийским корпусом, бросила свои окопы, очистив их совершенно. При расследовании нельзя было выяснить, кто в этом виноват: командир бригады докладывал, что получил категорическое приказание начальника дивизии, а начальник дивизии столь же категорически отказывался от отдачи такого распоряжения. Так или иначе, но благодаря этому обстоятельству неприятель хлынул большими силами в образовавшийся прорыв.

К счастью, австрийцы, врезавшись в наше расположение, перепутались в лесу, и это помешало им использовать достаточно быстро одержанный ими успех. Получив тотчас же телеграфное извещение о прорыве нашего фронта, я направил туда 9-ю и 10-ю кавалерийские дивизии, стоявшие у меня в резерве, которым приказал во что бы то ни стало локализировать этот прорыв и не дать австрийцам возможности проникнуть глубже в наше расположение. Вместе с тем, мною было приказано командиру XII корпуса энергично атаковать австрийцев в занятом ими лесу и восстановить положение; кроме того, самовольно ушедшую из своих окопов дивизию приказал вернуть обратно. Эта второочередная дивизия имела мало офицеров, да и те оказались не на высоте своего положения. Тут пришла на помощь кавалерийская дивизия, которая выделила по собственной инициативе часть своих офицеров, добровольно вызвавшихся принять на себя командование ротами и батальонами той дивизии и водворить в них поря-

док. Солдаты с радостью приняли своих новых командиров и охотно с усердием исправили свою ошибку, взяв обратно брошенные ими окопы. В общем же, для усиления этой части фронта пришлось двинуть мой последний резерв, находившийся в Мосцинске, в распоряжение командира XII корпуса. Таким образом, хотя и с большим трудом, наш фронт был восстановлен, а прорвавшийся II австрийский корпус был отброшен. Хотя под огнем тяжелой артиллерии Перемышля держаться на стыке двух армий было трудно, однако, этот искус войска выдержали до конца сидения на этих позициях.

Еще труднее было положение на левом фланге армии, и туда уже раньше пришлось направить все резервы, находившиеся в моем распоряжении, передав их командиру XXIV корпуса ген. Цурикову, дабы парировать охват левого фланга армии.

Ген. Цуриков предложил собрать возможно большее количество войск, из числа данных ему, на его крайнем левом фланге на правом берегу Днестра и с этими войсками перейти в наступление, дабы отвратить охват этого фланга. Для этого требовалось не только отбросить противника и оставить заслон к югу против войск, наступающих с Турки, но и попытаться самому произвести охват правого фланга армии противника. Я чрезвычайно одобрил это предложение, ибо считал и считаю, что лучший способ обороны—это, при мало-мальской возможности, переход в наступление, т. е. обороняться надо не пассивно, что неизменно влечет за собой поражение, а возможно более активно, нанося противнику в чувствительных местах сильные удары. Таким образом я надеялся обеспечить себя и с левого охватываемого фланга.

Оставалось извернуться и измыслить способ парирования наступления противника на Львов через Миколаев. К счастью для меня, выяснилось, что австрийцы, рассчитывая лишь на разбросанные части войск, которые держались мною на правом берегу Днестра, и на невозможность собрать их всех в один пункт, направили на Стрый—Миколаев недостаточные силы, тогда как при несколько ином распределении их, послав туда не менее 2—3 корпусов, они имели возможность заставить нас значительно отойти к востоку, что повлекло бы за собой грандиозные и тяжелые для всего фронта последствия. Однако, чтобы отбросить противника, выходившего ко мне в тыл, мне было необходимо послать к Миколаеву не менее одной дивизии пехоты, ибо спешно собранные у Стрыя несколько батальонов 71-й пехотной дивизии были выбиты оттуда и с боем медленно отходили к Миколаеву. Дивизия казаков, по вине ее начальника, не выполнила данной ей задачи и от Стрыя отошла без приказания на Драгобыч, за что этот начальник дивизии и был мною отрешен от командования. Резервов у меня больше никаких не было, ибо за время

боев на фронте я принужден был их израсходовать, как выше было сказано. С боевого фронта ни одного солдата снять было невозможно, вследствие несоразмерности сил противника с нашими. Тогда я решил снять одну дивизию, именно 58-ю, стоявшую на пассивном участке XI армии, т. е. на правом берегу Сана, севернее Перемышля. Вся трудность этого дела заключалась в том, что ее необходимо было возможно быстрее перекинуть к Миколаеву, дабы не допустить противника, двигавшегося от Стрыя, переправиться на левый берег Днестра.

Нужно отдать справедливость 8-му железнодорожному батальону, который мне совсем и подчинен-то не был, что он, понимая необходимость быстроты перевозки, сделал в полном смысле этого слова невозможные усилия и с поразительной быстротой выполнил свою задачу. Пехота перевозилась по железной дороге, артиллерия же двигалась по шоссе переменными аллюрами и также своевременно подошла к Миколаеву. Обозы шли тоже по шоссе сзади. Начальник этой дивизии, с которым, вызвав его, я подробно переговорил в штабе армии, генерал Альфтан исполнил свою задачу блестяще. Еще с не вполне собранными частями своей дивизии, видя, что время не терпит, он из Миколаева перешел в наступление, принял на себя отступавшие части 71-й пехотной дивизии и стремительно атаковал австро-венгерцев севернее Стрыя. После двухдневного упорного боя враг был разбит, спешно начал отступать, бросив Стрый, и стал отходить на Сколе и Болехов. Таким образом, приблизительно в начале второй половины октября я обеспечился и с тыла. В это же время мой левый фланг перешел в наступление и в тяжелых непрерывных боях стал постепенно отбрасывать противника к востоку и частью к югу, по направлению к Турке; но сильно охватить правый фланг фронта австро-венгерцев не представлялось возможным по недостатку сил.

Как бы то ни было, но к концу октября мне удалось удержаться прочно на месте, прикрыть Львов с юга и выполнить мою задачу—охранять левый фланг всего фронта русской армии.

Но положение мое было невеселое, вернее сказать чрезвычайно трудное и тяжелое; мы дрались уже беспрерывно около месяца против сильнейшего противника, а подкрепления никакого не получали; невзирая на все мои требования, к нам прибывали пополнения лишь в самом незначительном размере. Да и пополнения эти, к сожалению, были плохо обучены и совершенно не подготовлены к ведению боя в строю, так что при постоянной убыли в войсках убитыми, ранеными и больными ряды их таяли и полки делались все более и более жидкими; утомление войск было чрезвычайное. В это-то критическое время приехал ко мне в штаб армии принц Александр Петрович Ольденбургский, стоявший во главе всей санитарной части вооруженных

сил России. Он горячо принял к сердцу тяжелое положение VIII армии и протелеграфировал об этом прямо верховному главнокомандующему вел. князю Николаю Николаевичу. В Ставке, повидимому, только тогда поняли, в каком мы находились положении. Очевидно, штаб фронта или не хотел или не мог себе дать правильного отчета о состоянии, в котором я нахожусь, предполагая, вероятно, что я сгущаю краски. Иного объяснения я дать не могу. Верховный главнокомандующий приказал немедленно направить в VIII армию две пехотные дивизии на усиление. Из них первая, переводившаяся ко мне 12-я сибирская стрелковая дивизия до меня доехала довольно быстро, но следующая дивизия была перехвачена на пути штабом фронта и направлена в III армию.

Я рассчитывал по прибытии этих двух дивизий собрать кулак и вместе с VIII корпусом совершить прорыв фронта противника направлением на Хыров. Но, как я только что сказал, вторая дивизия, шедшая мне на подкрепление, до меня не дошла, а 12-ю сибирскую дивизию пришлось передать в XXIV корпус, так как с одной дивизией прорывать фронт было нельзя, и я предпочел усилить левый фланг, чтобы действовать не прорывом, а охватом. Этот последний в данном случае мог дать менее решительные результаты, чем прорыв у Хырова, но, делая левый фланг более сильным, я питал надежду окончательно отбросить противника, наступавшего от Турки за перевал. Командир XXIV корпуса, однако, вследствие чрезвычайной слабости 48-й и 49-й пехотных дивизий, представлявших из себя лишь слабые остатки бывших частей войск, принужден был двинуть их не к Турке, в направлении к которой действовали наши 65-я пехотная дивизия и 4-я стрелковая бригада, а для усиления двух вышеупомянутых дивизий.

В это время III армия стала опять переходить на левый берег Сана, по приказанию главнокомандующего, сообразно с общим положением дела. Этим она, притягивая на себя часть неприятельских сил, несколько облегчила работу как VIII, так и XI армий. При предыдущем переходе III армии с левого берега на правый она неосторожно уничтожила все свои переправы, и теперь ей пришлось, под огнем противника, опять их восстанавливать, неся излишние потери. В конце октября наши летчики донесли, что заметили длинные обозные колонны, отходившие от фронта противника к западу; это, очевидно, было предвестием того, что австрийцы считали это длительное сражение проигранным и подготовляли свой отход [21]. Немедленно мною было отдано приказание всеми войсками подготовиться к решительному наступлению и точас же атаковать врага. Действительно, противник начал отходить в эту же ночь, а вверенная мне армия с рассвета атаковала арьергарды и с боем продвигалась вперед, захватывая

пленных, орудия и обозы, невзирая на крайнее утомление наших войск.

Это сражение под Перемышлем, беспрерывно длившееся в течение месяца, было последнее, о котором я мог сказать, что я давал сражение с регулярно обученной армией, подготовленной в мирное время. За три слишком месяца с начала кампании большинство кадровых офицеров и солдат выбыло из строя, и оставались лишь небольшие кадры, которые приходилось спешно пополнять отвратительно обученными людьми, прибывшими из запасных полков и батальонов. Офицерский же состав приходилось пополнять вновь произведенными прапорщиками, тоже недостаточно обученными. С этого времени регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала все больше и больше походить на плохо обученное милиционное войско. Унтер-офицерский вопрос стал чрезвычайно острым, и пришлось восстановить учебные команды, дабы спешным порядком хоть как-нибудь подготовлять унтер-офицеров, которые, конечно, не могли заменить старых, хорошо обученных.

Приходится и тут обвинить наше военное министерство в непродуманности его действий по подготовке к войне. Офицеры, как выше было сказано, приходили к нам совершенно не подготовленными и не в достаточном количестве. Унтер-офицеры, которых в запасе было очень много, не были взяты на особый учет, как специальный низший начальственный материал, весьма ценный для надлежащего его использования, а присылались в числе рядовых. Таким образом, во время мобилизации и в начале кампании у нас был значительный излишек унтер-офицеров, а потом их совсем не стало, и мы, ведя боевые действия, принуждены были в тылу каждого полка иметь свою учебную команду. Наконец, прибывавшие на пополнение рядовые в большинстве случаев умели только маршировать, да и то неважно; большинство их и рассыпного строя не знало, и зачастую случалось, что даже не умели заряжать винтовки, а об уменьи стрелять и говорить было нечего. Приходилось, следовательно, обучать в тылу каждого полка свое пополнение и тогда только ставить в строй. Но часто обстановка вынуждала столь необученные пополнения прямо ставить в строй во время горячих боев при большой убыли. Понятно, что такие люди солдатами зваться не могли, упорство в бою не всегда оказывали и были не в достаточной мере дисциплинированы. Чем дальше, тем эти пополнения приходили в войска все хуже и хуже подготовленными, невзирая на все протесты, жалобы и вопли строевых начальников. Многие из этих скороспелых офицеров, унтер-офицеров и рядовых впоследствии сделались опытными воинами, и каждый в своем кругу действий отлично выполнял свои обязанности, но сколько излишних потерь, неудач и беспорядка произошло вследствие того, что пополнения приходили к нам в безобразно плохом виде.

Краков. Карпаты.

Вверенная мне армия, гоня противника перед собой, продолжала быстро наступать к линии Дынов—Санок, по реке Сану, куда противник спешно отступал. Река Сан не была препятствием для наших войск в это время года, и мы легко и быстро перешли через нее и отбросили австрийцев дальше на запад. Противник, слабо сопротивляясь, отошел на свои заранее приготовленные позиции, прикрывая карпатские проходы, чтобы не допустить нас спуститься в Венгерскую равнину. Таким образом, неприятель занял фланговую позицию по отношению к VIII армии. В это же время III армия, двигаясь севернее Перемышля и не имея перед собой больших сил противника, стремительно подходила к Кракову.

К моему удивлению, я к этому времени получил директиву главнокомандующего, в которой значилось, чтобы я занял частью своих сил карпатские проходы, а сам с главными моими силами спешил к тому же Кракову, дабы поддержать и охранять левый фланг III армии и способствовать взятию Краковской крепости [22]. Имея на левом фланге моей армии свыше 4 неприятельских корпусов, которые, несомненно, ударили бы мне в тыл и лишили бы меня моих путей сообщения, я донес, что это приказание я выполнить не могу до тех пор, пока не разобью окончательно противника и не сброшу его с Карпатских гор. Из 4 имевшихся у меня корпусов один из них, а именно VII корпус, оставлен был для охраны моего левого фланга и прикрытия осады крепости Перемышля. Какой я мог оставить заслон против 4 австрийских корпусов из числа трех корпусов, имевшихся в моем распоряжении? Если бы я даже решился оставить два корпуса, то двинуть дальше к западу я мог лишь один, при большой вероятности, что и при этих условиях два корпуса, растянутые на сто верст, были бы прорваны, а армия моя по частям была бы разбита. Изложив все вышесказанное, я дополнительно донес, что в данное время мои войска всеми своими силами атакуют армию противника, занявшую фланговую позицию, и что пока я ее не разобью, я дальше итти не могу.

На это мне было отвечено, что время не терпит, что III армия может оказаться в критическом положении и что мне приказывается возможно быстрее разбить врага и, не задерживаясь, спешить дальше на запад на поддержку III армии. На это я опять ответил, что в данный момент я этой директивы выполнить не могу, времени не теряю, веду беспрерывно бой, но определить, когда противник будет разбит, точно не могу. Одновременно я доносил, что в ноябре месяце в Карпатских горах, ведя беспрерывные бои, моя армия оказалась голой, летняя одежда истрепалась, сапог нет, и войска, имея снег по колено и при довольно

сильных морозах, еще не получили зимней одежды. Я прибавлял, что считаю это преступным со стороны интендантства фронта и требую быстрейшей присылки сапог, валенок и теплой одежды. Вслед за этим я уже от своего имени, не надеясь более на распорядительность интендантства, отдал приказание приобретать теплые вещи в тылу и быстро везти их к армии. Должен к этому добавить, что вопрос о теплой одежде мною был поднят еще в сентябре месяце, но, как мне было разъяснено, считалось, что необходимо сначала снабдить теплыми вещами войска Северо-западного фронта, вследствие более сурового там климата; но не было принято в расчет, что в Карпатах зима еще более суровая и что войскам, находящимся в горах, так же и еще в большей степени требуется зимняя одежда. Во всяком случае, казалось бы, в ноябре можно уже было снабдить все войска теплой одеждой. Я считал, что это была преступная небрежность и беспорядок интендантства.

Вскоре я получил опять телеграмму главнокомандующего, в которой он упрекал меня, что я увлекаюсь собственными целями, излишне задерживаюсь боем с австрийской армией, преграждавшей мне путь в Венгерскую долину, и что я, под благовидными предлогами, не желаю выполнить его директивы. Таков был смысл этой неприятной для меня телеграммы. Пришлось ему ответить, что я решительно не могу понять, каким образом я брошу противника, еще вполне боеспособного, более многочисленного, чем моя армия, и каким образом оставив его на моем фланге в тылу, я брошу свои коммуникационные линии. Ведь этим мне придется открыть ему путь к Перемышлю и Львову, а самому устраивать новую базу для армии на Ржешув—Ланцут и Ярослав; я считал, что подобная перспектива равняется поражению.

Должен оговориться, что с начала войны я никак не мог узнать плана кампании. Когда я занимал должность помощника командующего войсками Варшавского военного округа, выработанный в то время план войны с Германией и Австро-Венгрией мне был известен; он был строго оборонительный и во многих отношениях, по моему мнению, был составлен неудачно. Он и не был применен в действительности, а по создавшейся обстановке мы начали наступательную кампанию, которую не подготовили. В чем же заключался наш новый план войны,—представляло для меня какую-то тайну, которой не знал, повидимому, и главнокомандующий фронтом. Легко может статься, что и никакого нового плана войны создано не было, и действовали лишь случайными задачами, которые вырабатывались обстановкой. Как бы то ни было, мне казалось чрезвычайно странным, что мы без оглядки стремимся только вперед, не обращая внимания на близкий мне левый фланг, что мы удлиняем наши пути сообщения,

растягивая наши войска до бесконечности по фронту, не имея достаточно сильных резервов, без которых, как уже выяснилось, мы не можем быть обеспеченными не только от разных неприятсюрпризов, но и от той или иной катастрофы, могущей перевернуть столь удачно начатую войну. Опасность разброски сил при постоянно увеличивающихся наших коммуникационных линиях усугублялась еще тем, что мы постепенно получали настоятельные предупреждения, что огнестрельных припасов осталось мало, в особенности артиллерийских снарядов, и что нет оснований ожидать в скором будущем исправления этого ужасного положения.

Во второй половине ноября VIII армия, беря одну неприятельскую позицию за другой, разбила противника и заставила его отступить на южную сторону Карпат; но эти бои, чрезвычайно тяжелые и ожесточенные, которые притом нужно было вести с наивозможно меньшей тратой снарядов и патронов, выбивая шаг за шагом противника с одной вершины на другую, дорого стоили нашим войскам, и потери наши были значительны. Каждая вершина на этих позициях была заранее сильнейшим образом укреплена при трех- и четырехярусной обороне, и мадьяры, в особенности, со страшным упорством отчаянно защищали доступ к Венгерской равнине, в которую, впрочем, мы в данное время не стремились. В особенности упорные бои пришлось вести у Мезо—Лаборча, где главная тяжесть боя выпала на долю VIII корпуса во главе с ген. Орловым.

Странное было положение этого генерала: человек умный, знающий хорошо свое дело, распорядительный, настойчивый, а между тем подчиненные ему войска не верили и его ненавидели. Сколько раз за время с начала кампании мне жаловались, что это—ненавистный начальник и что войска глубоко несчастны под его начальством. Я постарался выяснить для себя, в чем тут дело. Оказалось, что офицеры его не любят за то, что он страшно скуп на награды, с ними редко говорит и, по их мнению, относится к ним небрежно; солдаты его не любили за то, что он с ними обыкновенно не здоровался, никогда не обходил солдатских кухонь и не пробовал пищи, никогда их не благодарил за боевую работу и вообще как будто бы их игнорировал. В действительности, он заботился и об офицере и о солдате, он всеми силами старался добиваться боевых результатов с возможно меньшей кровью и всегда ко мне приставал с просьбами возможно лучше обеспечивать их пищей и одеждой; но вот передать им свои заботы, чтобы они знали о них,—этим он пренебрегал или не умел этого. Знал я таких начальников, которые в действительности ни о чем не заботились, а войска их любили и именовали их «отцами родными». Я предупреждал ген. Орлова об этом его недочете, но это мало помогло, и он просто не умел привлекать

к себе сердца людей. Как бы то ни было, но тут он работал хорошо и со своим корпусом дело сделал.

В это же время XXIV корпус наступал несколько восточнее, от Лиски на Балигрод, Цисну и Ростовки. И этому корпусу было приказано не спускаться с перевала, но тут ген. Корнилов опять отличился в нежелательном смысле: увлекаемый своею жаждой отличиться и своим горячим темпераментом, он не выполнил указания своего командира корпуса и, не спрашиваясь разрешения, скатился с гор и оказался, вопреки данному ему приказанию, в Гуменном; тут уже хозяйничала 2-я сводная казачья дивизия, которой и было указано, как коннице, сделать набег на Венгерскую равнину, произвести там панику и быстро вернуться назад, не беря с собой артиллерии. Ген. Корнилов возложил на себя, повидимому, ту же задачу, за которую понес и должное наказание. Венгерская дивизия, двигавшаяся от Унгвара к Турке, свернула на Стакчин и вышла в тыл дивизии Корнилова. Таким образом, он оказался отрезанным от своего пути отступления; он старался пробраться обратно, но это не удалось, ему пришлось бросить батарею горных орудий, бывших с ним, зарядные ящики, часть обоза, около 2 тысяч пленных и с остатками своей дивизии, бывшей и без того в кадровом составе, вернуться обратно тропинками.

Тут уже я считал необходимым предать его суду за вторичное ослушание приказов корпусного командира; но ген. Цуриков вновь обратился ко мне с бесконечными просьбами о помиловании ген. Корнилова, выставляя его пылким героем и беря на себя вину в том отношении, что, зная характер ген. Корнилова, он обязан был держать его за фалды, что он и делал, но в данном случае ген. Корнилов совершенно неожиданно выскочил из его рук. Он умолял не наказывать человека за храбрость, хотя бы и неразумную, и давал обещание, что больше подобного случая не будет. Кончилось тем, что я объявил в приказе по армии как Цурикову, так и Корнилову выговор. Впоследствии, когда Корнилов, уже в составе III армии, опять не послушался ген. Цурикова и при прорыве немцами фронта III армии не выполнил данного ему приказания, он был окружен со всех сторон и был взят в плен. Вспоминая об этом, я, хотя и запоздало, сожалел, что благодаря моей неуместной в данном случае уступчивости я подготовил невольно окончательное поражение этой славной дивизии. Странное дело, ген. Корнилов свою дивизию никогда не жалел, во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед, очертя голову.

Противник был разбит, это несомненно, но он далеко не был

уничтожен и не потерял своей боеспособности. Поэтому я с большой болью в сердце приказал войскам приостановиться, бросив недоделанное дело, т. е. не уничтожив живой силы противника. Я оставил, согласно повелению главнокомандующего, XII корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы оборонять перевалы, а VIII и за ним XXIV корпуса двинул на запад на помощь III армии, которая, подходя к Кракову, действительно находилась в тяжелом, опасном положении. При этом я, однако, донес, что считаю мой тыл нисколько не обеспеченным и предполагаю, что, как только я уйду вперед, противник опять перейдет в наступление, но уже в моем тылу и, несомненно, опрокинет XII корпус, который не в состоянии бороться с данными ему силами против сильнейшего врага. При этом я добавлял, что Карпаты, в особенности западные, которые значительно ниже восточных, не представляют собой серьезного препятствия, и пехота с горной артиллерией может двигаться повсюду, и что поэтому занятие перевалов нисколько и ни в чем нас не гарантирует.

Получив, однако, подтверждение безусловной необходимости спешить на помощь III армии, я туда и устремился; но таким образом VIII армия с четырьмя корпусами флангом своим от русской границы растянулась на 250—300 верст. Линия войск без всяких резервов была настолько тонка, что, очевидно, противник мог прорваться в любом месте, где он собрал бы кулак для удара. Для оказания помощи III армии у меня оставались в руках лишь два слабых по составу корпуса. Такая стратегическая обстановка мне была непонятна; я считал положение армии очень опасным и был убежден, что австро-венгерцы обязательно воспользуются таким благоприятным для них случаем, что, к сожалению, вскоре и оправдалось, как это будет дальше видно. Я и до сих пор не могу понять, каким образом при отсутствии огнестрельных припасов можно было стремиться дальше на запад, очертя голову, и что руководило моим начальством удаляться столь сильно от нашей базы, совершенно не обеспечивая нашего левого фланга и тыла.

Раньше, чем продолжать далее мое повествование, считаю нужным объяснить состояние VIII армии к этому моменту. С момента перехода через границу, т. е. почти полных четыре месяца, войска почти беспрерывно дрались, имея перед собой, а иногда еще на фланге и в тылу, значительные неприятельские силы. Армия шла победоносно, вынося почти беспрерывные жестокие бои; она все время несла громадные потери в людях и получала, как раньше было сказано, незначительные пополнения неудовлетворительного качества. Ко времени, о котором я говорю, армия уже растаяла, и дивизии представляли собой не 15-тысячные массы, а их жидкие остатки; были некоторые дивизии в

составе 3 тысяч бойцов, и не было дивизии, в рядах которой можно было бы сосчитать свыше 5—6 тысяч солдат под ружьем. Большая часть кадровых офицеров выбыла из строя убитыми и ранеными, а некоторые слабодушные из них упорно держались в тылу или по болезни, или получив тыловые места в России. В сущности прежней армии уже не было. Вот с этими-то остатками и приходилось теперь воевать, бесконечно растягиваясь и разбрасываясь. Нетрудно было предвидеть, что в недалеком будущем нам придется очень тяжело.

VIII корпус был мною двинут через Змигрод—Горлицы—Грибов—Новый Сандец, а XXIV корпус в том же направлении, но севернее VIII корпуса. К этому времени III армия была атакована австро-германскими войсками. В особенности беспокоила Радко-Дмитриева наличность германских войск, которые, несомненно, дрались лучше австро-венгерцев, в особенности первых из них, и Радко-Дмитриев настоятельно просил меня оказать ему поддержку возможно быстрей, что я и выполнил, приказав генералу Орлову немедленно перейти в наступление, хотя бы одной дивизией, на Лиманов—Тымбарк. 10-я кавалерийская дивизия, предшествовавшая войскам VIII корпуса, была ему подчинена. Это наступление оказало, действительно, значительную поддержку левому флангу III армии и притянуло на себя большие силы врага.

Растянувшись своими войсками на триста с лишним верст от нашей границы до Новых Сандец, я считал, что управление столь разбросанной армией и на таком расстоянии нецелесообразно и не дает возможности выполнять дальше возложенную на меня с начала войны задачу. Я должен был охранять левый фланг всего нашего фронта с совершенно недостаточными для этого силами, а посему я просил некоторую часть фронта передать на юг в XI армию, что и было исполнено. Вместе с тем, предвидя, что я буду неминуемо прорван у себя в тылу приблизительно по линии Грибов—Санок неприятельской армией, оставленной у меня на фланге, в тылу, я настоятельно просил перебросить коммуникационную линию на Ржешув—Ярослав и разрешить устройство моих тыловых магазинов по этой линии, на что также получил согласие. Такое согласие было, однако, недостаточно, потому что все распоряжения по устройству магазинов и этапов находились не в моем ведении и должны были последовать от главнокомандующего. К сожалению, все велось чрезвычайно медленно, как-то неохотно и, во всяком случае, своевременно готово не было.

Когда VIII корпус втянулся в бой, а XXIV ушел на запад, австро-венгерцы с юга, с Карпатских гор, естественно перешли в наступление, везде подавляющими силами прорвали XII корпус и откинули его к северу с большими для него потерями. Противник подошел на своем правом фланге к Саноку и этим

прервал мою связь с тыловыми учреждениями армии, и по этой дороге войска уже больше ничего получать не могли. Штаб моей армии в это время находился в г. Кросно, в направлении которого велся главный удар противника. При отсутствии в данном месте каких бы то ни было резервов ясно было, что Кросно неминуемо должен попасть в руки противника в самом скором времени, а потому я перенес свой штаб в Ржешув, а сам оставался возможно дольше в Кросно, так как служба связи не могла достаточно быстро наладить телеграфные линии по новым направлениям, управлять же войсками на таких расстояниях возможно лишь с помощью телеграфа.

При переезде из Кросно в Ржешув пришлось одну ночь пережить очень тяжелое положение. Ночевал я с оперативным отделением моего штаба в Домарадзе, причем шоссейная дорога была в столь ужасном виде, что по ней в автомобиле ехать было почти невозможно, а дорога от Кросно на Ржешув, на которой я ночевал, была открыта для противника, ибо части XII корпуса были отброшены на северо-восток от Кросно; кавалерийская дивизия, которую я вытребовал к этому месту, прибыть еще не могла, и между мной и противником решительно никого не было. Уехать из этого местечка до утра было нельзя, ибо телеграфная связь на эту ночь уже ранее была налажена, и я очень беспокоился за участь XII корпуса, так как командир корпуса доносил, что у него нет никаких сведений о 12-й сибирской стрелковой дивизии, которая с боем должна была отступать на Риманов и там войти с ним в связь. Терять управление армией я не хотел, но и попасть в плен к врагу желал еще менее, а потому я выслал к Кросно на полупереход мою конвойную сотню, а южную околицу деревни занял полуротою охранной роты штаба армии, которая тут находилась. Если бы австрийская конница узнала о всем, только что сказанном, мы легко могли бы сделаться ее добычей. К счастью, как потом выяснилось от пленных, они решительно никакого понятия не имели о расположении наших войск и о месте пребывания штаба армии.

Кстати должен сказать, что не только в Восточной Галиции, где большинство населения русины, к нам расположенные с давних пор, но и в Западной, где все население чисто польское, не только крестьяне, но и католическое духовенство относились к нам хорошо, и во многих случаях нам помогали всем, чем могли. Это объяснялось тем, что ранее того, по моему распоряжению, было широко распространено среди населения известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам. Поляки надеялись, что при помощи русских опять воскреснет самостоятельная Польша, к которой будет присоединена и Западная Галиция. Я старательно поддерживал их в этой надежде. Волновало и досадовало поляков лишь то, что от центрального пра-

вительства России не было никаких подтверждений того, что обещания великого князя будут исполнены; поляков очень раздражало, что царь ни одним словом не подтвердил обещаний верховного главнокомандующего. У них сложилось мнение, что Николай II никогда своих обещаний не исполняет, а потому многие из них, в особенности духовенство, опасались, что, когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их надует, нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя.

Во всяком случае, должен сказать, что за время моего пребывания в Западной Галиции мне с поляками было легко жить, и они очень старательно, без отказов, выполняли все мои требования. Железные дороги, телеграфные и телефонные линии ни разу никем не разрушались, нападения даже на одиночных безоружных солдат наших ни разу не имели места. В свою очередь я старался всеми силами выказывать им любезность, и думаю, что они нами были более довольны, чем австрийцы.

Например, в Ржешуве накануне Рождества комендант штаба армии мне доложил, что духовенство и население города чрезвычайно огорчены, что ночная служба, которая у католиков всегда бывает накануне Рождества, воспрещена, и раз навсегда строжайшим образом запрещено звонить в церковные колокола. Я чрезвычайно удивился такому дикому запрещению, тем более что противник был настолько удален от Ржешува, что никаким звоном сигналов подавать колоколами нельзя было. Я потребовал старшего из ксендзов и спросил его, кто запретил ему звонить и молиться богу. Он мне ответил, что это запрещение исходит от австрийских властей. Я расхохотался и сказал ему, что распоряжение австрийцев меня не касается и что я разрешаю им и звонить и богу молиться, сколько они хотят, и чем больше, тем лучше.

Что касается еврейского населения, весьма многочисленного в обеих половинах Галиции, то оно при австрийцах имело очень большое значение, было много помещиков-евреев, и русинское и польское население относилось к ним неприязненно. Почти все состоятельные евреи во время нашего наступления бежали, и осталась лишь одна беднота. В общем, евреи были больше расположены к австрийцам по весьма понятной причине. Но лично я о них ничего дурного за время нашего там нахождения сказать не могу; они были очень услужливы, выполняли все наши требования и вели себя смирно и тихо. Им тоже мною было разрешено молиться, сколько и как угодно, что также привело их в восторг; ни в какие счеты и расчеты между различными национальностями Галиции я не находил нужным вмешиваться, а требовал лишь, чтобы они жили спокойно и выполняли наши приказания, не мешая нам воевать.

Понятно, что, поскольку это было возможно, я не допускал грабежа мирных жителей и разных обид, требовал также, чтобы за все, что бралось от населения, было немедленно уплачено деньгами по таксе, утвержденной главнокомандующим; тем не менее, должен признать, что в особенности первое время по переходе через наши границы в Восточной Галиции несколько городов было сожжено, а усадьбы имений, попадавшихся по пути, по большей части были сожжены или разграблены; виновниками этих беспорядков была, главным образом, наша конница, шедшая впереди, очень часто также сами крестьяне, озлобленные против помещиков, а зачастую и тыловые обозные части. Последние, невзирая на самые строгие меры, как части нестроевые ускользали от строгого наблюдения и производили грабеж. С крайним сожалением должен сказать, что находились и офицеры, по преимуществу тыловые, которые не брезгали заниматься тем же позорным делом и старались направить награбленные вещи домой в Россию, но этих господ, как только мне удавалось узнать о подобных их деяниях, я немилосердно предавал суду. В Западной Галиции уже таких грабежей не было; пожары в значительной степени уменьшились, и в этом отношении порядка было больше.

Переход в наступление австрийской армии в тылу левого фланга вверенной мне армии с отбросом нашего XII корпуса к северу, естественно, поставил VIII армию в высшей степени тяжелое положение. Переговорив с начальником штаба армий фронта ген. Алексеевым по прямому проводу, я приказал 10-ю кавалерийскую дивизию форсированным маршем перевести на дорогу к Рошно—Ржешув, чтобы связать этой дивизией XII корпус с XXIV, которому, в свою очередь, приказал перестроить фронт с запада, куда они наступали, к югу, а VIII корпусу мною было приказано тоже форсированным маршем выйти через Тухов и Пильзно—Дембицу на дорогу Ржешув—Кросно в мой резерв. Одновременно, распоряжением главнокомандующего, III армия стала отходить от Кракова, и ее X корпус также повернул фронтом на юг западнее XXIV корпуса; XII корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы занимал фланговую позицию на восток от Кросно—Риманов, прикрывая Перемышль. Вместе с тем, мною было приказано командующему XI армией выдвинуть одну дивизию пехоты по направлению Санок—Риманов с тем, чтобы возможно быстрее выбросить австрийцев из г. Санка.

В XII корпусе, которым я командовал еще в мирное время, состояла 19-я пехотная дивизия, которую я давно знал—еще со времени Турецкой кампании 1877/78 годов; мне, тогда молодому офицеру, пришлось воевать с ними плечом к плечу, и как тогда, так и в начале настоящей кампании эта дивизия показала отличные боевые качества. В данном же случае, к моему огор-

чению, она не обнаружила, как мне казалось, достаточной стойкости при наступлении врага. Я был ею недоволен и поэтому перед новым переходом нашим в наступление счел необходимым с нею лично переговорить. Я приказал выстроить ее в месте ее расположения и поехал к ней. Дивизия в данный момент состояла всего из 4 сводных батальонов, по одному на полк, вместо 16 пехотных батальонов; в каждом из этих батальонов было по 700—800 человек; следовательно, в сущности, дивизия представляла собой всего один полк неполного состава, да и офицеров было немного. Осмотрев дивизию и переговорив с нею, я увидел, что она духом так же крепка, как и раньше, а что причиной постигшей ее неудачи была слишком большая сила противника. На каждой позиции, на которой она надеялась задержаться, противник с фронта завязывал огневой бой, не наступая, но зато с обоих флангов охватывал дивизию большими силами, и ей все время угрожало полное окружение; вследствие несоразмерности сил дивизии не оставалось иного исхода, как отход с одной позиции на другую. Дивизия принуждена была вести арьергардный бой, который она и выполнила стойко и искусно. Я поблагодарил их за выказанную ими храбрость и распорядительность начальников; я выразил твердую уверенность, что при предстоящих наступлениях с несколько пополненными рядами они покажут противнику, что такое старые кавказские войска.

На другой же день дивизия была пополнена ратниками ополчения, которые были распределены по всем ротам равномерно, и развернулась из четырехбатальонного в восьмибатальонный состав. Несколько дней спустя, т. е. в конце января (1915 г.), при общем переходе VIII армии в наступление эта дивизия блестяще выполнила свое обещание, стремительно атаковала врага, опрокинула его с маху, взяла обратно Кросно и Риманов и неотступно гнала австро-венгерцев далее к югу. 12-я пехотная и 12-я сибирская стрелковые дивизии не отставали в этом порыве и, охватывая левый фланг противника, заставляли наших врагов почти без задержки уходить назад, теряя по дороге много пленных, часть артиллерии, обозов, всякого оружия и снаряжения. Таким образом, XII корпус отомстил за свою неудачу, в которой не он был виноват, а виновато было то непростительное, невозможное положение, в которое поставило его удивительное стратегическое соображение высшего начальства, не захотевшего принять во внимание никаких резонов. XXIV и X армейские корпуса также выполнили свои задачи, и неприятель был быстро отброшен в Карпаты и должен был опять уступить нам перевалы.

Отраженное нами наступление, как потом выяснилось, велось в значительно больших размерах, чем мы полагали, и преследовало крупные цели: ни более, ни менее как окружение VIII

армии и пленение ее. Ген. Людендорф в изданных им после войны своих воспоминаниях (стр. 103 и 104 русского перевода) говорит: «Ген. фон-Конрад стремился к окружению южного русского крыла, имея в виду охватить его из-за Карпат. Для того чтобы выполнить этот план, он сильно разредил свой фронт. В боях у Лиманова и Лапанова с 3 по 14 декабря ему удалось разбить русских к востоку от Дунайца. Окружение ген. Бороевичем по выходе из Карпат русской армии на участке Сана и Дунайца натолкнулось вскоре на превосходящие силы противника, которые сами немедленно перешли в наступление. Австрийское охватывающее крыло было отброшено назад к Карпатам». Как знает читатель, никаких превосходящих сил у нас в данном случае не было.

Что же касается VIII корпуса, то он был поставлен мною в мой резерв, и я пользовался этим временем, чтобы привести его в полный порядок, ибо выдержанные им бои к югу от Кракова и форсированный кружной марш обратно к Кросно сильно его переутомили. За это время корпус переменил своего командира, и вместо ген. Орлова, по моему ходатайству, был назначен ген. Драгомиров (Владимир). Перемена эта произошла вследствие того, что ген. Орлов, заслуживший ужасную ненависть своих подчиненных во время отхода корпуса от Нового Сандеца, выказал значительную растерянность, выпустил управление корпуса из рук и в течение суток даже не знал, что делается с его частями и где они находятся. Как уже я говорил и раньше, ген. Орлов имел неоспоримые достоинства военачальника, но как и в прежних войнах, в которых он участвовал, помимо разных других серьезных недочетов, его постоянно преследовал какой-то злой рок, и большинство его распоряжений и действий, невзирая на видимую их целесообразность, выходили неудачными и вызывали всевозможные нарекания и недоразумения. Он был, что называется, неудачником, и с этим приходится на войне также считаться. Мне было его очень жаль, но я должен был им пожертвовать для пользы дела.

Явился вопрос: что же делать дальше? Пленные австрийские офицеры, смеясь, рассказывали в нашем разведывательном отделении штаба, что они войну в Карпатах называют Gummikrieg (резиновая война), так как с начала кампании на этом фланге мне все время приходилось, наступая на запад, отбиваться с фланга. Действительно, нам приходилось то углубляться в Карпаты, то несколько отходить, и движения наши могли быть названы резиновой войной. Нужно было теперь предполагать, что дальнейшие передвижения войск наших армий на запад в сущности иссякли по недостатку сил. Оставаться же моей армии на фланге перед Карпатским хребтом, ожидая удара с юга,—не сулило большого успеха, и инициатива действий в та-

ком случае должна была перейти в руки к нашему противнику, что, по моему мнению, было для нас крайне невыгодно.

Австро-венгерцам было совершенно необходимо перейти с значительными силами в наступление именно на этом фланге, чтобы выручить крепость Перемышль, которая не была обеспечена продовольствием и огнестрельными припасами на продолжительное время. Между тем наши войска, расположенные как бы кордоном на несколько сот верст у северного подножия Карпат, нигде не были достаточно сильны. Они не могли нигде противостоять удару хорошего кулака, который австро-венгерцы могли собрать в каком угодно месте и всегда имели бы возможность легко прорвать нашу завесу с тем, чтобы поставить нас в критическое положение.

Я считал гораздо более выгодным нам самим собрать сильный кулак и перейти в решительное наступление с целью выхода на Венгерскую равнину[23]. Оговариваюсь: я не рассчитывал с одной армией завоевать Венгрию, а полагал лишь притянуть на себя все неприятельские войска, которые неминуемо должны были быть направленными для освобождения Перемышля. Я считал, что это—единственный способ избавиться от неприятных неожиданностей и иметь возможность нанести противнику сильное поражение и этим способом отстоять осаду Перемышля от покушений врага. При этом я требовал усиления моей армии на один корпус, увеличения кавалерии и ставил обязательным условием обильное снабжение меня огнестрельными припасами. Я в то время не верил, не мог допустить мысли, что наши огнестрельные припасы действительно на исходе и что военное ведомство из ужасного положения воевать с голыми руками не выйдет благополучно.

Все это мною было изложено в донесении главнокомандующему. Из различных частных сведений, которые доходили до меня из штаба фронта, я знал, что Иванов—противник подобного образа действий, и предпочитал держаться строго оборонительно, что, в свою очередь, было противно моему мнению. Начальник штаба армий фронта Алексеев в данном случае разделял мое мнение. Повидимому в Ставке наши мнения восторжествовали, и было решено, что я предприму наступление через Карпаты в Венгерскую долину. К сожалению, как это всегда у нас бывало, для выполнения этой задачи были даны недостаточные силы, и только уже весной мало-по-малу они увеличивались.

Если бы сразу были направлены сюда те силы, которые, в конце концов, сюда были собраны, то, без сомнения, успех этой операции дал бы быстрые и богатые результаты, на деле же мы постепенно увеличивали свои силы в этом районе одновременно с неприятелем. Имея сразу значительное превышение сил, я имел бы возможность поочередно разбивать войска противника по мере

их прибытия. При данной же обстановке этого делать было нельзя, и потому приходилось медленно, шаг за шагом, подвигаться вперед в такой трудной местности, как Карпатские горы. Как почти во всех операциях этой войны, приняв какой-либо образ действий и утвердив план той или иной операции, наше высшее командование при выполнении операции делалось как будто бы нерешительным и не давало для выполнения плана сразу достаточных средств, как будто желая быть везде сильным и иметь возможность парировать везде всякие случайности.

Нужно отдать справедливость немцам, что они, предпринимая какую-либо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу возможно большие силы с некоторым риском и решительно проводили в исполнение принятый ими план действий; это и давало им в большинстве случаев блестящий результат. Правда также, что у них была в распоряжении громадная артиллерия с массой орудий тяжелого калибра, мы же в этом отношении сильнейшим образом хромали и не только не увеличивали артиллерии в ударной армии, но даже не снабжали ее в достаточной мере огнестрельными припасами. У нас, как известно, в общем был значительный недостаток огнестрельных припасов, в особенности артиллерийских. Казалось бы, все-таки, что даже при нашей бедности в этом отношении была возможность несколько обездоливать те участки фронта, которые к данному времени имели второстепенное значение, для того чтобы артиллерийский огонь на решающем боевом участке мог вестись надлежащим образом. К сожалению, ген. Иванов, считавшийся отличным артиллерийским генералом, был знаток своего дела, устаревший и совершенно не понимавший значения современного артиллерийского огня. Он упустил из виду решающее значение этого фактора.

Вот при таких-то недочетах в подготовке к предполагавшейся операции я начал ее выполнять. Лично я предполагал наступать в Карпатских горах, сосредоточив 4 армейских корпуса и не менее 3—4 кавалерийских дивизий на участке от Дуклинского прохода до Балиграда включительно в направлении на Гуменное с тем, чтобы возможно скорее проникнуть в Венгерскую равнину. Это направление благоприятствовало данной задаче, так как оно наиболее короткое, пути лучше разработаны, а сам по себе Карпатский хребет на этом участке значительно доступнее и легче преодолим, нежели в других его частях. Одновременно с этим через Турку на Унгвар должен был двигаться VII армейский корпус не менее как с одной кавалерийской дивизией для того, чтобы притянуть на себя часть неприятельских сил, а западнее, выше названного участка, левый фланг III армии должен был мне способствовать в продвижении вперед частью своих сил. Предполагал я также, что части войск, оставленные восточнее Турки до нашей границы, должны были своими наступательными дей-

ствиями на Сколе—Мункач, на долину Густов и на Надворную—Милатин—Мармораш—Сигет демонстрировать наступление в том же направлении. Таким образом, по всей части Карпатских гор, нами занятой, неприятель видел бы наши стремления перенести театр военных действий к югу в Венгерскую равнину, и ему трудно было бы определить, где нами предполагается наносить главный удар, а следовательно—ему было бы затруднительно знать, куда направлять свои резервы; при таких условиях ему было бы почти невозможно парировать наносимые нами удары, и помыслов о выручке Перемышля у него не могло бы быть. Для сего, однако, необходимо было подготовить наше наступление возможно быстрей, дабы инициатива действий отнюдь не была им выхвачена из наших рук.

В действительности вышло несколько иначе: во-первых, я получил меньше сил, чем мне было обещано; во-вторых, сосредоточение этих сил длилось очень долго (наши железные дороги с их недочетами достаточно известны, чтобы на этом останавливаться). Таким образом, когда в феврале месяце для руководства всем наступлением через Карпаты мне был передан восточный участок, находившийся одно время под начальством командующего XI армией, австрийцы успели уже сосредоточить значительные силы на линии Мезо—Лаборч—Турка и перешли в наступление с целью выручить Перемышль. Главный удар ими направлялся на линию Загорж—Устржики—Дольное, и немногочисленные наши войска, находившиеся там, начали с боем отходить. Силы неприятеля сосредоточились в особенности на направлении Мезо—Лаборч—Санок—Перемышль, и я направил туда весь VIII армейский корпус, постепенно, по мере возможности, усиливая этот участок фронта, так как и противник безостановочно направлял туда свои подкрепления. Первое, что мною было сделано, когда я принял этот участок в свое ведение, это приказание немедленно перейти в контрнаступление, и я направил туда 4-ю стрелковую дивизию (развернутую из бригады) для поддержки отступавших частей; эта дивизия всегда выручала меня в критический момент, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз честно выполняла. В первый момент задача наступать, вместо отступления, ошеломила войска, считавшие себя слабее противника, и, как мне передавали, войска думали, что это требование невыполнимо. Но вместе с тем это подняло дух, и они, веря мне, пошли вперед и не только приостановили наступление противника, но заставили перейти его к обороне и постепенно начали сбивать его с позиции на позицию, хотя медленно и с трудом, но продвигаясь к югу. Натиск на VIII корпус в конце февраля и начале марта настолько усилился, что он временно вынужден был пе-

рейти к активной обороне, а мне пришлось постепенно, поскольку мне помнится, довести состав корпуса до 64 батальонов.

В это время Перемышль начал переживать последние дни осады, и по беспроволочному телеграфу комендант сообщал в Вену, что если город не будет вскоре освобожден, то ему придется сдать крепость. Вследствие этого австро-венгерцы, желая во что бы то ни стало освободить Перемышль и бросив на этот участок все силы, которые только могли собрать, и сосредоточили на направлении Балиград—Лиско, повидимому свыше 14 пехотных дивизий; все их усилия не могли сломить наше сопротивление, и VIII корпус с приданными ему частями, а частью и VII корпус доблестно выдерживали отчаянные атаки противника и сами все время наносили очень чувствительные контрудары [24]. Таким образом, борьба свелась к тому, чтобы отстоять осаду Перемышля и добиться его сдачи, что, в свою очередь, очищало наш тыл и освобождало несколько дивизий пехоты, которые могли быть направлены на помощь войскам, дравшимся в Карпатах.

Одно время командир VIII корпуса ген. Драгомиров как будто бы начал терять надежду на успех и донес мне, что начальник одной из дивизий, бывший всегда очень стойким и распорядительным, заявлял, что дивизия его более сопротивляться не может, а потому командир корпуса предполагал отходить к Саноку. Это, очевидно, нарушило бы стойкость всего фронта, и такой успех поднял бы дух противника, который, усугубив свои старания, имел бы шансы добиться освобождения Перемышля. Я немедленно же ответил командиру корпуса, что безусловно запрещаю какой бы то ни было отход назад и приказываю передать начальнику дивизии, что я настоятельно прошу его устойчиво держаться на месте и ни в каком случае ни на шаг не подаваться назад; если моя просьба недостаточна, то я приказываю ему держаться; если же это приказание, по его мнению, невыполнимо, то я немедленно отрешаю его от командования дивизией. Это предостережение возымело свое надлежащее действие, и эта славная дивизия не только до конца стояла на месте, но вскоре перешла в успешное наступление.

9 марта Перемышль сдался, и сразу наше положение на фронте в Карпатах стало легче. По всему нашему фронту выставили плакаты о сдаче Перемышля. Австро-венгерцы были лишены главного стимула, заставлявшего их так яро бросаться на нас. По справедливости должен сказать, что сдача Перемышля произошла исключительно благодаря бесконечной стойкости и самоотвержению войск VIII армии, в особенности—VIII армейского корпуса с его начальниками во главе. Нисколько не преувеличивая, по долгу справедливости утверждаю, что Перемышль пал исключительно благодаря боевой работе этих войск. Нужно пом-

нить, что эти войска в горах зимой, по горло в снегу, при сильных морозах ожесточенно дрались беспрерывно день за днем, да еще при условии, что приходилось беречь всемерно и ружейные патроны и, в особенности, артиллерийские снаряды. Отбиваться приходилось штыками, контратаки производились почти исключительно по ночам без артиллерийской подготовки и с наименьшею затратою ружейных патронов, дабы возможно более беречь наши огнестрельные припасы.

Вот что говорит по поводу вышеизложенного в своих воспоминаниях ген. Людендорф (том I, стр. 122 русск. перевода): «Наступление австрийской армии, имевшее целью освобождение Перемышля, окончилось безуспешно. Русские очень скоро перешли в контрнаступление, и судьба Перемышля была решена».

Объезжая войска на горных позициях, я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней войны при недостаточном вооружении, имея против себя втрое сильнейшего противника. Меня всегда крайне удивляло, что эта блестящая работа войск не была достаточно оценена высшим начальством и что по справедливости представленные мною к наградам начальники (между прочим, ген. Драгомиров — к вполне заслуженному им ордену Георгия 3-й степени) ничего не получили. Я лично никогда ни за какими наградами не гнался и считал их для себя излишними. Я всегда исповедывал убеждение, что народная война — дело священное, которое военачальник должен вести, как бы священнодействуя, с чистыми руками и чистою душой, так как тут проливается человеческая кровь во имя нашей матери-родины. Но считал я также, что за геройское самоотвержение войск и мне подчиненных начальствующих лиц они должны получать должное воздаяние, дабы наша матерь-родина знала, что ее сыны сделали на пользу, славу и честь России. А между тем эта титаническая борьба в горах и заслуга спасения осады Перемышля, результатом которой была сдача этой крепости, была не только замолчена, но и прямо скрыта от России.

Поскольку VIII армия имела против себя противника в значительной мере сильнее ее, разговора о спуске в Венгерскую равнину не могло быть, в особенности потому, что огнестрельных припасов отпускалось все меньше и меньше, а Радко-Дмитриев, мой сосед с Дунайца (III армия), мне сообщал, что против его X корпуса заметна подготовка к прорыву его фронта: свозится многочисленная артиллерия тяжелых калибров, заметно прибывают войска, увеличиваются обозы и т. д. Так как, невзирая на его требования, ему подкрепления не посылались, а у него резервов не было, то нетрудно было предвидеть, что его разобьют и моя армия, спустившись в Венгерскую равнину без огнестрельных припасов, должна будет положить оружие или погибнуть.

Поэтому я только делал вид, что хочу перейти Карпаты, а в действительности старался лишь сковать возможно больше сил противника, дабы не дать ему возможности перекидывать свои войска по другому назначению [25]. Условия жизни в горах были чрезвычайно тяжелые, подвоз продуктов очень затруднителен, а зимняя одежда недостаточна. Зимой 1914/15 года центр боевых действий перешел в Карпаты, и не могу не считать своей заслугой, что благодаря моим настояниям было обращено внимание на этот фронт; не обинуясь, могу сказать, что ежели бы мы тут, хотя и несколько поздно, не подготовились, то усилия противника освободить Перемышль увенчались бы успехом, и весь левый фланг нашего фронта еще зимой был бы опрокинут, Львов взят обратно, и Галиция была бы тогда же нами потеряна. В подкрепление австро-венгерских сил были присланы и германские части, которые своей устойчивостью и высокими боевыми качествами значительно усилили Карпатский фронт. Правда, летом 1915 года мы Галицию потеряли, но благодаря удару с другой стороны, а именно—прорыву фронта III армии с запада, после того как врагу не удалось разбить нас в Карпатах. Могу сказать лишь одно: по моему убеждению, в катастрофе, постигшей весь наш фронт весной и летом 1915 года, считаю виноватым, кроме нашей неосмотрительной стратегии, также мелочность и полное непонимание обстановки бывшим главнокомандующим Юго-западным фронтом Ивановым, о чем будет сказано ниже [26].

Не следует, однако, думать, что зимой 1914/15 года сильный напор противника был только на VIII и VII корпуса; почти столь же сильный напор должны были выдержать войска, защищавшие доступ к Львову со стороны Мункача и Густова направлением на Сколе, Долину и Болехов. Жесточайшие бои против многочисленнейшего противника, в ужасающе-тяжелых жизненных условиях жизни частей, доблестно выдерживались. На подмогу этой части фронта армии, изнемогавшей в непосильной борьбе, был мною направлен XII армейский корпус (финляндский), который был включен в состав VIII армии самим верховным главнокомандующим и, как мне передавали, противно желанию ген. Иванова. Как бы то ни было, мы зимой отстояли Галицию и продолжали постепенно продвигаться вперед.

Неизменно уменьшавшееся количество отпускаемых огнестрельных припасов меня очень беспокоило. У меня оставалось на орудие не свыше 200 выстрелов. Я старался добиться сведений, когда же можно будет рассчитывать на более обильное снабжение снарядами и патронами, и, к моему отчаянию, был извещен из штаба фронта, что ожидать улучшения в этой области едва ли можно ранее поздней осени того же, 1915 года, да и то это были обещания, в которых не было никакой уверенности. С тем ничтожным количеством огнестрельных припасов, которые имелись у

меня в распоряжении, при безнадежности получения их в достаточном количестве было совершенно бесполезно вести активные действия для выхода на Венгерскую равнину. В сущности, огнестрельных припасов у меня могло хватить лишь на одно сражение, а затем армия оказалась бы в совершенно беспомощном положении при невозможности дальнейшего продвижения и крайней затруднительности обратного перехода через Карпатский горный хребет, при наличии одного лишь холодного оружия. Поэтому я не стал добиваться дальнейших успехов на моем фронте, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на своих местах с возможно меньшими потерями. Я об этом своем решении не доносил и войскам не объявлял, но выполнял этот план действий, как наиболее целесообразный при данной обстановке.

1915 год.

С Карпат и от Перемышля за Буг.

Была еще одна темная туча на нашем горизонте. Это—известия, которые продолжали получаться из III армии о непрерывном подвозе тяжелой артиллерии и войск у неприятеля. Эти угрожающие известия, насколько я помню, начали получаться со второй половины февраля, и ген. Радко-Дмитриев на основании донесений своих агентов и наблюдений самолетов тревожно доносил главнокомандующему о том, что на его фронте сосредоточивается очень сильная германская ударная группа. Ясно было, что неприятель, после неудачи его активных действий в Карпатах и потери Перемышля, замыслил теперь прорыв нашего фронта в другом месте. Неудача в III армии грозила моей армии выходом неприятельских сил в мой тыл; отступать же с горных вершин, имея перед собой сильного врага, представляло для моей армии задачу весьма трудную и опасную. Радко-Дмитриева очень беспокоило положение дел на его фронте, и он своевременно и многократно доносил Иванову о необходимости сильного резерва для парирования угрожавшей ему опасности. К сожалению, повидимому, ген. Иванов не доверял донесениям Радко-Дмитриева и держался предвзятой идеи, что нам грозит наибольшая опасность не на Дунайце, а на нашем левом фланге у Черновиц, Снятыни и Коломыи; эта несчастная идея, которую подкреплял своим мнением новый начальник штаба фронта ген. Драгомиров[1], заставила совершить ряд крупных ошибок, которые повели за собой чрезвычайно тяжкие, невознаградимые последствия[27].

---

[1] Ген. Алексеев был назначен главнокомандующим Северо-западным фронтом вместо заболевшего ген. Рузского, а командир VIII корпуса ген. Драгомиров заместил его в должности начальника штаба Юго-западного фронта. *А. Б.*

Чтобы это пояснить, должен сказать, что уже в марте месяце XI корпус был прислан в мое распоряжение и направлен мною на левый фланг, и к нему я присоединил все находившиеся уже там войска, отданные под общее начальство командира корпуса ген. Сахарова. По утвержденному мною плану действий они перешли в общее наступление, разбили противника и вполне успешно теснили его, заставляя уходить в горы, и не было решительно никакой надобности столь беспокоиться об этом участке моего боевого фронта. Ожидать тут появления значительных масс противника не было никаких оснований, прежде всего потому, что Карпатские горы на этом участке представляют более серьезную преграду, чем на западе, и движение здесь было возможно исключительно по дорогам, которых было мало, а посему большие массы не могли быть направлены в этом направлении. Кроме того, железных дорог на этом участке также весьма мало, и продовольствовать и снабжать войска всем необходимым для боевых действий было весьма затруднительно. Наконец, непосредственная близость румынской границы не давала возможности свободно маневрировать; нарушать же границу этого государства ни мы, ни центральные державы ни в каком случае не хотели, ибо Румыния держала нейтралитет, и обе стороны старались привлечь ее в свой стан.

Предвзятые идеи, в особенности в военном деле, потому-то и опасны, что всякие известия воспринимаются под известным освещением. Боязнь, что прорывом нашего крайнего левого фланга неприятель может выйти в наш глубокий тыл, непосредственно у нашей государственной границы, совершенно затушевывала в уме главнокомандующего действительное положение дела. На этом основании еще в марте 1915 года в этот район был перекинут штаб IX армии, и туда направлены все войска, которые только можно было снять с других частей фронта. Новый командующий IX армией ген. Лечицкий, ожидая сбора всех войск, назначенных в его распоряжение, приостановил удачно развившееся наступление Сахарова, а в это время ударная группа неприятеля против III армии продолжала невозбранно усиливаться подвозом войск и всего необходимого материала для успешного наступления. Если бы все войска, которые были направлены в IX армию, были быстро перевезены в распоряжение Радко-Дмитриева, он мог бы перейти в наступление, не ожидая сбора всех войск врага, разбить головные части только что собиравшейся армии германцев и этим своевременно ликвидировать грозившую нам всем опасность. Но хуже глухого тот, кто сам не желает слышать, и X корпус, вытянутый в одну тонкую линию без всяких резервов на протяжении 20 с лишним верст, без тяжелой артиллерии, бездеятельно стоял, спокойно ожидая момента, когда Макензену, вполне подготовив-

шемуся, угодно будет разгромить его и на широком фронте прорвать линию III армии.

И вот при таком положении дел Юго-западного фронта был затеян приезд императора Николая II в Галицию. Я находил эту поездку хуже, чем несвоевременной, прямо глупой, и нельзя не поставить ее в вину бывшему тогда верховному главнокомандующему вел. князю Николаю Николаевичу. Поездка эта имела место в апреле. Я относился к ней совершенно отрицательно по следующим причинам: всем хорошо известно, что подобные поездки царя отнимали внимание не только начальствующих лиц, но и частей войск от боевых действий; во-вторых, это вносило некоторый сумбур в нашу боевую работу; в-третьих, Галиция нами была завоевана, но мы ее еще отнюдь не закрепили за собой, а неизбежные речи по поводу этого приезда царя, депутации от населения и ответные речи самого царя давали нашей политике в Галиции то направление, которое могло быть уместно лишь в том крае, которым мы овладели бы окончательно. А тут совершалась поездка с известными тенденциями накануне удара, который готовился нашим противником, без всякой помехи с нашей стороны, в течение двух месяцев. Кроме того, я считал лично Николая II человеком чрезвычайно незадачливым, которого преследовали неудачи в течение всего его царствования, к чему бы он ни приложил своей руки. У меня было как бы предчувствие, что эта поездка предвещает нам тяжелую катастрофу.

Царь с верховным главнокомандующим по пути из Львова посетил между прочим и штаб моей армии, который в то время находился в гор. Самборе у подножья Карпат на Днестре. На железнодорожной станции был выставлен почетный караул из 1-й роты 16-го стрелкового полка, шефом которого состоял государь. Мне было дано знать, что царь со своей свитой будет у меня обедать, после этого поедет в Старое Место, где произведет смотр III кавказскому армейскому корпусу, а затем направится в Перемышль для его осмотра и там будет ночевать.

Кстати, III кавказский армейский корпус, только что перевезенный в Старое Место и числившийся в моей армии, находился в резерве главнокомандующего, который расположил его тут потому, что в данном месте он находился на полпути как от IX армии, излюбленной Ивановым, так и от III армии. Ген. Иванов, невзирая на все угрожающие сведения, уже ясно показывавшие, что удар противника сосредоточивается на фронте III армии, все-таки не решался подкрепить Радко-Дмитриева. Об этом преступном недомыслии я до настоящего времени не могу спокойно вспоминать. Радко-Дмитриев, видя, что все его донесения мало помогают, прислал мне письмо, в котором излагал создавшуюся у него тяжелую обстановку и просил моего воздействия на Иванова. Я ответил Радко-Дмитриеву, что мое вмеша-

тельство в дело чужой армии при моих отношениях к главкоюзу не только не поможет ему, а окончательно все испортит. Советовал же я ему написать об его положении генерал-квартирмейстеру Данилову в Ставку для доклада верховному главнокомандующему. Исполнил ли он мой совет—не знаю, ибо я больше не видел этого честного и доблестного воина.

Около 11 часов утра прибыл первый свитский поезд, а час спустя прибыл царский поезд. Отрапортовав государю о состоянии вверенной мне армии, я доложил, что 16-й стрелковый полк, так же, как и вся стрелковая дивизия, именуемая «железной», за все время кампании выдавалась своей особенной доблестью и что, в частности, 1-я рота, находящаяся тут в почетном карауле, имела на этих днях блестящее дело и отличилась, уничтожив две роты противника. Как и всегда, царь был в нерешительности, что же ему по этому случаю делать; вел. князь Николай Николаевич вывел его из затруднения, сказав, что ему нужно пожаловать всей роте георгиевские кресты, что он и выполнил. Затем со станции железной дороги царь поехал в дом, занимаемый моим штабом, где был приготовлен обед. В столовой государь обратился ко мне и сказал, что в память того, что он обедает у меня в армии, он жалует меня своим генерал-адъютантом. Я этого отличия не ожидал, так как царь относился ко мне всегда, как мне казалось, с некоторою недоброжелательностью, которую я объяснял себе тем обстоятельством, что, не будучи человеком придворным и не стремясь к сему, я ни в ком не заискивал и неизменно говорил царю то, что думал, не прикрашивая своих мыслей. Заметно было, что это раздражало царя. Как бы то ни было, это пожалование меня несколько обидело, потому что из высочайших уст было сказано, что я жалуюсь в звание генерал-адъютанта не за боевые действия, а за высочайшее посещение и обед в штабе вверенной мне армии. Я никогда не понимал, почему, жалуя за боевые отличия, царь никогда не выказывал,—мне по крайней мере,—своей благодарности; он как будто бы боялся переперчить и выдвинуть того, кто заслужил своей работой то или иное отличие.

Немедленно после обеда в поезде мы направились в Хыров, где и состоялся высочайший смотр III кавказскому армейскому корпусу. В это время этот корпус находился в блестящем виде, пополненный, хорошо обученный и с высоким боевым духом. Представился он царю блестящим образом. Так как верховых лошадей не было приказано приготовить, то император стал обходить войска пешком, но при таком условии обхода войск его мало кто мог видеть, и вел. князь Николай Николаевич настоял на том, чтобы царь, стоя в автомобиле, объезжал войска и здоровался с ними. Он и тут, как всегда, был в некоторой нерешительности и не находил тех слов, которые могли привлечь к нему

души человеческие и поднять дух. Он был снисходителен, старался выполнять свои обязанности верховного вождя армии, но должен признать, что это удавалось ему плохо, несмотря на то, что в то время слово «царь» имело еще влияние на солдат. Сейчас же после церемониального марша государь сел в поезд и уехал в Перемышль, я же отклонялся и вернулся обратно в Самбор, так как Перемышль, находившийся в тылу, был вне расположения вверенной мне армии.

Заботы Иванова об усилении Карпатского восточного фронта, в чем никакой надобности не было, продолжались, и между VIII и IX армиями втиснули вновь возродившуюся для сего случая XI армию, которая, называвшаяся ранее «осадной», после сдачи Перемышля была расформирована. III же армия продолжала оставаться без усиления.

Наконец, Макензен вполне основательно и без помехи закончил свои приготовления и в выбранное им время могущественной ударной группой с громадной артиллерией (в числе которой было много тяжелой) нанес сокрушительный удар по X корпусу, у которого резервов не было и который был вытянут в одну тонкую линию, имея только один ряд окопов, несовершенных и ни в какой мере не могущих укрывать войска от всесокрушающего огня противника [28]. Ясно, что при таких условиях этот корпус легко был прорван и сломан, а многочисленные германские войска, хлынув в этот прорыв, начали его быстро расширять и поражать разрозненные части III армии, которые отходили от своих позиций в полном беспорядке.

Вина прорыва III армии ни в какой мере не может лечь на Радко-Дмитриева, а должна быть всецело возложена на Иванова. Однако, в крайне беспорядочном и разрозненном отступлении армии нельзя не считать виновником Радко-Дмитриева. Он прекрасно знал, что подготовляется удар, и знал место, в котором он должен произойти. Знал он также, что подкреплений к нему никаких не подошло и, следовательно, ему не будет возможности успешно противостоять этой атаке. Поэтому, казалось бы, он должен был своевременно распорядиться о сборе всех возможных резервов своей армии к угрожаемому пункту и, вместе с тем, отдать точные приказания всем своим войскам, в каком порядке и направлении, в случае необходимости, отходить, на каких линиях останавливаться и вновь задерживаться, дабы по возможности уменьшить быстроту наступления противника и провести отступление своих войск планомерно и в полном порядке. Для этого необходимо было заблаговременно, без суеты убрать все армейские тыловые учреждения и также заблаговременно распорядиться устройством укреплений на намеченных рубежах. При таких условиях III армия не была бы полностью разбита и не потеряла бы многочисленных пленных, части артил-

лерии, части обозов и различных армейских складов со всяким имуществом.

Кроме того, во время этого несчастного отступления на всем обширном фронте армии Радко-Дмитриев потерял бразды управления, чего не было бы, если бы он заблаговременно, по намеченным рубежам, надлежащим образом распорядился устроить техническую службу связи, без чего управлять армией невозможно. Он же стал сам разъезжать в автомобиле от одной части к другой и рассылал для связи своих адъютантов, которые, как рассказывали очевидцы, отдавали от его имени приказания начальникам частей, минуя их прямых начальников; приказания же эти были часто противоречивые. Понятно, что от такого управления войсками сумбур только увеличивался, и беспорядок при отступлении принял грандиозные размеры не столько от поражения, сколько от растерянности начальников всех степеней, не управляемых более одной волей, не знавших, что им делать, и не знавших, что делают их соседи. Результат совокупности всех перечисленных условий отступления и не мог быть иным.

В это-то время ген. Иванов, наконец, решился спешно двинуть III кавказский армейский корпус на помощь III армии. Корпус был двинут эшелонами, ибо пройти значительный путь целому корпусу одним эшелоном одной дорогой было, конечно, затруднительно и явилось бы потерей времени, потому что корпус был расквартирован в большом районе и не было надобности сосредоточивать его вдали от противника. Очевидно, что эшелонами войска могли двигаться быстрей и с меньшей усталостью. Вводить же в бой войска пакетами было, конечно, нежелательно, а следовательно—надлежало задержать головной эшелон на каком-либо рубеже, дать подтянуться войскам корпуса и приказать пристроиться к ним отступавшим войскам; при таких условиях, хоть временно, противник был бы задержан и мог бы получить сильную острастку. К сожалению, войска корпуса своими разрозненными усилиями не могли оказать существенную поддержку уже разбитым войскам. Не знаю, получил ли в это время Радко-Дмитриев откуда-нибудь еще какую-либо поддержку; могу лишь сказать, что при таких условиях восстановить фронт армии было, очевидно, невозможно, и войска Радко-Дмитриева в полнейшем беспорядке продолжали быстро отходить к Перемышлю, севернее этой крепости, примыкая к ней своим левым флангом[1]. Между тем, этой крепости в действительности более не существовало:

---

[1] Я далек от критики действий ген. Радко-Дмитриева и отнюдь не желаю нанести какой бы то ни было ущерб его боевой репутации. Я излагаю тут лишь обстановку, при которой, по словам многочисленных свидетелей, произошла катастрофа с III армией. Нужно принять во внимание, что положение III армии и ее командующего было неимоверно тяжелое и что легче критиковать, чем действовать. *А. Б.*

она была заблаговременно эвакуирована, оставалось только незначительное количество артиллерии и снарядов, но решительно никаких запасов; в крепости не было гарнизона, за исключением двух или трех дружин ополчения для содержания караулов.

При такой-то обстановке мною, а также и моими соседями слева, было получено приказание отходить с Карпатских гор, чтобы занять новые позиции, причем моей армии приказано было занять позицию южнее Перемышля—от этой крепости до Старого Места (Старый Самбор). Я возразил на это, что в данном случае мой левый фланг будет висеть в воздухе, ничем не обеспеченный, и что для занятия этого фронта сколько-нибудь прочно у меня нехватит войск, тем более что мне было приказано обеспечить Перемышль гарнизоном в составе не менее одной дивизии пехоты. Тогда мне было дано разрешение, оставляя мой правый фланг упирающимся в Перемышль, отвести левый фланг назад с тем, чтобы он обеспечивался болотом у Днестра близ реки Верещицы. Перемышль был мне подчинен, что, вследствие разоружения крепости, невозможности надлежащего ее сопротивления, меня в достаточной степени огорчало. Я никогда не гнался ни за славой, ни за наградами и поэтому не возражал. Но мне было непонятно, почему разгромленный Перемышль из состава III армии передан был мне вместе с двумя армейскими корпусами III армии, которые были совершенно расстроены и представляли собой лишь жалкие остатки бывших отличных корпусов. Опять вспоминается солдатское заключение: «Эх-ма! Другие напакостили, а нам на поправку давай!»

Только много времени спустя все объяснилось. Невидимая для меня рука в свое время приписала взятие Перемышля генералу Селиванову, который и был награжден за это после нескольких месяцев спокойного сидения под Перемышлем. А моя геройская армия все это время неустанно билась впереди, не допуская сильнейшего врага дойти до крепости на помощь ее гарнизону.

Повторяю: я славы не искал, но, проливая тогда солдатскую кровь во имя родины, теперь я имею право желать, чтобы хотя бы история достойно оценила моих самоотверженных героев—солдат и офицеров. В память погибших воинов я пишу эти строки, а не для прославления своего имени. Мир праху дорогих усопших боевых товарищей. Мне было обидно за мою дорогую армию, когда та же невидимая рука связала сдачу Перемышля с моим именем, а следовательно, и с именем моей армии. Тогда мне было горько... Но мне было только смешно, когда, с одной стороны, вынужденно, в силу необходимости, давали мне награды, а с другой стороны, было дано негласное распоряжение их замалчивать в прессе и широко в Россию не сообщать, «чтобы популярность имени Брусилова не возрастала». Я мог бы это

доказать документально [1]. Конечно, эти записки увидят свет, когда я уже сойду с арены, но скрывать свои переживания того времени от будущей России не считаю себя в праве, ввиду того, что карьеризм, личные интересы, зависть, интриги загубили общее русское дело. Да не будет так в будущем!

Приказание об отступлении моем с Карпатских гор не было для меня сюрпризом, ибо, как я уже раньше говорил, при существовавшей тогда обстановке, разгром III армии был неминуем, а следовательно неизбежен был и выход неприятеля в мой тыл. Поэтому всякие склады и тяжести армии были заблаговременно оттянуты с гор назад. При отсутствии этой предусмотрительности мне пришлось бы их сжечь, но и при своевременно принятых мерах отход был крайне затруднителен, потому что стоявший против нас многочисленный противник должен был принять всевозможные меры, чтобы возможно дольше задержать нас в горах и попытаться разбить нас во время отступления с захватом нашей артиллерии и обозов. Кроме того, при удаче противника, т. е. при сильной нашей задержке в горах, войска Макензена могли зайти в тыл моей армии, что грозило окружением. В этом отношении XI и IX армии, расположенные восточнее меня, имели большое преимущество, ибо им зайти в тыл никто не мог.

Мой ближайший сосед слева, вновь назначенный командующий XI армией ген. Щербачев, заехал ко мне, с горестью выражая свое негодование необходимостью отступать, и предлагал просить разрешения оставаться на месте, отнюдь не уступая ни пяди земли, нами завоеванной. Действительно, с начала кампании мы в Галиции одержали громадные успехи, все более и более захватывали неприятельскую территорию и до мая месяца поражений не терпели. Поэтому я понимал чувство крайней досады, которым был обуреваем молодой, только что назначенный командующий армией, желавший отличиться на более широком поприще действий, а не начинать своей деятельности отступлением; но ему не была достаточно известна общая обстановка, и когда я ему ее объяснил, он согласился, что если оставаться на месте, то не только VIII армия, попадавшая между двух огней, но и его армия, состоявшая в то время лишь из двух корпусов, попадает в безвыходное положение и позднее не будет в состоянии спуститься с гор.

Мною было приказано войскам на фронте не показывать вида, что предполагается отход, и, оставив в окопах разведывательные команды с несколькими пулеметами, всем остальным войскам с наступлением темноты возможно быстрей, но в строгом порядке

---

[1] В распоряжение редакции вдовой покойного А. А. Брусилова, Надеждой Владимировной Брусиловой, предоставлен ряд документов и писем, подтверждающих сказанное. Ввиду их большого объема и того, что они представляют для воспоминаний А. А. Брусилова лишь косвенный интерес, редакция лишена возможности поместить их.

отходить на новые позиции, точно определив пути, по которым будут двигаться колонны. Арьергардным же частям было приказано вести до рассвета обычную ночную перестрелку и разведку. Все корпуса без боя благополучно отошли; лишь мой левый фланг был задержан на месте по просьбе командующего XI армией, так как его войска не могли почему-то своевременно отступать. Вследствие этого мой крайний левый фланг принужден был вступить в бой, чтобы дать возможность правому флангу XI армии отойти. Ведя бой при невыгодных условиях, два полка понесли значительные потери, однако и они никаких трофеев противнику не оставили.

Ранее чем излагать наши дальнейшие действия, мне необходимо объяснить, как обстояло дело укрепления нами позиций. Это искусство в мирное время было вообще в большом пренебрежении. Японская кампания, как прообраз действий войск в позиционной войне, усиленно критиковалась военными авторитетами всех держав и, между прочим, и нами; в особенности наши военные учителя, германские военные писатели, не находили достаточно слов, чтобы насмехаться над Куропаткиным и его системой изрыть всю Манчжурию, постоянно отступая и не используя притом большей части своих заблаговременно укрепленных позиций. Они утверждали, что немцы ни в каком случае подобному образу действий следовать не будут, что Германии необходимо выиграть короткую войну, быстро разгромить противников, и потому забавляться позиционной войной они не станут. Мы, в свою очередь, совершенно соглашались с этим выводом, и общий лозунг всех наших военачальников состоял в том, чтобы до последней крайности избегать позиционной войны. В мирное время мы ее никогда не практиковали по разным причинам, из которых главная мною только что изложена.

Нужно признать, что как начальники, так и сами войска терпеть не могли укрепляться и в лучшем случае ограничивались ровиками для стрелков. Зимой в Карпатах в ответ на мои приказания основательно окапываться, имея не менее трех линий окопов с многочисленными ходами сообщения, я постоянно получал донесения о невозможности выполнения этого требования. После настоятельных моих приказаний было донесено, что они выполняются; но когда, после данного мною времени для осуществления укрепления позиций, я стал объезжать корпуса для осмотра выполненных работ, то оказалось, что, в сущности, почти ничего не сделано, а то немногое, что было выполнено, было настолько основательно занесено снегом, что трудно было даже решить, где рылись окопы. На мои вопросы, как же будут заниматься укрепления в случае наступления противника, мне докладывали, что они их тогда вычистят. На мой естественный вопрос, полагают ли они, что противник согласится ждать, пока

они будут приводить в порядок свои укрепленные позиции, мне сконфуженно объясняли, что в будущем постараются содержать свои окопы в лучшем порядке. Был случай в одном из корпусов, что ни сам командир корпуса, ни начальник дивизии, ни командир бригады, ни командир полка, ни, наконец, начальник инженеров корпуса не могли мне указать на местности, где уже вырыты окопы; между тем, мне был представлен весьма хорошо разработанный на карте план непрерывно укрепленной позиции всего корпуса с донесением, что работа уже выполнена и проверена. Конечно, при такой нелюбви к укреплению своих позиций не только в VIII армии, но и вообще во всей русской армии,—трудно было отстаивать занятые нами позиции, когда пришлось защищать их, хотя бы только для выигрыша времени.

Наши укрепленные позиции в действительности представляли собой один лишь ров, даже без ходов сообщения в тыл. При усиленном обстреле артиллерийским огнем, в особенности огнем тяжелой артиллерии, единственного рва, кое-как сделанного, он быстро заваливался, а сидевшие в нем люди при ураганном огне уничтожались целиком или сдавались в плен во избежание неминуемой смерти. Уже впоследствии штабом армий фронта было сделано распоряжение—заблаговременно строить в тылу, на различных рубежах укрепления соответствующего типа и силы, но, в сущности, и эти укрепленные позиции были весьма несовременного типа. Вообще наши войска все время стремились к полевой войне (что вполне естественно) и крайне неохотно и лениво совершенствовали занимаемые ими позиции. На Юго-западном фронте к позиционной войне вперемешку с полевой мы перешли в конце 1914 года и уже окончательно перешли к позиционной войне летом 1915 года после грандиозного наступления армий центральных держав. Что касается VIII армии, то, когда мы отступали с Карпат на новые позиции южнее Перемышля, никакой заблаговременно подготовленной позиции у нас не было, и войска стали спешно окапываться лишь по прибытии на места. Окопы эти были весьма примитивного свойства, и надлежащим образом их усовершенствовать в дальнейшем не было никакой возможности, ибо приходилось вести чрезвычайно упорные бои, перекидывая войска, по мере надобности, с места на место.

Войска были скверно-милиционного характера, в рядах оставалось очень мало кадровых офицеров и солдат, да и число рядов было весьма незначительно; были полки в составе одного неполного батальона, а многочисленная наша кавалерия в это время почти никакой пользы приносить не могла. Комендант Перемышля совершенно терялся от того, что немногочисленная тяжелая артиллерия, то, по распоряжению главнокомандующего, нагружалась на платформы для отправления в тыл, то, по ходатайству коменданта Перемышля, снималась для вооружения

крепости; эти колебания происходили несколько раз. Наконец, комендант ген. Дельвиг взмолился, говоря, что таким образом совершенно изматываются люди, перегруженные работой без всякой пользы для дела, и просил, чтобы было окончательно постановлено, отправлять ли эти орудия в тыл, или оставить их для выполнения цели, для которой крепостная артиллерия существует. В свою очередь и я несколько раз настаивал на твердом решении этого вопроса, но получал разноречивые ответы: с одной стороны, мне телеграфировалось, что на Перемышль следует смотреть лишь как на участок боевого фронта, а отнюдь не как на крепость, что отвечало действительности; с другой стороны, мне сообщалось, что Перемышль следует отстаивать и принять всевозможные меры для удержания его за нами, но не защищать его во что бы то ни стало. Ген. Радко-Дмитриев, войска которого примыкали ко мне с севера, преимущественно по правому берегу реки Сана, заявлял, что его армия потеряла боеспособность и что для приведения ее в порядок необходимо быстро сделать крупный скачок назад, чтобы вывести ее из-под ударов противника и дать ей возможность оправиться и пополниться. Высшее командование было обратного мнения и требовало, чтобы отход совершался возможно медленнее, шаг за шагом, с возможно более продолжительными остановками на каждом рубеже. Ввиду такого расхождения в взглядах и образе действий ген. Радко-Дмитриев был смещен и на его место был назначен командир XII корпуса генерал Леш.

До описываемого времени вверенная мне армия, невзирая на всякие недочеты, была все время победоносна; частичная неудача в конце ноября 1914 года постигла только XII корпус, который эту неудачу быстро поправил. Дух войск в Карпатах был очень высок, хотя по временам я убеждался, что армия уже не та, какая была в начале кампании, и было несколько случаев сдачи в плен слабодушных людей без достаточной причины. Отступление из Карпат и тяжелое поражение, понесенное соседом нашим, III армией, раздуваемое стоустной молвой, невольно поколебало уверенность в себе и в своей непобедимости; отсутствие огнестрельных припасов также имело громаднейшее влияние на самочувствие войск. Солдаты, в сущности, вполне справедливо говорили, что при почти молчащей нашей артиллерии и редкой ружейной стрельбе неприятельский огонь выбивает их в чрезмерно большом количестве, и они обрекаются на напрасную смерть, причем исключается возможность победить врага, так как бороться с голыми руками нет возможности. Ясно, что при такой обстановке—недалеко до упадка духа. Действительно, к этому времени, т. е. к маю 1915 года, огнестрельных припасов у нас было столь мало, что мы перевооружили батареи из восьми- в шестиорудийный состав, а артиллерийские парки

отправили далеко в тыл за ненадобностью, ибо они были пустые.

При таких-то обстоятельствах пришлось вести отчаянную борьбу за удержание Перемышля в наших руках. Собственно, я такой цели себе не ставил, ибо в данное время Перемышль, как один из участков позиции, важного значения не имел, но он имел громадное нравственное значение и было понятно, что потеря Перемышля усилит упадок духа в войсках, произведет тяжелое впечатление во всей России и, обратно, высоко поднимет дух нашего врага. Было совершенно ясно, что удержать Перемышль продолжительно при данной обстановке невозможно и можно только удержаться некоторое время.

Не буду останавливаться на борьбе, которую мы выдержали у Перемышля. Это—дело военной истории, и для большой публики все перипетии этой борьбы не представляют интереса; да у меня и нет достаточных документов в руках, чтобы подробно останавливаться на описании этого момента наших боевых действий. Скажу лишь, в главных чертах, что противник старался отрезать Перемышль с его гарнизоном от армии: от Радымна—Краковец—Мальнов к югу на Мосциску, а с другой стороны, с юга, также направлением на Мосциску. Неприятель всеми силами старался захватить Медыку, дабы отрезать путь отступления гарнизону Перемышля, в надежде захватить там богатую добычу и пленных, дабы достойно отплатить за взятие нами Перемышля.

Как уже раньше было сказано, ряды наших войск были малочисленны, ударная группа немцев вся легла на плечи моей армии, главным образом—на ее правый фланг. Борьба во всех отношениях была непосильная, войск не хватало и пришлось взять из Перемышля лучшую часть гарнизона, чтобы отстаивать путь отступления из Перемышля, в котором оставалось главным образом ополчение. Известно же, что ополчение, за малым исключением, было почти не боеспособно. Мне, например, было донесено, что на двух фортах западного фронта Перемышля противник спокойно резал проволоку предфортовых заграждений, а гарнизон этих фортов не только сам не мешал этому делу, но и не позволял артиллерии стрелять—вследствие опасения, что сильная неприятельская артиллерия обрушится на форты. Очевидно, что такие гарнизоны легко отдали форты врагу, который, таким образом, попал во внутрь крепости. При таких условиях удержать Перемышль дальше было невозможно, и ночью мною было приказано очистить этот участок общей позиции, чем сокращался фронт армии, и без того жидкий, приблизительно верст на 30, что имело для меня громадное значение, ибо давало мне возможность составить резервы, которые были мною все израсходованы в предыдущих боях. Я считал необходимым и после потери Перемышля удерживаться возможно дольше на занимаемом нами рубеже.

В помощь моей армии для борьбы за Перемышль были присланы XXIII армейский и II кавказский корпуса, которые высшим командованием предвзято уже были направлены на Любачев; следовательно, было уже предрешено, откуда и каким способом эти два корпуса должны ударить по неприятелю, который к этому времени частью своих сил перешел на правый берег реки Сана у Радымно. Если бы спросили меня, то я эти два корпуса ввел бы возможно более тайно в Перемышль, и, присоединив к ним гарнизон крепости, неожиданно произвел бы вылазку всеми этими силами из западных фортов в тыл вражеским войскам, как находившимся на правом берегу Сана, так и тем, которые были расположены на левом берегу от Ярослава до Перемышля. И это—при условии, что все войска по всему фронту одновременно ввязались бы в бой с противником, в особенности же с севера; III армия должна была бы в этом случае собрать возможно больший кулак, чтобы нанести удар к югу примерно от Лежайска. Не знаю, насколько это помогло бы при недостатке огнестрельных припасов вообще, но при таком образе действий, мне казалось, были некоторые шансы на успех, размер которого заранее определить было невозможно. При наступлении же вышеупомянутых двух корпусов от Любачова на юго-запад получалась лобовая атака противника, обладавшего громадной артиллерией и множеством пулеметов; у нас же ни орудий, ни пулеметов в достаточном количестве не было, да и артиллерийская атака, долженствовавшая подготовить пехотную и поддержать таковую, не могла иметь места по недостатку снарядов. Можно было вперед сказать, что этот недостаточный и несвоевременный кулак, пущенный в ход не в надлежащем месте, никаких осязательных результатов не даст. Нужно притом добавить, что эти два корпуса, сами по себе очень высоких боевых качеств, были плохо обучены, как и большинство войск, прибывавших к нам с севера, и атаку они произвели весьма не споровисто. Вскоре после этой атаки Перемышль пал, будучи, как я уже сказал, очищен по моему приказанию, так как гарнизон в нем более держаться не мог. Из всех фортов нами были удержаны лишь восточные—Седлисские. В общем, крепость досталась неприятелю совершенно разоруженная, без каких бы то ни было запасов; насколько мне помнится, в руки врагу попались лишь 4 орудия без замков, которые были унесены.

Было еще одно обстоятельство, мешавшее нам пополнять ряды прибывавшими солдатами: помимо того, что они были очень плохо обучены, они прибывали невооруженными, а у нас для них не было винтовок. Пока мы наступали, все оружие, остававшееся на полях сражения, как наше, так и неприятельское, собиралось нами особыми командами и по исправлении шло опять в дело; теперь же, при нашем отходе, получилось обратное, и все оружие

от убитых и раненых попадало в руки врага. Внутри империи винтовок не было. Приказано было легко раненым итти на перевязочные пункты обязательно с оружием, выдавались за это даже наградные деньги, но эти меры дали весьма незначительные результаты. При каждом полку,—чем дальше, тем больше,—росли команды безоружных солдат, которых и обучать почти нечем было. В общем, дезорганизация нашей армии, по недостатку технических средств, шла быстро увеличиваясь, и наша боеспособность с часу на час уменьшалась, а дух войск быстро падал.

Тем не менее, я уповал, что на своем фронте удержусь на Сане, но совершенно для меня непредвиденно и к моему ужасу я получил приказание ген. Иванова передать V кавказский корпус в III армию, XXI корпус отослать во Львов в резерв главнокомандующего, а II кавказский и XXIII корпуса немедленно направить в состав IX армии, ибо главкоюз продолжал бояться за свой левый фланг, невзирая на то, что, казалось бы, вполне выяснилось, где наносится главный удар. Таким образом, мой правый фланг, куда и наносился главный удар противника, оголялся, и между мной и III армией искусственно устраивался нами значительный разрыв, который заполнить было нечем. Нельзя считать восстановлением фронта этого пустопорожнего участка то, что здесь находилась 11 кавалерийская дивизия, а на левом фланге III армии был кавалерийский корпус в составе двух дивизий. Всякому понятно, что три кавалерийских дивизии не могут заменить собой четырех армейских корпусов, как бы эти дивизии ни были геройски настроены. Я немедленно протелеграфировал главнокомандующему, что одновременный уход четырех корпусов с моего правого фланга, на который и производится главный напор врага, даст возможность противнику беспрепятственно и быстро глубоко охватывать мой правый фланг, и что вместо того, чтобы удержаться на месте, а в крайности—медленно уходить, мне под угрозой охвата и даже окружения части моих войск придется отходить быстро и потерять всякую надежду на успешный отпор подавляющим силам противника. На это мне было отвечено, что раз Перемышль пал, то надобности для меня такого количества войск больше не встречается, а потому предписывается немедленно выполнить данное приказание. На это я еще раз донес, что при подобной обстановке я не буду в состоянии на следующих этапах отхода сколько-нибудь задерживаться, что мы таким образом немедленно потеряем Львов и в самом быстром времени приведем врага в нашу страну. И это донесение успеха не имело. Так мне и пришлось совершенно оголить правый фланг и с полной безнадежностью смотреть на дальнейший ход событий.

Я посылал, кроме того, моего начальника штаба на автомобиле в штаб фронта, чтобы узнать, что там думают, каковы предположения высшего начальства для дальнейших действий и на

что мы можем надеяться в ближайшем будущем. Вернувшийся из этой поездки начальник штаба мне доложил, что он застал штаб фронта в большом унынии, ни о каких планах действий там и не думают и на будущее смотрят чрезвычайно пессимистически, считая, что кампания нами проиграна. По вопросу об усилении отпуска оружия и огнестрельных припасов ген. Ламновский также получил самые безотрадные сведения.

Как мне не трудно было предвидеть, неприятель действительно предпринял тот образ действий, который ему указывался обстановкой, т. е. он большими силами двигался в разрыв между III и VIII армиями и старался выйти мне в тыл. Понятно, невзирая на длинный фронт армии и малочисленность войск, я стянул к правому моему флангу все, что только мог, и возможно медленнее отходил от рубежа к рубежу. Я заботился только о том, чтобы в руки врага не могли попасть артиллерия, парки, обозы, транспорты, чтобы он захватил возможно менее пленных. Ведь при таких обстоятельствах упадок духа плохо обученных войск и более или менее легкая сдача в плен неминуемы и естественны.

На Буге.

Мне удалось никаких трофеев противнику не оставить и в этом отношении вполне благополучно отойти за Буг, где к этому времени на правом берегу реки была подготовлена укрепленная позиция, которую пришлось лишь усилить и развить. Штаб армии был перенесен в город Броды. Тут мною отдан был приказ по армии, в котором я объявлял войскам, что далее отходить нельзя, что мы подошли уже к нашей границе, что тут я приказываю во что бы то ни стало держаться крепко и о дальнейшем отходе не помышлять. Я заявлял, что верю в мою армию, так же как и она, я надеюсь, верит мне, что я понимаю ее тяжелое положение, ибо ее невзгоды я переживаю вместе с ней, но что на данном рубеже, как это ни трудно, необходимо остановиться и умирать за родину, но не пускать врага за нашу границу. Должен сказать, к своей радости, что армия послушалась моего воззвания, почувствовала необходимость жертвовать собой и не пустила дальше врага до тех пор, пока, как это будет видно дальше, мои соседи справа не ушли на северо-восток и между нами не оказался разрыв около 70 верст, в котором болталась наша кавалерия, храбрая, самоотверженная, но не имевшая никакой возможности задержать хлынувшие в этот громадный промежуток многочисленные полчища неприятельской пехоты.

Еще при подходе к Бугу, для того, чтобы дать некоторую острастку противнику, мною было приказано XII армейскому корпусу с приданными ему для его усиления частями неожиданно

перейти в наступление, дабы нанести короткий удар и этим временно приостановить движение противника. Приостановка давала возможность войскам более спокойно перейти на правый берег западного Буга и подготовиться к обороне этой реки. Это и было выполнено, хотя благодаря некоторым ошибкам начальствующих лиц этот удар не дал плодотворных результатов в тех размерах, которых я ожидал. Нужно, однако, признать, что при том состоянии духа, в котором находились войска, и нельзя было ожидать чего-нибудь блестящего. Это короткое наступление было произведено по моей личной инициативе без всяких указаний свыше.

Для пояснения дальнейшего мне необходимо упомянуть, что за крайне неудачные распоряжения главнокомандующего фронтом Иванова пострадал не он, а его начальник штаба ген. Драгомиров, который был отчислен в резерв. Новым начальником штаба фронта был назначен генерал Саввич, служивший прежде в корпусе жандармов.

В скобках говоря, я никогда не понимал, почему за ошибки в распоряжениях или из-за неудачных действий страдает не сам начальник, под флагом которого отдавались или осуществлялись те или иные приказания, а соответствующий начальник штаба, который, по закону, лишь исполнитель велений и распоряжений своего принципала. Между тем, распространенная в нашей армии подобная система как бы указывает, что начальник штаба должен играть роль какого-то дядьки, а сам глава—как бы лицо подставное, так сказать парадное. Мне всегда казалось, что начальнику штаба придавать такое чрезмерное значение не следует. Ответственное лицо должно быть только одно: сам начальник, а не его исполнительные органы, чины штаба, под каким бы наименованием они ни значались; если же начальник не соответствует своей должности, то не дядьку следует менять, а самого начальника смещать.

Как бы то ни было, но с назначением ген. Саввича начальником штаба фронта, я стал получать все более и более неприятные телеграммы с разными указаниями и приказаниями, которые или давно были выполнены, или совершенно не отвечали обстановке. Правда, мое начальство любезностью меня никогда не баловало, и насколько верховный главнокомандующий относился ко мне справедливо, настолько же главнокомандующий армиями фронта, т. е. мой непосредственный начальник, относился ко мне пристрастно и недоброжелательно, невзирая на то, что вверенная мне армия более, чем какая-либо другая армия его фронта, доставила ему честь, славу и высокие награды. Говорили, что такое неприязненное ко мне отношение происходит по той, якобы, причине, что ген. Иванов видит во мне опасного заместителя; но я этому не придавал никакого значения.

Изложу столкновение, которое у меня вышло в начале пре-

бывания моей армии на Буге. После ряда неприятных телеграмм, я получил одну, длиннейшую, в которой излагался ряд обвинительных пунктов, ошибок, которые, по мнению моего начальства, были сделаны во время нанесения короткого удара войсками моего правого фланга. В телеграмме винили не меня, а все валили на моего начальника штаба, но выходило так, что я или пешка в руках своего штаба, или же (на это намекалось в вежливой форме) не соответствую моему назначению. Эта телеграмма совпадала с другой, полученной мной от верховного главнокомандующего, который благодарил меня за проведение отступления моей армии и просил лишь не терять присущей мне бодрости духа в дальнейших моих действиях. Совпадение этих телеграмм нельзя не признать удивительным ввиду диаметрально-противоположной оценки результата моих действий. Я уже ранее был чрезвычайно раздражен несправедливыми, по моему мнению, нападками ген. Иванова и считал, что нужно положить предел подобному ко мне отношению, от которого страдали как дело само по себе, так и мои непосредственные подчиненные. На этом основании я послал телеграмму вел. князю Николаю Николаевичу, в которой, ссылаясь на последнюю полученную мною телеграмму ген. Иванова, доносил, что при подобных условиях службы я пользы приносить не могу, а потому прошу отчислить меня от командования армией.

Я стал было укладываться и готовиться к сдаче своей должности и к отъезду. Однако, я получил ответ главковерха, в котором он мне наотрез отказывал в смене, выражая мне свою благодарность за прошедшую боевую службу, но с оговоркой, что я обязан выполнять веления моего главнокомандующего. Эта последняя фраза, по правде сказать, была мне непонятна, ибо приказания начальства мною неизменно выполнялись. Если же я иногда и протестовал против них, то лишь тогда, когда по долгу службы и пользы нашему делу считал необходимым, ранее выполнения приказа, выяснить ту обстановку, в которой я находился и которая повидимому была неизвестна в штабе фронта. Из последней фразы телеграммы я понял, что мое начальство на меня жаловалось, вероятно в ответ на запрос верховного главнокомандующего.

Тогда я поехал в штаб фронта в г. Ровно, предварительно испросив на это разрешение. Иванов принял меня довольно любезно, мне даже казалось, что он был несколько смущен. Он сказал, что совершенно не понимает, чем я обижен, так как его критика касалась не меня, а моего штаба. Я ему ответил, что мой штаб находится под моим непосредственным начальством, сам по себе ничего штаб делать не может, но если даже считать, что штаб плохо исполняет мои приказания, то опять-таки главный виновник—я, ибо я обязан наблюдать за действиями и работой

моего штаба и должен устранять тех лиц, которые не соответствуют своему назначению. Я же считаю, что и начальник штаба, ген. Ламновский, и весь штаб работают хорошо, а если главнокомандующий недоволен, то единственный виновник—я, а вовсе не штаб; в общем, я заявил ген. Иванову, что, невзирая на телеграмму великого князя, которую я тут же представил, я могу оставаться командующим армией только в том случае, если я пользуюсь полным доверием моего главнокомандующего,—иначе будет вред для наших боевых действий. Поэтому я настоятельно просил его прямо мне сказать: 1) пользуюсь ли я его доверием, и 2) что он имеет лично против меня. На столь прямо поставленный вопрос я ответа, в сущности говоря, не получил, ибо в очень продолжительной беседе мне объяснялись разные эпизоды из Японской кампании, которые к делу совершенно не шли; причем говорилось также, что нет основания мне не доверять, и что лично против меня ничего не имеют; все это пересыпалось всевозможными рассказами, до предмета нашей беседы совершенно не касавшимися. В результате оснований для ухода с моего поста я не получил, да мне, в сущности, и жалко было покидать армию в то время, когда наши дела были плохи и когда мы обязаны были напрячь все наши силы, чтобы спасти Россию от нашествия. Пообедав у главнокомандующего вместе с его начальником штаба ген. Саввичем, которого я раньше не знал, я вынес убеждение, что это—тип так называемой лисы-патрикеевны, и что мне и в будущем ничего приятного в сношениях с этим штабом не предстоит. Во всяком случае, острастку я дал и надеялся, что в дальнейшем мои отношения будут не столь натянуты, в чем и не ошибся.

В начале задержки нашей на Буге пришлось отбить несколько наступлений, в особенности—на правом фланге армии, а затем противник в свою очередь зарылся на левом берегу Буга, причем мне приходилось отвечать ему чрезвычайно редким ружейным и артиллерийским огнем (последний был особенно редок), что очень обескураживало войска. Перемешанные во время отступления части войск, которые приходилось бросать, по мере надобности, из одного корпуса в другой, были мною теперь восстановлены в своей нормальной организации, а прибывавшие пополнения форменных неучей усиленно обучались в тылу каждой дивизии.

Беда заключалась лишь в том, что винтовок было чрезвычайно малое количество, которые отчасти пополнялись ружьями, взятыми у австрийцев и германцев, но это была капля в море, да и патронов к этим винтовкам было весьма недостаточно. Кадровых офицеров, как я уже говорил, в строю было очень мало, примерно человек 5—6 на полк; остальной состав офицеров, также в недостаточном количестве, состоял из прапорщиков, наскоро

и плохо обученных, из части которых уже впоследствии на практике выработались хорошие командиры. Были не только роты, но и батальоны, во главе которых находились малоопытные прапорщики. Старых унтер-офицеров также почти не было, а пополнялись унтер-офицеры восстановленными полковыми учебными командами, из которых ускоренным курсом выпускались столь же малоопытные унтер-офицеры. В каждой роте можно было найти в среднем 4—6 рядовых старого состава, все же остальные нижние чины были в сущности плохо обученные милиционеры, а не настоящие солдаты регулярной армии. За год войны обученная регулярная армия исчезла; ее заменила армия, состоявшая из неучей. Только высокие боевые качества начальствующего персонала, личное самопожертвование и пример начальников могли заставить такие войска сражаться и жертвовать собой во имя любви к родине и славы ее. Более чем в каких-либо других войсках, в данном случае, можно было сказать: «Каков поп, таков и приход». Для характеристики приведу один пример.

Недавно назначенный командир XII армейского корпуса, занимавшего позицию на крайнем правом фланге армии, впоследствии столь известный по гражданской войне ген. Каледин, однажды ночью мне донес, что противник переправился через Буг, опрокинул занимавшие окопы передовые части войск его корпуса и значительными силами продолжает наступать дальше. Я вызвал Каледина для разговора по прямому проводу и спросил его, почему же он не вводит в дело своих резервов из частей войск, которых у него достаточно, чтобы отбросить неприятеля обратно на левый берег Буга. Он мне ответил, что собственно совершенно неустойчива 12-я пехотная дивизия, прежде столь храбрая и стойкая, и что ни начальник дивизии, ни он ничего с нею поделать не могут, и при нажиме противника она немедленно начинает уходить. По его мнению, начальник дивизии изнервничался, ослабел духом и не в состоянии совладать со своими частями. Меня это огорчило, потому что это был до этого времени отличный боевой генерал, георгиевский кавалер, державший свою дивизию в порядке. Очевидно, отступление наше с Карпатских гор его расстроило духовно и телесно.

Колебаться нечего было, и я тут же отдал Каледину приказание моим именем отрешить начальника 12-й дивизии от командования и назначить на его место начальника артиллерии корпуса генерал-майора Ханжина, которого я знал еще с мирного времени и был уверен, что этот человек не растеряется. Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который топтался на месте, но вперед не шел, и ободрив его несколькими прочувственными словами, он сам стал перед полком и пошел вперед. Полк двинулся за ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение. Не покажи Ханжин личного примера, не

поставь он на карту и свою собственную жизнь, ему, безусловно, не удалось бы овладеть полком и заставить его атаковать австро-германцев. Такие личные примеры имеют еще то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются, и такому начальнику солдат привыкает верить и любить его всем сердцем.

Кстати скажу несколько слов о ген. Каледине, который сыграл во время революции на Дону большую роль. Я его близко знал еще в мирное время. Дважды он служил у меня под началом, и я изучил его вдоль и поперек. Непосредственно перед войной он командовал 12-й кавалерийской дивизией, входившей в состав моего XII армейского корпуса. Он был человеком очень скромным, чрезвычайно молчаливым и даже угрюмым, характера твердого и несколько упрямого, самостоятельного, но ума не обширного, скорее узкого,—то, что называется, ходил в шорах. Военное дело знал хорошо и любил его. Лично был он храбр и решителен. В начале кампании, в качестве начальника кавалерийской дивизии, он оказал большие услуги армии в двух первых больших сражениях, отлично действовал в Карпатах, командуя различными небольшими отрядами. Весной 1915 года недалеко от Станисловова он был довольно тяжело ранен в ногу шрапнелью, но быстро оправился и вернулся в строй. По моему настоянию, он был назначен командиром XII армейского корпуса, и тут оказалось, что командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным. Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего большого фронта и потому многое упускал. Кавалерийская дивизия—по своему составу небольшая, он ею долго командовал, его там все хорошо знали, любили, верили ему, и он со своим делом хорошо управлялся. Тут же, при значительном количестве подчиненных ему войск и начальствующих лиц, его недоверчивость, угрюмость и молчаливость сделали то, что войска его не любили, ему не верили; между ним и подчиненными создалось взаимное непонимание. На практике на нем ясно обнаружилась давно известная истина, что каждому человеку дан известный предел его способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не только от его ума и знаний, и тут для меня стало ясным, что, в сущности, пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии; с корпусом же он уже справиться хорошо не мог.

Несколько слов—также об еврейском вопросе в войсках. Думаю, что эти слова будут безусловно нелицеприятны, ибо у меня нет пристрастия к этому племени ни в хорошую, ни в дурную сторону, а во время войны я их, как воинов, всесторонне изучил.

Несомненно, что большая часть евреев были солдаты посредственные, а многие и плохие; часть их охотно сдавалась в плен, и, по свидетельству убежавших из плена русских солдат, они чувствовали себя там хорошо. Но были и другие примеры, правда немногочисленные, в которых евреи выказывали высокие чувства доблести и любви к родине. Чтобы не быть голословным приведу некоторые из них.

Во время стояния на Буге, при объезде мною позиций, в одном из полков мне был представлен разведчик-еврей, как лучший не только в этом полку, но и во всей дивизии. Он находился в строю с начала кампании, доблестно участвовал во всех сражениях, три раза был ранен и быстро возвращался в строй без всякого понуждения, брался за самые рискованные и опасные разведки и прославился своей отвагой и смышленостью. В награду получил 4 георгиевские медали и 3 георгиевских креста, заслужил также и георгиевский крест 1-й степени, но корпусный командир мне доложил, что ввиду запрещения производства евреев в подпрапорщики он не рискует представить его к этой высокой награде, так как она сопряжена с обязательным производством в подпрапорщики. Хотя по заслуженным им наградам этот разведчик давно должен бы был быть произведен в унтер-офицеры, он все еще состоял рядовым. К достоинству этого солдата-еврея нужно приписать и то, что такое несправедливое к нему отношение нисколько не отбивало у него охоты продолжать боевую службу храбро и честно. Понятно, что я обнял и расцеловал его перед строем и тут же, хотя и незаконно, произвел его прямо в подпрапорщики и навесил ему георгиевский крест 1-й степени.

Другой пример, еще более несправедливый, состоял в следующем. В один из пехотных полков, приблизительно в это же время, в числе других прибыл вновь произведенный прапорщик православного вероисповедания; он оказался старательным и храбрым офицером, получил несколько боевых наград и за один из боев, в котором он особенно отличился, был представлен к ордену св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Тут-то при особенно тщательном разборе его документов, выяснилось, что он—крещеный еврей, который по закону не имел права поступать в школу прапорщиков и тем более не имел права быть произведенным в офицеры. Все начальствующие лица были очень смущены этим инцидентом, ибо считали этого юношу отличным офицером, а тут выходило, что не только нельзя награждать его за совершонное боевое отличие, а нужно его разжаловать, о чем командир корпуса и вошел ко мне с представлением. Я совершенно не согласился с такой точкой зрения и приказал этого вопроса не возбуждать, а представление о награде прислать. Конечно, я при этом присовокупил, что в случае обнаружения этого дела я всецело беру вину на себя.

Из этих двух примеров видно, что евреям в сущности не из-за чего было распинаться за родину, которая для них была мачехой. А потому на них, как на солдат, я не был в претензии за то, что большинство из них в наших рядах были плохими воинами. Мне всегда казалось, что в боевом отношении требуется строгая справедливость, а тут они играли роль париев. Интересно было бы знать, как вели себя евреи в германской и в особенности в австро-венгерской армиях, где они пользовались полными правами граждан.

Во время стояния на Буге ген. Владимир Драгомиров опять получил VIII армейский корпус; я же хотел выделить и начальника моего штаба ген.-майора Ламновского и потому исходатайствовал о его назначении на должность командующего 15-й пехотной дивизией в том же корпусе. Мне жаль было расставаться с таким отличным ближайшим помощником, но я считал долгом выдвинуть его. Продолжительное исполнение такой каторжной, по количеству работы, должности, как начальник штаба армии, вконец истомило его и расшатало его нервы. По получении им дивизии уже через месяц его нельзя было узнать. За это время он пополнел, передохнул, и строевая служба вместо штабной дала ему новые силы и бодрость духа. Заместил я его генерал-майором Сухомлиным, который в бытность мою командиром XIV армейского корпуса командовал у меня полком. Он был человек очень аккуратный, чрезвычайно исполнительный и старательный. Были у него некоторые недочеты в смысле чрезмерно бережливого отношения к своему здоровью, но это не мешало ему прекрасно выполнять свои обязанности, и в общем я был им вполне доволен.

За это же время войска несколько пополнились, и, хотя с большим трудом вследствие недостатка ружей, заменив частью наши винтовки австрийскими, удалось довести большую часть дивизий до пяти — семитысячного состава, тогда как в начале нашего стояния на Буге в дивизиях в среднем было по 3—4 тысячи винтовок. Людей, прибывших на укомплектование, было много, но вооружать их нечем было, и они в тылу своих частей обучались, а главным образом, старательно питались хорошими щами и жирной кашей, ибо в то время мы еще могли хорошо кормить бойцов. Во вторую половину лета 1915 года противник нас мало беспокоил и занимался лишь перестрелкой, не жалея огнестрельных припасов, которые у него были в изобилии к большой досаде наших войск. В это время шло наступление германцев и австро-венгерцев на наши Северо-западный и Западный фронты и пали все наши пограничные крепости, между прочим и Новогеоргиевск, который был мне близко знаком.

Хотя Новогеоргиевск считался нашей лучшей крепостью и на него в последние годы тратились большие суммы, но по постройке он далеко не был современной крепостью и конечно

не в состоянии был противостоять продолжительное время огню современной тяжелой артиллерии. Во время его перестройки на новый лад были большие колебания. Одно время, при Сухомлинове, и эту крепость хотели упразднить в числе нескольких других. Перед этим вследствие Японской войны и некоторое время после нее никаких сумм на укрепление этой крепости не назначалось, а затем уже спешно начали строить новые форты и перестраивать старые, но к 1914 году эта крепость далеко не была приведена в надлежащий вид. Например, ее железобетонные сооружения были такой толщины, что могли противостоять снарядам лишь 6-дюймовых орудий. У нас было твердое убеждение, что артиллерию большого калибра подвезти нельзя, а германцы сумели скрыть те чудовищные калибры орудий, которые они приготовили для быстрой атаки крепостей, что впервые обнаружилось во время прохождения их через Бельгию. Но и помимо этого важного обстоятельства, уничтожение у нас специальных крепостных войск имело пагубное влияние на силу сопротивляемости наших крепостей.

Меня нисколько не удивило известие, что Новогеоргиевск был взят германцами в одну неделю: я знал, каков был гарнизон этой крепости. Помимо ополчения, которое, как боевая сила, было ничтожно, в состав гарнизона этой крепости была послана из моей армии, по назначению главнокомандующего, одна второочередная дивизия, которая была взята мною в тыл для пополнения. В ней оставалось всего 800 человек, начальником дивизии вместо старого, получившего корпус, назначен был ген.-лейтенант де-Витт, который очевидно не успел ознакомиться ни с кем из своих подчиненных, да и его никто не знал. К нему подвезли для пополнения, поскольку мне помнится, около 6 тысяч ратников ополчения, а для пополнения офицерского состава—свыше 100 вновь произведенных прапорщиков. И вот, не дав ему даже времени разбить людей по полкам, а полкам сформировать роты и батальоны, всю эту разношерстную толпу засунули в вагоны и повезли прямо в Новогеоргиевск; там их высадили как раз к тому времени, когда немцы повели атаку на эту крепость. Мне неизвестно, успел ли де-Витт сформировать там свои полки, но я твердо убежден, что он не имел никакой возможности, по недостатку времени, превратить эту толпу в какой бы то ни было, хотя бы полублагоустроенный, вид. А между тем считалось, что комендант крепости получил в состав гарнизона регулярную дивизию, отличившуюся во многих боях. Можно ли винить такого коменданта с таким гарнизоном, которого он раньше и в глаза не видал, если оказалось, что он сопротивляться не мог?

Другая крепость, также хорошо мне известная в бытность мою помощником командующего войсками Варшавского военного округа—Брест-Литовск, была еще значительно хуже оборудова-

на, чем Новогеоргиевск. Ее форты были еще менее современны, а восточный ее форт и совсем защищен не был; поэтому ее сопротивляемость оказалась нулевой, и при подходе неприятельских сил гарнизон ее, по приказанию свыше, без боя спешно эвакуировался, причем, поскольку до меня доходили известия, не успели даже сжечь то громадное количество имущества, которое находилось в этой крепости.

Во время летнего наступления 1915 года на наши Северо-западный и Западный фронты наши армии отступали чрезвычайно быстро, уступая противнику громадное пространство нашего отечества; насколько я могу судить по доходившим до меня в то время сведениям, во многих случаях это происходило без достаточного основания.

Вскоре после этих горестных событий было обнародовано, что верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич смещен и назначен кавказским наместником, а должность верховного главнокомандующего возложил на себя сам государь. Впечатление в войсках от этой замены было самое тяжелое, можно сказать удручающее. Вся армия, да и вся Россия, безусловно верила Николаю Николаевичу. Конечно у него были недочеты и даже значительные, но они с лихвой покрывались его достоинствами, как полководца. Подготовка к этой мировой войне была неудовлетворительна, но тут вел. кн. Николай Николаевич решительно был не при чем, в особенности же — в недостатке огнестрельных припасов войска винили не его, а военное министерство и вообще тыловое начальство. Во всяком случае даже при необходимости сместить вел. кн. Николая Николаевича, чего в данном случае не было, никому в голову не приходило, что царь возьмет на себя при данной тяжелой обстановке обязанности Верховного главнокомандующего. Было общеизвестно, что Николай II в военном деле решительно ничего не понимал, и что взятое им на себя звание будет только номинальным, а за него все должен будет решать его начальник штаба. Между тем, как бы начальник штаба ни был хорош, допустим даже—гениален, он не может, по существу дела, заменить везде своего начальника, и, как это дальше будет видно, в сущности отсутствие настоящего верховного главнокомандующего очень сказалось во время боевых действий 1916 года, тогда мы, по вине верховного главнокомандования, не достигли тех результатов, которые могли легко повести к окончанию вполне победоносной войны и к укреплению самого монарха на колебавшемся престоле.

Начальником штаба при государе состоял ген. Алексеев. Я уже раньше о нем говорил. Теперь лишь повторяю, что он обладал умом, большими военными знаниями, быстро соображал, и, несомненно, был хороший стратег. Считаю, что в качестве начальника штаба у настоящего главнокомандующего он был бы

безупречен, но у такого верховного вождя, за которого нужно было решать, направлять его действия, поддерживать его постоянно колеблющуюся волю, он был совершенно непригоден, ибо сам был воли недостаточно крепкой и решительной. Кроме того, он не был человеком придворным, чуждался этой сферы и ему под напором различных влияний со всевозможных сторон было часто не под силу отстаивать свои мнения и выполнять надлежащим образом те боевые задачи, которые выпадали на русскую армию. Принятие на себя должности верховного главнокомандующего было последним ударом, который нанес себе Николай II и который повлек за собой печальный конец его монархии.

Отход с Буга. Луцкая операция.

Значительный разрыв, который произошел между нашим Юго-западным фронтом, на правом фланге которого очутилась моя VIII армия, и левым флангом Западного фронта, произошел вследствие того, что у нас с давних пор считалось аксиомой, что Полесье совершенно непригодно для ведения операций значительными силами. У нас думали, что в лучшем случае там можно вести войну партизанскими отрядами, сплошного же боевого фронта ни в каком случае в этом районе быть не может. Поскольку я знаю, такое свойство Полесья, выгодное для ведения оборонительной войны, долженствовавшей разделить наступавшие неприятельские силы на две части, одна севернее Полесья, а другая южнее его, привело к тому, что в мирное время тщательно избегали работ, могущих в значительной мере осушить Полесье и сделать его доступным для ведения операций в широких размерах. Основываясь на этом убеждении, Западный фронт, отступая вглубь России, двигался в северо-восточном направлении, и таким образом постепенно между моим правым флангом и левым флангом армий Западного фронта образовался промежуток приблизительно около 70 верст.

Противник на моем фронте в общем меня в последнее время беспокоил мало и шевелился более или менее энергично лишь на моем правом фланге, где ему и давался надлежащий отпор. Когда явился разрыв, о котором я только что сказал, мой крайний фланг обнажился, так как в образовавшемся промежутке болтались большая часть моей конницы и кавалерийский корпус моих соседей, которые никакого серьезного значения для обороны такого большого пространства, да еще в болотах, иметь не могли. Ясная вещь, что противник с большими силами всех трех родов войск хлынул для охвата моего правого фланга.

Собрать уступ больших резервов за моим правым флангом мне не представлялось возможным, потому что около половины войск VIII армии распоряжением верховного главнокомандования было переброшено на север, а потому выставленный мною уступ

мог иметь только второстепенное значение. Стало очевидным, что далее держаться на Буге было невозможно, и главнокомандующий Юго-западным фронтом отдал приказание отходить в наши пределы с таким расчетом, чтобы моим правым флангом я мог дотянуть до города Луцка, так как считалось, что севернее находятся уже непроходимые болота, в которых могут действовать лишь мелкие части. Дотянуть имевшимися у меня войсками до г. Луцка, имея перед собой многочисленного врага, было фактически невозможно, о чем мною было своевременно донесено. Моим начальством это было признано правильным. Мне было сообщено, что для усиления моей армии будет прислан XXXIX армейский корпус, который в то время составлялся из дружин ополчения.

Я уже раньше имел случай сказать, что эти дружины не представляли собой никакой боевой силы. Их корпус офицеров, за малым исключением, никуда не годился, много офицеров было взято из отставки—старые, больные, отставшие от службы, да их было очень мало. Солдаты старших сроков службы твердо знали и были убеждены, что их обязанность—оберегать тыл и нести там службу, но отнюдь не сражаться на фронте с неприятелем. Молодые неопытные офицеры и почти совсем необученные ратники ополчения ни в каком случае не могли считаться до поры до времени удовлетворительным боевым элементом. Присылка мне на подкрепление такого корпуса, да еще на правый фланг, который должен был выдержать серьезный искус, меня глубоко возмутила; перегруппировать же войска в это время не было никакой фактической возможности. Приходилось, однако, довольствоваться тем, что мне было дано, и вспоминать пословицу: «На тебе, боже, что мне не гоже».

Так как промежуток между Западным фронтом и VIII армией уже был значительный (моя разведка мне доносила, что противник быстро наступает), я просил разрешения отходить по моему усмотрению, так как все равно отход был неизбежен, а планомерное, спокойное отступление войск имело большое значение для устойчивости фронта. Однако, я решительно не знаю, по каким соображениям меня продержали еще дня три на Буге и разрешили отходить уже тогда, когда противник меня на фланге опередил. Вновь формировавшийся XXXIX армейский корпус, о котором я выше говорил, должен был подвигаться к Луцку. Командир этого нового корпуса, ген. Стельницкий, явился ко мне в единственном числе; очевидно, что, невзирая на свои отличные боевые качества, он не мог один заменить собой двух дивизий, хотя бы и плохих. Тем не менее, я его послал в Луцк поджидать свои части. У него, впрочем, в руках было два или три батальона, и я послал к нему еще Оренбургскую казачью дивизию.

Войска по всему фронту армии отошли вполне спокойно, отбрасывая противника, когда он пытался нас преследовать. Тыл армии заблаговременно был оттянут назад, и в этом отношении отход был произведен в полном порядке; лишь у Луцка неприятель нас опередил, ибо в это время о XXXIX корпусе были только телеграммы, но ни одного человека. Луцк заблаговременно распоряжением штаба фронта был очень сильно укреплен, но по преимуществу к югу, откуда никакой опасности теперь не было, и более слабо — к западу, откуда неприятель напирал. Генерал Стельницкий, невзирая на свое критическое положение, сделал вид, что желает защищать Луцк. Этим он принудил австро-венгерцев приостановиться, чтобы подтянуть свои войска и тяжелую артиллерию, так как они, повидимому, предполагали, что на правом фланге у нас находятся большие силы. Но, разобравшись, они выяснили, что перед ними в сущности одна спешенная конница, и потому хитрость Стельницкого, надеявшегося, что он выиграет время и его войска начнут к нему прибывать, не удалось. Он принужден был отходить по дороге Луцк—Ровно, куда перешел штаб армии; он встретил первые эшелоны своего корпуса, которого он раньше в глаза не видал, в Клеване (в 20 верстах западнее Ровно), куда я спешно направлял один эшелон за другим. Войска прямо из вагона пакетами попадали в огонь и получали боевое крещение при совершенно незнакомой обстановке, не спаянные и не знавшие своего начальства.

Было весьма мало шансов удержаться на реке Стубуле, тем более, что противник показался и севернее моего правого фланга, и даже было получено донесение, что к Александрии (в 15 верстах северо-восточней Ровно) прибыл неприятельский кавалерийский разъезд, показавший, что за ним следует кавалерийская дивизия. Имея при штабе армии одну дружину ополчения и конвойный сводный эскадрон, я выслал как эскадрон, так и три роты дружины в направлении на Александрию и двинул туда же Оренбургскую казачью дивизию. Вот все, что я мог сделать, чтобы в данный момент хоть сколько-нибудь прикрыть тыл моего правого фланга и штаб армии; это, впрочем, временно и оказалось достаточным. Кроме того, я спешно перевел в Клевань в распоряжение ген. Стельницкого 4-ю стрелковую дивизию, чтобы он ее поставил в центре своего корпуса на шоссе Луцк—Ровно, имея две свои только что сформированные дивизии, 100-ю и 105-ю, на флангах; опираясь на «железную» дивизию, фронт получился достаточно устойчивый, чтобы задержать врага на Стубеле.

Зная Стельницкого как человека очень храброго и распорядительного, я временно успокоился за свой правый фланг. У Деражны и севернее я сосредоточил 7-ю и 11-ю кавалерийские дивизии и ту же Оренбургскую казачью. Однако, с таким положением дела я помириться не мог и настоятельно просил гене-

рала Иванова усилить меня еще одним корпусом, заявляя, что в случае такого подкрепления я буду иметь возможность перейти в короткое наступление, нанести сильный удар противнику с охватом его левого фланга и восстановить и укрепить устойчивость моего правого фланга. После различных препятствий, о которых тут не стоит говорить, мне несколько времени спустя был назначен в подкрепление XXX армейский корпус, во главе которого стоял генерал Зайончковский.

Я был очень рад этому назначению, так как знал Зайончковского уже давно и считал его отличным и умным генералом. У него была масса недругов, в особенности среди его товарищей по службе генерального штаба. Хотя вообще офицеры генерального штаба друг друга поддерживают и тащут кверху во все нелегкие, но Зайончковский в этом отношении составлял исключение, и я редко видел, чтобы так нападали на кого-либо, как на него. Объясняю я себе это тем, что по складу и свойству его ума, очень едкого и часто злого, он своим ехидством обижал своих штабных соратников. К этой характеристике можно еще прибавить, что это был человек очень ловкий и на ногу не давал себе наступать, товар же лицом показать умел. Что касается меня, то я его очень ценил и считал одним из наших лучших военачальников, невзирая на его недостатки. Но у кого их нет? Его достоинства значительно превышали его недочеты.

XXX армейский корпус был отправлен мною на р. Горынь; он сосредоточился у Степани. Как только большая его часть была подвезена, я вызвал для разговора по прямому проводу начальника штаба армий фронта генерала Саввича, прося его доложить Иванову, что я предполагаю перейти в наступление моим правым флангом, дабы отбросить противника за р. Стырь и занять Рожище—Луцк. На это мне Саввич ответил, что доложить он, конечно, может, но что едва ли главнокомандующий согласится на какие-нибудь наступательные операции, так как при настоящем положении дела он считает их бесполезными. Я ему ответил, что ни о каких больших наступательных операциях и разговора нет, что я также считаю их в настоящее время бесполезными и желаю лишь нанести противнику, как только что сказал, короткий удар, дабы выпрямить фронт по реке Стыри. После некоторых переговоров главнокомандующий согласился наконец на мое предложение, и я тотчас же сделал соответствующее распоряжение, придав XXX корпусу 7-ю кавалерийскую дивизию.

Наступление Зайончковского было проведено умело и настойчиво, причем было рассчитано так, что части XXX корпуса и 7-я кавалерийская дивизия все время охватывали левый фланг противника, заставляя его быстро отходить, XXXIX же корпус ген. Стельницкого вел бой с фронта, задерживая австро-герман-

цев, дабы дать возможность XXX корпусу производить охваты возможно глубже. В результате Луцк был взят, и мы заняли по Стыри ту линию, которую я наметил. Тут произошел некоторый инцидент, характеризующий генералов, принимавших участие в этом наступлении. При подходе к Луцку Стельницкий доносил, что начальник 4-й стрелковой дивизии Деникин затрудняется штурмовать этот город, сильно укрепленный и защищаемый большим количеством войск. Я послал тогда телеграмму Зайончковскому с приказанием атаковать Луцк с севера, чтобы помочь Деникину. Зайончковский тотчас же сделал соответствующие распоряжения, но вместе с тем в приказе по корпусу объявил, что 4-я стрелковая дивизия взять Луцк не может и что эта почетная задача возложена на его доблестные войска. Этот приказ, в свою очередь, уколол Деникина, и он, уже не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцк, одним махом взял его, во время боя въехал на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла Луцк. В свою очередь, Зайончковский доносил, что без движения с севера Деникин Луцка взять бы не мог и что честь этого дела принадлежит XXX корпусу, в чем он, в сущности, был прав. Впоследствии оба эти генерала смотрели друг на друга очень враждебно и так примириться и не могли.

В действительности, конечно, честь этого дела принадлежит обоим корпусам. Я привел этот инцидент как пример, до чего чутки в военное время войсковые части и их начальники к своим боевым отличиям и как часто решение дела зависит от их соревнования. Деникин, который играл такую большую роль впоследствии, был хороший боевой генерал, очень сообразительный и решительный, но всегда старался заставить своих соседей порядочно поработать в свою пользу, дабы облегчить данную им для своей дивизии задачу; соседи же его часто жаловались, что он хочет приписывать их боевые отличия себе. Я считал естественным, что он старался уменьшить число жертв вверенных ему частей, но, конечно, все это должно делаться с известным тактом и в известных размерах. И нужно думать не только о себе, но главным образом—об общей пользе, что, к сожалению, не всегда бывает.

Через несколько дней после перехода нашего на Стырь воздушная разведка мне донесла, что значительные силы германцев двигаются с северо-востока на Колки,—в общем, примерно, около двух пехотных дивизий. Было ясно, что противник направил около корпуса с таким расчетом, чтобы выйти на правый фланг вверенной мне армии и, в свою очередь, постараться отбросить нас обратно на восток. Я немедленно двинул к Колкам обе дивизии XXX корпуса и усилил его 4-й стрелковой и 7-й кавалерийской дивизиями, считая эти силы совершенно

достаточными, чтобы парировать маневр германцев. Кроме того, на всякий случай я взял одну дивизию в резерв, в мое распоряжение, расположив ее в районе Клевань—Олыко. При таком расположении сил я считал свое положение крепким и вполне обеспеченным от неприятных сюрпризов.

К сожалению, на это дело в штабе фронта взглянули иначе, и совершенно неожиданно для меня в один скверный вечер, когда мои распоряжения приводились в исполнение, я получил длинную шифрованную телеграмму от главнокомандующего. По расшифровании ее, что отняло время, выяснилось, что штаб фронта предписывает произвести следующую операцию собственного измышления: правому флангу моей армии предписывалось в тот самый вечер отойти от Луцка обратно на Стубель с таким расчетом, чтобы к утру быть опять на старых позициях, XXX же корпусу с приданными ему частями спрятаться в лесу восточнее Колков, и когда германцы вытянутся по дороге из Колков на Клевань, то неожиданно ударить им во фланг, разбить их и затем вновь остальными войсками правого фланга перейти в наступление. Предписывалось этот удивительный план произвести немедленно и безоговорочно.

Я ответил шифрованной же телеграммой, что повеление главнокомандующего выполняю, но считаю долгом службы донести, что телеграмму я получил в 7 часов вечера, расшифровка взяла время, написать новые директивы также требуется время, отправка по телеграфу, расшифровка корпусными командирами новой директивы, составление новых приказов в штабах корпусов, а затем дивизий, рассылка в полки новых распоряжений, и доведение их до рот включительно требует не менее 10—12 часов. При этом такая спешка вызовет неминуемую суету и беспорядок во время этой щекотливой операции и большое неудовольствие в войсках, которые после удачного наступления должны бросать взятые с бою позиции и уходить назад. Поэтому в этот вечер ни в каком случае незаметного отхода быть не может, а состоится он с вечера другого дня. Кроме того, одним махом перескочить в течение одной ночи, когда войска двигаются медленно, со Стыри на Стубель—невозможно, так как тут около 50 верст расстояния, и в одну ночь сделать такой переход, сохраняя хоть какой-нибудь порядок, нельзя: требуется два перехода, и воздушная разведка противника выяснит наше отступление. Приказание главнокомандующего оставить в окопах разведчиков и дивизионную конницу, чтобы замаскировать наш отход, цели не достигнет, ибо артиллерию оставить с разведчиками я не могу, чтобы ее не потерять, а отсутствие артиллерии не может не быть замеченным неприятелем. Наконец, трем дивизиям пехоты и одной кавалерийской у Колков в лесу спрятаться нельзя; там масса обширных болот, германский корпус идет, очевидно, с разведкой

и не может пропустить незамеченно такую массу наших войск, войска же эти в болотах атаковать могут лишь совершенно иначе, чем на сухой местности, и никакой неожиданной атаки произойти не может. На основании всего вышеизложенного я доносил, что слагаю с себя всякую ответственность за успех этой операции. Мое донесение или, вернее, критика плана действий, мне приписанных, успеха не имела, приказание оставалось в силе и было выполнено.

Естественно, что неприятель утром же заметил наш отход, и мы с боем должны были ни с того ни с сего отступать. Точно так же и XXX корпус, как ни старался скрыться, был обнаружен немцами, и вышла обоюдная фронтальная атака, которая привела к тому, что обе стороны частью зарылись в землю, а частью в местах болотистых, которыми эта местность изобилует, начали устраивать окопы поверх земли. В результате этих действий получилось, что мой правый фланг протянулся дальше к северу до Колков на Стыри, но так как противник занял Чарторийск на левом берегу этой реки, а затем и станцию железной дороги этого наименования, то пришлось и далее протягивать мой фронт все более к северу до Кухоцкой Воли, где и был стык с III армией. На более пассивных участках пришлось поставить конницу, а не активную пехоту. Весь XXX корпус и три дивизии конницы в сущности зарыться в землю не могли, так же, как и правый фланг XXXIX корпуса; на участках расположения этих частей, вследствие сильной заболоченности этих мест, пришлось произвести громадные саперные работы. Пришлось устраивать бесконечные гати, массу мостов, окопы же не врывать в землю, а строить их из бревен, прикрытых с наружной стороны землею, так как углубляться в землю было невозможно по причине близости грунтовых вод. Материала для выполнения этих работ было сколько угодно, так как вся местность сплошь покрыта лесами. Оказалось, что хотя и с большими затруднениями и несколько иным порядком, но воевать в Полесье значительными массами можно: III армия почти вся оказалась в болотах и против нее был многочисленный противник.

Зима 1915/1916 г.

Вскоре после Луцкой операции царь приехал на Юго-западный фронт и объезжал армии. Между прочим, приехал и в Ровно, где был расположен штаб моей армии, вместе с главнокомандующим фронтом генерал-адъютантом Ивановым. Свитский поезд, прибывший за час ранее царского, чрезвычайно беспокоился, что могут появиться неприятельские самолеты, которые нас действительно постоянно посещали и бросали бомбы. Начальник царской охраны мне передал, что главнокомандующий приказал остановить

царский поезд не на железнодорожной платформе, а где-нибудь раньше, по возможности незаметно. На это я ему ответил, что в данный момент эта предосторожность совершенно излишняя, так как все небо покрыто низкими густыми тучами, и безусловно никакой неприятельский самолет появиться не может, да и у меня тут собрано восемь самолетов, которые не допустят появления неприятельского, тем более, что время клонится к вечеру.

В почетный караул я поставил роту ополчения из моего конвоя. По прибытии царь, выслушав мой рапорт, спросил, в скольких верстах от Ровно находится противник. Я ему ответил, что верстах в 25, и что приготовленная для представления ему вновь сформированная 100-я дивизия расположена в 18 верстах отсюда. При этом я считал долгом предупредить, что место, на котором она сосредоточена, находится под огнем тяжелой артиллерии противника; я добавил, что считаю вполне безопасным поездку туда, так как при тумане неприятель конечно стрелять не будет: без корректирования стрельбы он зря снарядов не выпускает. Царь вполне с этим согласился, и в автомобилях мы поехали на место смотра. По моей просьбе царь наградил несколько нижних чинов георгиевскими крестами и медалями за оказанные ими раньше боевые отличия и пропустил войска мимо себя церемониальным маршем. Его сопровождал наследник. Как и прежде, бросалось в глаза неуменье царя говорить с войсками, он как бы конфузился и не знал, что сказать, куда пойти и что делать, поэтому неудивительно, что войска были как бы замороженными и не выказали никакой радости и подъема духа. По окончании смотра царь проехал еще несколько вперед и осмотрел перевязочный пункт, где лежало несколько раненых солдат, которых нельзя было перевезти, вследствие крайне тяжелых ран, до производства операций.

Генерал Иванов в течение этой царской поездки несколько раз предлагал мне обратиться с просьбой к царю от имени армии— возложить на себя орден св. Георгия 4 степени в память того, что он находился в районе артиллерийского обстрела. Я ответил, ген. Иванову, что лично для себя не нахожу удобным обратиться к государю с этой просьбой, что он тут старший и наш главный начальник и потому, если он находит это нужным и своевременным, то может и сам просить царя об этом. Однако, для себя он нашел это тоже неудобным и, ввиду моего категорического отказа пожелал возложить это поручение на командира XXXIX корпуса ген. Стельницкого. Но Стельницкий куда-то исчез, и его найти не могли. Так желание главнокомандующего преподнести царю георгиевский крест в данный момент исполнено не было.

Все-таки вслед за этим главнокомандующий собрал георгиевскую думу при штабе фронта под председательством ген. Каледина и по его предложению дума присудила царю этот почетный

боевой орден. Иванов поручил состоявшему при нем другу детства Николая II, свиты его величества генерал-майору князю Барятинскому, отвезти протокол думы в Ставку, где кн. Барятинский, стоя на коленях, представил верховному главнокомандующему как постановление думы, так и самый крест и передал просьбу Иванова принять и возложить на себя этот орден по просьбе всех войск Юго-западного фронта. Государь согласился на эту просьбу и принял крест, который тут же надел. Впоследствии мне говорили в Ставке, что другие главнокомандующие, в особенности вел. князь Николай Николаевич, энергично протестовали против такого старательного действия Иванова, считая, что георгиевская дума ни в каком случае не могла присуждать крест царю, так как его отличия не подходили под георгиевский статут. Крест мог быть поднесен без обсуждения совершонных отличий единогласной просьбой всех главнокомандующих, но дело было уже сделано. Объяснялось такое желание Иванова заслужить отдельное благоволение царя тем, что, как рассказывали, фонды Иванова стояли очень низко и якобы генерал Алексеев сильно настаивал на необходимости смены Иванова. Этим поступком Иванов будто бы на некоторое время укрепил свое положение.

Ярко, сохранились у меня в памяти несколько дней зимних праздников 1915/16 г. В то время на фронте было затишье. Хотя неприятель обстреливал нас ежедневно и мы отвечали ему тем же, но больших боев не было, и, воспользовавшись этим, к нам в штаб приезжало много гостей. Как кинематографическая лента, ежедневно менялись у меня перед глазами впечатления: то члены Государственной думы, хотевшие со мной побеседовать, то представители различных городов и организаций с подарками на фронт, то артисты, желавшие веселить и развлекать наших воинов, то дамы со всевозможными делами, толковыми и бестолковыми. В эту зиму их было особенно много: так как я впервые позволил моей жене приехать ко мне в Ровно, то не имел права и другим отказывать в этом. Первые 17 месяцев войны я не видел своей семьи и очень сердился, когда узнавал, какое множество дам приезжало во Львов и вообще в Галицию, пока мы были там. Но запретить это было не в моей власти.

Итак на праздниках в тот год всевозможных впечатлений и суматохи было достаточно и в моем штабе.

Помню яркий, светлый день Крещенья. Мы все после службы вышли из собора, чтобы присутствовать на молебне с водосвятием и традиционным крещенским парадом. Народу собралось множество—весь мой штаб, войска, горожане, представители администрации, лазаретов, госпиталей, наши приезжие гости.

В самом начале молебна я услышал знакомый шум в воздухе и, подняв глаза, увидел на ярко-синем небе совсем низко над собором два вражеских самолета. Быстро оглядев всех близ меня

стоявших, я с радостью убедился, что все достойно и спокойно продолжают молиться, нисколько не выражая тревоги. Торжественное пение хора неслось ввысь навстречу врагу. Вдруг раздался сильный взрыв и треск упавшей бомбы. Было очевидно, что она попала в крышу одного из ближайших домов.

Молебен продолжался. Я с гордостью взглянул на группу сестер милосердия: ни одна из них не дрогнула, никакой сумятицы не произошло, все женщины и молодые девушки стояли попрежнему спокойно. Но, к ужасу своему я вдруг заметил, что голос главного священника не только дрожит, но губы его посинели, и он, бледный, как полотно, не может продолжать службы. Крест дрожит в его руке и он чуть что не падает. Спасли положение второй священник, дьякон и певчие, заглушившие этот позор перед всеми стоявшими несколько дальше. Молебен благополучно окончился. Вражеские самолеты сбросили еще несколько бомб, но попали уже в болото за городом. Наша артиллерия быстро их обстреляла и выпроводила.

После парада мне доложили, что бомба разрушила верхний этаж одного из больших домов, убила и искалечила несколько жильцов, что все необходимые меры помощи приняты, пожар потушен. Я вытребовал к себе перетрусившего священнослужителя, пробрал его и присрамил изрядно, обещая ему выслать его вон, если он не умеет держать себя достойно своему сану. Я сказал ему, что и во время прежних войн и во время нашей последней я видел и слышал о бесконечных героических подвигах духовенства, но что такой срамоты, какой он меня угостил сегодня, ни разу мне не доводилось быть свидетелем.

Тут мне хочется сказать несколько слов о сестрах милосердия. В этот день группа их представительниц порадовала меня своим спокойствием и присутствием духа во время падения бомбы. А теперь я невольно вспомнил о том, как много наветов и грязных рассказов ходило во время войны о сестрах вообще, и как это меня всегда возмущало. Спору нет, что были всякие между ними, но я считаю своим долгом перед лицом истории засвидетельствовать, что громадное большинство из них героически, самоотверженно, неустанно работали, и никакие вражеские бомбы не могли их оторвать от тяжелой, душу раздирающей работы их над окровавленными страдальцами — нашими воинами. Да и сколько из них самих было перекалечено и убито...

В тот крещенский, богатый впечатлениями день ко мне приехал ген. Никулин, старый знакомый моей жены по Одессе. Он пригласил нас всех приехать в его дивизию на праздник-маскарад, который устраивали солдаты. Я охотно согласился, и мы поехали по направлению к Клевани, поближе к передовым позициям.

Удивительно, на что только наш солдат ни способен, чего он только самодельно, с большим искусством ни наладит.

На большой поляне перед лесом, в котором были расположены землянки этой дивизии, нас поместили, как зрителей удивительного зрелища: солдаты, наряженные всевозможными народностями, зверями, в процессиях, хороводах и балаганах задали нам целый ряд спектаклей, танцев, состязаний, фокусов, хорового пения, игры на балалайках. Смеху и веселья было без конца. И вся эта музыка, шум и гам прерывались раскатами вражеской артиллерийской пальбы, которая здесь была значительно слышней, чем в штабе. А среди солдат и офицеров царило такое беззаботное веселье, что любо-дорого было смотреть.

Вскоре после этого многие из провожавших нас с этого веселого праздника были убиты и первый из них—энергичный и любимый солдатами ген. Никулин. А в ту лунную красивую ночь, когда, наконец, после чая в землянке гостеприимные хозяева нас отпустили домой, никто из них не думал о смерти, несмотря на близость неприятеля.

В этом празднике принимали участие и внесли много оживления чехи из чешской дружины. Эта дружина имеет свою маленькую историю. Почему-то Ставка не хотела ее организовать и опасалась измены со стороны пленных чехов. Но я настоял, и впоследствии оказалось, что я был прав. Они великолепно сражались у меня на фронте. Во все время они держали себя молодцами. Я посылал эту дружину в самые опасные и трудные места, и они всегда блестяще выполняли возлагавшиеся на них задачи.

Положение, в котором находилась моя армия, в особенности правый фланг ее, мне не нравилось. Я считал, что необходимо стараться откинуть противника к западу с тем, чтобы укрепиться на Стыри от Торговицы—Луцка к северу и далее на Стоход, всемерно стараясь захватить Ковель. Для выполнения этого намерения у меня не было достаточно сил; с другой стороны, ко всяким наступательным операциям главнокомандующий продолжал относиться скептически и думал, главным образом, лишь о том, чтобы не пустить врага дальше к востоку и предохранить от нашествия Киев. В это-то время его распоряжением начали воздвигаться полосы укрепленных позиций, в несколько сот верст длины каждая, и было построено несколько мостов через Днепр. Стоимость этих сооружений была колоссальная, но для защиты края они не пригодились, так как мы противника дальше не пустили.

Насколько Иванов не верил больше в стойкость войск, можно видеть из того, что укрепленные полосы стали строиться не от неприятеля в глубь страны, а обратно—от самого Киева по направлению к противнику. Когда впоследствии я был назначен главнокомандующим этим фронтом, то оказалось, что вблизи от противника никаких укреплений не было, а таковые были воздвигнуты внутри страны далеко от линии фронта. Вообще, Иванов

поставил себе целью предохранить юго-западный край от нашествия противника, но, очевидно, не особенно верил в возможность выполнить это благое намерение. Что же касается не только выигрыша войны, но даже остановки наступления врага,—в это он не верил. И в этом ничего мудреного нет, так как ни он войска, ни войска его совершенно не знали. За все время его главнокомандования он только одни раз посетил армии, причем посещение это заключалось в том, что он в двух-трех местах видел резервы, с которыми довольно-таки бестолково поговорил и уехал. Мою армию он посетил в то время, когда я стоял на Буге; утром приехал к штабу, видел, в совокупности, около 4 батальонов и вечером уехал. Понятно, что при таких условиях он пульса жизни армии не чувствовал и не знал, а вместе с тем по натуре он был очень недоверчив и самонадеянно думал, что он все знает лучше всех.

Пользуясь той задачей, которую он на себя возложил, я выпросил у него еще дивизию, 2-ю стрелковую, чтобы усилить мой правый фланг,—тем более, что фронт VIII армии, с протяжением его до Кухоцкой Воли, оказался страшно растянутым. Из 2-й и 4-й стрелковых дивизий был сформирован новый XXXX корпус, который по составу своих войск был несомненно одним из лучших во всей русской армии; этим-то корпусом, его соседом XXX корпусом и конницей я решил нанести короткий удар правым флангом в расчете отбросить немцев от Чарторыйска и захватить Колки, дабы сократить фронт и поставить врага в худшие жизненные условия в течение зимних месяцев. На 4-ю стрелковую дивизию возложена была самая тяжелая задача—взять Чарторыйск и разбить 14-ю германскую пехотную дивизию. Подготовка к вышеуказанной операции велась очень тайно, и можно сказать, что элемент внезапности был сохранен в полной мере. Немцы, стоявшие на левом берегу Стыри от Рафаловки до Чарторыйска, были разбиты на-голову, захвачено было много пленных, между прочим—почти целиком полк кронпринца германского и германская гаубичная батарея. Неприятель в большом замешательстве был отброшен к западу. Но Колки, невзирая на все усилия, взять не удалось, потому что два соседа, корпусные командиры, сговориться не сумели и только кивали один на другого и друг на друга жаловались. Виновного в нерешительности командира XXXX корпуса пришлось сместить, но время было уже упущено, германцы успели прислать серьезную поддержку своим разбитым частям, и пришлось удовольствоваться тем успехом, который мы одержали.

За эту зиму пришлось мне много повозиться с партизанскими отрядами. Иванов, в подражание войне 1812 года, распорядился сформировать от каждой кавалерийской и казачьей дивизии всех армий фронта по партизанскому отряду, причем непосредствен-

ное над ними начальство он оставил за собой. Направил он их всех ко мне в армию с приказанием снабдить их всем нужным и направить затем на северо-запад в Полесье, дав им там полный простор для действий. Это и было исполнено. Хозяйственной части армии от всей этой истории пришлось тяжко ввиду непомерного увеличения работы для снабжения партизанских отрядов вещами и деньгами. С самого начала возникли в тылу фронта крупные недоразумения с этими партизанами. Выходили бесконечные недоразумения с нашими русскими жителями, причем, признавая только лично главнокомандующего, партизаны эти производили массу буйств, грабежей и имели очень малую склонность вторгаться в область неприятельского расположения. В последнем отношении я их вполне оправдывал, ибо в Пинских болотах производить кавалерийские набеги было безусловно невозможно, и они, даже если бы и хотели вести конные бои, ни в каком случае не могли этого исполнить. Единственная возможность производить набеги, и то с большими затруднениями,—это делать их пешком, взяв провожатого из местных жителей. При таких условиях в болотах, местами бездонных, можно было пробираться по тропинкам в тыл противника, но держаться там долго нельзя было, так как они были бы изловлены немцами. Соседняя со мной III армия, входившая в состав Западного фронта, несколько раз жаловалась мне на безобразия, которые партизаны творили и у нее в тылу, о чем я немедленно доносил главнокомандующему на распоряжение. Однако, и Иванов с ними ничего поделать не мог, ибо, наблудив в одном каком-нибудь месте, они перескакивали в другое и, понятно, адреса своего не оставляли. Единственное хорошее дело, которое за всю зиму они совершили, был наскок на Нобель, поскольку мне помнится. Три команды партизанов, соединившись вместе и оставив своих лошадей дома, пешком пробрались сквозь болота ночью и перед рассветом напали на штаб германской пехотной дивизии, причем захватили и увели с собой в плен начальника дивизии с несколькими офицерами. Этот злостный начальник дивизии, находясь в плену, сделал вид, что хотел бриться и бритвой перерезал себе горло.

Думаю, что если уже признано было нужным учреждать партизанские отряды, то следовало их формировать из пехоты, и тогда, по всей вероятности, они сделали бы несколько больше. Правду сказать, я не мог никак понять, почему пример 1812 года заставлял нас устраивать партизанские отряды, по возможности придерживаясь шаблона того времени: ведь обстановка была совершенно другая, неприятельский фронт был сплошной, и действовать на сообщения, как в 1812 году, не было никакой возможности. Казалось бы, нетрудно сообразить, что при позиционной войне миллионных армий действовать так, как 100 лет тому назад, не имело никакого смысла. В конце-концов, весной партизаны

были расформированы, не принеся никакой пользы, а стоили громадных денег, и пришлось некоторых из них, поскольку мне помнится, по суду расстрелять, других сослать в каторжные работы за грабеж мирных жителей и за изнасилование женщин. К сожалению, этими злосчастными партизанами не один наш главнокомандующий увлекся, но и вновь назначенный походный атаман вел. князь Борис Владимирович последовал его примеру, и по его распоряжению во всех казачьих частях всех фронтов были сформированы партизаны, которые, как и на нашем фронте, болтались в тылу наших войск и, за неимением дела, производили беспорядки и наносили обиды ничем неповинным жителям, русским подданным. Попасть же в тыл противника при сплошных окопах от моря и до моря и думать нельзя было. Удивительно, как здравый смысл часто отсутствует у многих казалось бы умных людей.

В течение зимы 1915/16 года, стоя все время на одних и тех же позициях, мы их постепенно усовершенствовали и они стали приобретать тот вид, который при современной позиционной войне дает большую устойчивость войскам: каждая укрепленная полоса имела от 3 до 4 линий окопов полной профили и с многочисленными ходами сообщения. Строили также пулеметные гнезда и убежища, но не пользовались для этой цели, как германцы и австрийцы, железобетоном, а строили убежища, зарываясь глубоко в землю и прикрываясь сверху несколькими рядами бревен с расчетом, чтобы такой потолок мог выдержать 6-дюймовый снаряд. Убежища вообще подвигались туго, их было очень мало, и, правду сказать, я не особенно наседал на их развитие, так как они представляют собой не только прикрытие от артиллерийского огня, но и ловушки: спрятанный в убежище гарнизон данного участка, в случае проникновения противника в окопы, почти неизбежно целиком попадал в плен. Нужно признать, что австрийцы и германцы укреплялись лучше нас, более основательно и у них в окопах было гораздо удобнее жить, нежели в наших. Помимо довольно широкого применения железобетонных сооружений, у них во многих местах было проведено электричество, разведены садики и блиндированные помещения как для офицеров, так и для солдат. Я совершенно не гнался за этими усовершенствованиями, но старался о том, чтобы обставить жизнь людей возможно более гигиенично, чтобы они были хорошо одеты по сезону и хорошо кормлены, чтобы было возможно больше бань.

В последнем отношении Всероссийский земский союз оказал нам прямо-таки неизмеримую пользу. Ни от каких задач союз этот не отказывался, и его деятели клали, в полном смысле этого слова, душу свою для того, чтобы возможно быстрее и основательнее выполнять то или другое задание. И Союз городов при-

нес большую пользу, но, по крайней мере у меня в VIII армии, Земский союз был более деятелен, и считаю долгом совести засвидетельствовать, что благодаря его работе никогда никакие инфекционные болезни не принимали обширных размеров; при появлении какой-либо заразной болезни мы быстро справлялись с инфекцией, и войска от болезней страдали мало, в особенности по сравнению с санитарным состоянием войск в прежних войнах.

В течение этой зимы, мы усердно обучали войска и из неучей делали хороших боевых солдат, подготовляя их к наступательным операциям в 1916 году. Постепенно и техническая часть поправлялась в том смысле, что стали к нам прибывать винтовки, правда различных систем, но с достаточным количеством патронов; артиллерийские снаряды, по преимуществу легкой артиллерии, стали также отпускаться в большом количестве; прибавили число пулеметов и сформировали в каждой части так называемых гренадер, которых вооружили ручными гранатами и бомбами. Войска повеселели и стали говорить, что при таких условиях воевать можно и есть полная надежда победить врага. Лишь воздушный флот, по сравнению с неприятельским, был чрезмерно слаб. Между тем, помимо воздушной разведки и снятия фотографий неприятельских укреплений, самолеты имели еще незаменимое значение при корректировании стрельбы тяжелой артиллерии. Много раз обещали увеличить число самолетов, но так это одним обещанием и осталось. Не было у нас также и танков, и поэтому я очень обрадовался, когда было сообщено, что таковые будут присланы из Франции; но и это обещание до конца моей работы на фронте выполнено не было [29]. К ранней весне в каждой пехотной дивизии было от 18 до 20 тысяч человек, вполне обученных, и от 15 до 18 тысяч винтовок в полном порядке и с изобилием патронов. Износившиеся орудия были заменены новыми, и мы могли жаловаться только на то, что тяжелой артиллерии у нас было еще далеко недостаточно, хотя и ее несколько прибавилось. По состоянию духа войск вверенной мне армии и, как я скоро убедился, и других армий Юго-западного фронта мы находились, по моему убеждению, в блестящем состоянии и имели полное право рассчитывать сломить врага и вышвырнуть его вон из наших пределов.

Мы все были страшно огорчены, когда в декабре 1915 года было произведено чрезвычайно неудачное наступление VII армии. Она сначала была перевезена к Одессе для того, чтобы быть направленной в Болгарию, которая объявила нам войну. Вновь назначенный командующий этой армии ген. Щербачев, как он мне сам впоследствии рассказывал, отговорил Николая II отправить эту армию в Болгарию, полагая, что у нее там не было никаких шансов на успех и что было бы лучше быстро перебросить ее

на Юго-западный фронт, чтобы прорвать расположение противника, и, присоединяя к этому прорыву общее наступление всех войск фронта, отбросить австро-германцев возможно далее к западу [30]. С этим предложением государь согласился.

До меня доходили довольно верные сведения из штаба фронта, что ген. Иванов был расстроен этой новой наступательной операцией и вперед решил, что она никаких благих результатов дать не может. Действительно, эта операция была так скомбинирована штабом фронта, что она успеха иметь не могла. Останавливаться на ней я не буду, так как она меня не касалась. Скажу лишь вкратце, что армии Щербачева, долженствовавшей представлять из себя ударную группу, был отведен слишком широкий фронт и потому у него резервов оказалось недостаточно, а два гвардейских корпуса, резерв главнокомандующего, последний Щербачеву не передал, а хотел использовать их в другом месте после успешного прорыва VII армии. Таким образом, Щербачеву пришлось наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами. Кроме того, слепо следуя германскому примеру прорыва нашей III армии весной того же 1915 года, штаб фронта распорядился, чтобы все остальные армии стояли на месте, отнюдь не предпринимали каких-либо наступательных операций до полной победы VII армии и только вели демонстрации артиллерией и поисками разведчиков. При условии, что артиллерийские снаряды следовало беречь, а устраивать каких-либо особых поисков разведчиков было нельзя, так как мы стояли почти по всему фронту с противником нос к носу, очевидно, что о сильных демонстрациях и разговаривать нечего было и надуть противника было совершенно невозможно. Ведь это—азбучная истина, что демонстрация только тогда достигает своей цели, когда она ведется решительно и когда войска сами не знают, что это только демонстрация, а не настоящая атака.

Подобная чепуха меня сильно возмущала, и я просил разрешения главнокомандующего устроить свою ударную группу своими собственными средствами и войсками и устроить такую демонстрацию, которая притянула бы к себе все неприятельские резервы, стоявшие против моей армии. На это мое предложение я получил резкий и безапелляционный отказ. Поэтому я не был удивлен, когда во время боевых действий VII армии моя воздушная разведка мне донесла, что резервы противника потянулись на запад, понятно—против VII армии; мы же, находясь в полной боевой готовности, высылали команды разведчиков, которые по ночам бесцельно болтались между нашими проволочными заграждениями и проволочными заграждениями противника. В результате наступление VII армии, как это и было неизбежно, потерпело полное крушение. Армия понесла громадные потери и успеха никакого не имела. В штабе фронта все, с Ивановым и

Саввичем во главе, отчаянно ругали и проклинали Щербачева и считали его виновником неудачи, но и Щербачев в этом отношении не отставал от них и с лихвой возвращал им их обвинения. Будучи ни в чем не причастным к этому печальному делу, я по всей справедливости считаю, что главным виновником неудачи был, несомненно, сам Иванов с его штабом, а никак не Щербачев.

Я был уведомлен о предположениях Ставки поручить главную наступательную операцию летом 1916 года Западному фронту, которую ближайшим образом должны поддержать армии Северо-западного фронта, и о том, что армии нашего фронта обречены на бездействие, пока те фронты не обозначат явного успеха и не продвинутся вперед. Но, на всякий случай, в своей VIII армии я усердно подготовлял наступление, выбрав соответствующий главный ударный участок направлением на Луцк и два вспомогательных ударных участка, соответствующим образом перегруппировывая свои войска.

1916 год.

Назначение главнокомандующим Юго-западным фронтом.

Совершенно неожиданно в половине марта 1916 года я получил шифрованную телеграмму из Ставки от ген. Алексеева, в которой значилось, что я избран верховным главнокомандующим на должность главнокомандующего Юго-западным фронтом взамен Иванова, который назначается состоять при особе царя, посему мне надлежит немедленно принять эту должность, так как 25 марта царь прибудет в Каменец-Подольск для осмотра IX армии, стоявшей на левом фланге фронта. Я ответил, что приказание выполню и испрашиваю назначить вместо меня командующим VIII армией начальника штаба фронта генерала Клембовского.

На это я получил ответ, что государь его не знает и что, хотя он меня не стесняет в выборе командующего армией, но с своей стороны считает нужным усиленно рекомендовать ген. Каледина,— государь был бы доволен, если бы я остановился на этом лице. Я имел раньше случай сказать, что ген. Каледина я считал выдающимся начальником дивизии, но как командир корпуса он выказал себя значительно хуже; тем не менее, поскольку я ничего против него не имел, поскольку за все время кампании он вел себя отлично и заслужил два георгиевских креста и георгиевское оружие, был тяжело ранен и, еще не вполне оправившись, вернулся обратно в строй,—у меня не было достаточных оснований, чтобы отклонить это высочайшее предложение, забраковать опытного и храброго генерала лишь потому, что по моим соображениям и внутреннему чувству я считал его слишком

вялым и нерешительным для занятия должности командующего армией. Впоследствии я сожалел, что в данном случае уступил, так как на боевом опыте, к сожалению, оказалось, что я был прав и что Каледин, при всех своих достоинствах, не соответствовал должности командующего армией.

Я протелеграфировал Иванову, испрашивая у него указания, когда ему будет угодно, чтобы я прибыл для принятия его должности. Он мне ответил, что это от меня зависит, но генерал-квартирмейстер штаба фронта Дидерихс вызвал моего начальника штаба Сухомлина и передал ему, что Иванов очень стесняется быстро уезжать, что мое скорое прибытие в Бердичев будет для него весьма неудобным, так как ему нужно закончить разные дела, и что было бы с моей стороны хорошо, если бы я отсрочил свое прибытие, тем более, что Иванов получил извещение министерства двора, в котором значится, что ему пока не следует уезжать из Бердичева. Этим сообщением я был поставлен в крайне неловкое положение: с одной стороны, Алексеев именем государя требует, чтобы я ехал возможно скорее принимать должность главнокомандующего; с другой же стороны, неофициально передается по прямому проводу, что именем государя же министр двора предлагает Иванову оставаться на месте. Так как я решительно ничего не домогался, никаких повышений не искал, ни разу из своей армии никуда не уезжал, в Ставке ни разу не был и ни с какими особыми лицами о себе не говорил, то лично для меня, в сущности, было решительно все равно, принимать ли новую должность или остаться на старой. Но так как в телеграмме Алексеева было сказано, что царь прибудет в Каменец-Подольск 25 марта и мне приказано там его встретить, а времени оставалось очень мало, чтобы ознакомиться с фронтом, то я телеграммой изложил все вышесказанное Алексееву, спрашивая, что же мне делать. Я получил ответ, что если я не могу сейчас ехать в штаб фронта, то чтобы я хотя бы вытребовал к себе начальника штаба или генерал-квартирмейстера штаба армий фронта, дабы ознакомиться хоть несколько с положением дел.

Помимо четырех армий главнокомандующему фронтом непосредственно и во всех отношениях подчинялись еще округа Киевский и Одесский, всего же 12 губерний, не исключая их гражданской части. Не желая отрывать начальника штаба фронта от дела, я вытребовал к себе генерал-квартирмейстера Дидерихса, человека очень способного и отлично знающего свое дело. Он мне сделал подробный доклад, вполне меня удовлетворивший, и я ему объяснил недоразумение, которое, по необъяснимым для меня причинам, неожиданно явилось между мной и ген. Ивановым. Я просил его доложить Иванову, что я, бывший его подчиненный, не считаю себя в праве покидать армии без его приказания, так как пока, он не сдал должности главнокомандующего, он и

поныне состоит моим прямым начальником, и что без его распоряжения я в Бердичев не поеду и предупреждаю, что, не приняв на законном основании должности главкоюза, я в Каменец-Подольск тоже не поеду. Это мое заявление повергло Иванова, повидимому, в большое смятение, и он мне протелеграфировал, что он меня уже давно ждет и совсем не понимает, почему я до сих пор не приехал. Тогда я сдал должность командующему армией генералу Каледину, которого заранее вытребовал в Ровно, и отправился к новому месту служения.

Прибыл я в Бердичев экстренным поездом 23 марта и был встречен там начальником штаба Клембовским и главным начальником снабжения армий фронта Мавриным. Я сейчас же спросил у первого из них, когда и где я могу представиться генералу Иванову. Он мне ответил, что Иванов живет теперь в поезде главнокомандующего в своем вагоне и меня просит пожаловать к нему в 8 часов вечера. На мой вопрос, как обстоят дела на фронте армий, Клембовский мне доложил, что все обстоит благополучно и кроме обыденной перестрелки на фронте ничего не происходит, но что получено известие, что командующий IX армией ген. Лечицкий опасно заболел воспалением легких и требуется назначить ему временного заместителя. Я указал из числа корпусных командиров IX армии на ген. Крымова, который, по моему мнению, наиболее соответствовал этому назначению; хотя он и не был старшим корпусным командиром, но я считал, что при назначениях на такие должности старшинство никакого значения не имеет. Я приказал поставить мой вагон рядом с вагоном Иванова, а сам поехал осмотреть мою квартиру и сделать визиты генералам Клембовскому и Маврину.

Вечером отправился я к Иванову, которого застал в полном отчаяньи: он расплакался навзрыд и говорил, что никак не может понять, почему он смещен; я также не мог ему разъяснить этот вопрос, так как решительно ничего не знал. Про дела на фронте мы говорили мало; он мне только сказал, что, по его мнению, никаких наступательных операций мы делать не в состоянии и что единственная цель, которую мы можем себе поставить, это предохранить Юго-западный край от дальнейшего нашествия противника. В этом я с ним в корне расходился, что и высказал ему, но его мнения упорно не критиковал, находя это излишним: в дальнейшем не он, а уже я имел власть решать образ действий войск Юго-западного фронта, а потому я нашел излишним огорчать и без того нравственно расстроенного человека.

Засим мы пошли ужинать в вагон-столовую, где собрались состоявшие при Иванове лица, которые мне тут же и представились. До меня уже доходили сведения, что они все полагали, что я их немедленно разгоню,—поэтому я им объявил, что они все остаются на своих местах и что пока я решительно никаких

перемен не предполагаю делать. Ужин был очень печальный, все сидели, как опущенные в воду, глядя на Иванова, который не мог удерживать своих слез. Он меня тут же спросил, может ли он еще несколько дней оставаться в штабе фронта; я ему ответил, что это вполне от него зависит, но что я должен вступить теперь же в исполнение моих обязанностей. В следующие два дня я познакомился с моими новыми сослуживцами по штабу фронта и управления при главном начальнике снабжения армий фронта, вошел в курс дела и затем уехал в Каменец-Подольск, чтобы попутно, перед встречей там царя, ознакомиться с положением дел IX армии и посетить какой-либо боевой участок фронта. Прибыв в Каменец-Подольск, я посетил ген. Лечицкого в разгаре его болезни, принял доклад его начальника штаба и поехал на следующий день на боевой участок 74-й пехотной дивизии. Эта дивизия была сформирована в Петербурге по преимуществу из швейцаров и дворников и осенью 1914 года в III армии высказала весьма плохие боевые свойства, причем Радко-Дмитриев принужден был сместить начальника дивизии и назначить нового. Мне интересно было посмотреть, какой вид имеет эта дивизия в настоящее время. Обошел я ее окопы, осмотрел части, находившиеся в резерве, и остался очень доволен ее состоянием.

На следующий день в Каменец-Подольске я встретил вечером царя, который, обойдя почетный караул, пригласил меня к себе в вагон и спросил, какое у меня вышло столкновение с Ивановым и какие разногласия выяснились в распоряжениях генерала Алексеева и графа Фредерикса по поводу смены генерала Иванова. Я ответил, что у меня лично никаких столкновений и недоразумений с Ивановым нет и не было, а в чем заключается разногласие между распоряжениями ген. Алексеева и графа Фредерикса— мне неизвестно, так как я получил распоряжения только от ген. Алексеева, а от графа Фредерикса никаких сообщений или приказаний не получал, и мне кажется, что дела военного ведомства, тем более на фронте, графа Фредерикса не касаются. Затем царь спросил меня, имею ли я что-либо ему доложить. Я ему ответил, что имею доклад и весьма серьезный, заключающийся в следующем: в штабе фронта я узнал, что мой предшественник категорически донес в Ставку, что войска Юго-западного фронта не в состоянии наступать, а могут только обороняться. Я лично безусловно не согласен с этим мнением; напротив, я твердо убежден, что ныне вверенные мне армии после нескольких месяцев отдыха и подготовительной работы находятся во всех отношениях в отличном состоянии, обладают высоким боевым духом и к 1 мая будут готовы к наступлению, а потому я настоятельно прошу предоставления мне инициативы действий, конечно—согласованно с остальными фронтами. Если же мнение, что Юго-западный фронт не в состоянии наступать, превозможет и мое мнение не

будет уважено, как главного ответственного лица в этом деле, то в таком случае мое пребывание на посту главнокомандующего не только бесполезно, но и вредно и в этом случае прошу меня сменить.

Государя несколько передернуло, вероятно—вследствие столь резкого и категорического моего заявления, тогда как по свойству его характера он был более склонен к положениям нерешительным и неопределенным. Никогда он не любил ставить точек над и и тем более не любил, чтобы ему преподносили заявления такого характера. Тем не менее, он никакого неудовольствия не высказал, а предложил лишь повторить мое заявление на военном совете, который должен был иметь место 1 апреля, причем сказал, что он ничего не имеет ни за ни против и чтобы я на совете сговорился с его начальником штаба и другими главнокомандующими.

Не успел я выйти из вагона государя, как ко мне подошел камер-лакей с приглашением итти к министру двора, который желает меня видеть. Граф Фредерикс обнял меня, поцеловал, хотя я с ним никогда близок не был, и поздравил с новым назначением. Усадив меня, он начал меня уверять, что против меня решительно ничего не имеет, никакой интриги по поводу моего назначения не знает и что его телеграмма генерал-адъютанту Иванову совершенно не касалась его смены и моего назначения, до которых ему дела нет. Он заверял меня, что чрезвычайно обрадовался, что выбор пал на меня, так как было несколько кандидатов, и он будет стараться меня поддерживать; если же мне понадобится что-либо секретно доводить до сведения государя, то он вообще всегда будет к моим услугам. Я ему ответил, что за все ласковые слова я сердечно благодарю, но что по принципу, которым руководствовался всю свою жизнь, я никогда ничего не искал и лично для себя ничего не добивался, что буду исполнять мой долг так же, как и раньше, от всей души, но просить чего-либо ни в каком случае не буду. На этом наша беседа и закончилась; мы еще раз обнялись, и я ушел к себе в вагон. Так я, в сущности, и не узнал, какая интрига велась против моего назначения и кто ее вел.

На другое утро царь поехал осматривать вновь сформированную 3-ю Заамурскую пехотную дивизию и нашел ее в прекрасном состоянии. Как и в предыдущие разы, воодушевления у войск никакого не было. Ни фигурой, ни уменьем говорить царь не трогал солдатской души и не производил того впечатления, которое необходимо, чтобы поднять дух и сильно привлечь к себе сердца. Он делал, что мог, и обвинять его в данном случае никак нельзя, но благих результатов в смысле воодушевления он вызывать не мог. После смотра этой дивизии мы направились дальше, ближе к противнику, и там состоялся смотр всего IX армей-

ского корпуса, который находился в резерве. Смотр был произведен обычным порядком, ничего достопримечательного не произошло, за исключением разве того, что во время смотра был налет неприятельских самолетов, который им не удался, так как в предвидении их посещения, которое могло повести за собой большие жертвы при метании бомб в собранный вместе целый корпус, было размещено несколько зенитных батарей и наша флотилия самолетов. Когда неприятельские аппараты показались, наши зенитные батареи начали их усердно обстреливать и отогнали их обратно.

В общем, имея в виду близость неприятельского фронта от Каменец-Подольска, частые налеты самолетов противника на Каменец-Подольск и невозможность полного обеспечения царского поезда от бросаемых ими бомб, я старался уговорить царя сократить свое пребывание в Каменец-Подольске, в чем меня поддерживал и граф Фредерикс, но царь ни за что не соглашался изменить свой маршрут и уехал лишь после двухсуточного пребывания. В тот же вечер, часа два спустя после отхода императорского поезда, и я отправился прямо в Могилев на военный совет, который должен был состояться 1 апреля. Мой начальник штаба ген. Клембовский соединился со мной для этой поездки в Казатине, и мы безостановочно проехали в Могилев, куда и прибыли 1 апреля утром.

Замысел и подготовка наступления.

На военном совете под председательством самого императора присутствовали: главнокомандующий Северо-западным фронтом генерал-адъютант Куропаткин со своим начальником штаба Сиверсом, главнокомандующий Западным фронтом Эверт, также со своим начальником штаба, я с генералом Клембовским, Иванов, военный министр Шуваев, полевой генерал-инспектор артиллерии вел. князь Сергей Михайлович и начальник штаба верховного главнокомандующего Алексеев.

Главный вопрос, который нужно было решить на этом совещании, состоял в выработке программы боевых действий на 1916 год [31]. Генерал Алексеев доложил совещанию, что предрешено передать всю резервную тяжелую артиллерию и весь общий резерв, находящийся в распоряжении верховного главнокомандующего, на Западный фронт, который должен нанести свой главный удар направлениям на Вильно; некоторую часть тяжелой артиллерии и войск общего резерва предполагается передать на Северо-западный фронт, который своей ударной группой также должен наступать с северо-востока на Вильно, помогая этим выполнению задачи Западного фронта; что касается вверенного мне Юго-западного фронта, то как уже было признано, что

этот фронт к наступлению не способен, то он должен держаться строго оборонительно и перейти в наступление лишь тогда, когда оба его северных соседа твердо обозначат свой успех и достаточно выдвинутся к западу. Затем слово было предоставлено ген. Куропаткину, который заявил, что на успех его фронта рассчитывать очень трудно и что, по его мнению, как это видно из предыдущих неудачных попыток к наступлению, прорыв фронта немцев совершенно невероятен, ибо их укрепленные полосы настолько развиты и сильно укреплены, что трудно предположить удачу; скорее, нужно полагать, мы понесем громадные безрезультатные потери. С этим Алексеев не соглашался. Однако, он заявил, что, к сожалению, у нас нехватает в достаточном количестве тяжелых снарядов. На это военный министр заявил, а полевой генерал-инспектор добавил, что в данное время легкие снаряды они могут получить в громадном количестве, но что касается тяжелых, то отечественная военная промышленность их пока дать не может, из-за границы получить нам их также очень трудно и определить время, когда улучшится дело снабжения тяжелыми снарядами, они не могут, во всяком случае— не этим летом. Затем было предоставлено слово Эверту. Он, в свою очередь, сказал, что всецело присоединяется к мнению Куропаткина, в успех не верит и полагает, что лучше было бы продолжать держаться оборонительного образа действий до тех пор, пока мы не будем обладать тяжелой артиллерией по крайне мере в том же размере, как наш противник, и не будем получать тяжелых снарядов в изобилии.

После этого слово было предоставлено мне. Я заявил, что, несомненно желательно иметь большее количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов, выключив устаревшие, износившиеся. Но и при настоящем положении дел в нашей армии я твердо убежден, что мы можем наступать. Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю, но Юго-западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать и полагаю, что у нас есть все шансы для успеха, в котором я лично убежден. На этом основании я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться. Я считаю, что недостаток, которым мы страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы прекратить противнику возможность пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям, и потому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию. В результате всегда оказывается, что на участке, который атакуется, он в назначенное время всегда сильнее нас и в техническом и в количественном отношениях.

Поэтому я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями; если бы, паче чаяния, я даже и не имел бы никакого успеха, то по меньшей мере не только задержал бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов на себя и этим могущественным образом облегчил бы задачу Эверта и Куропаткина.

На это ген. Алексеев мне ответил, что в принципе у него никаких возражений нет, но он считает долгом предупредить, что я ничего не получу вдобавок к имеющимся у меня войскам: ни артиллерии, ни большего числа снарядов, которые по сделанной ими разверстке мне причитаются. На это я, в свою очередь, ему ответил, что я ничего и не прошу, никаких особых побед не обещаю, буду довольствоваться тем, что у меня есть, но войска Юго-западного фронта будут знать вместе со мной, что мы работаем на общую пользу и облегчаем работу наших боевых товарищей, давая им возможность сломить врага. На это никаких возражений не последовало, но Куропаткин и Эверт, после моей речи, несколько видоизменили свои заявления и сказали, что они наступать могут, но с оговоркой, что ручаться за успех нельзя. Очевидно, что такого ручательства ни один военачальник никогда и нигде дать не мог, хотя бы он был тысячу раз Наполеон. Было условлено, что на всех фронтах мы должны быть готовы к половине мая. Остальные разбиравшиеся на военном совете вопросы были по преимуществу хозяйственные и в настоящее время утратили свой интерес, поэтому я о них упоминать не буду. Председательствовавший верховный главнокомандующий прениями не руководил, а обязанности эти исполнял Алексеев. Царь же все время сидел молча, не высказывал никаких мнений, а по предложению Алексеева своим авторитетом утверждал то, что решалось прениями военного совета, и выводы, которые делал Алексеев. Мы завтракали и обедали за высочайшим столом в промежутках между заседаниями.

По окончании военного совета, когда мы направились к обеду, ко мне подошел один из заседавших старших генералов и выразил свое удивление, что я как бы напрашиваюсь на боевые действия; между прочим он сказал: «Вы только что назначены главнокомандующим, и вам притом выпадает счастье в наступление не переходить, а следовательно и не рисковать вашей боевой репутацией, которая теперь стоит высоко. Что вам за охота подвергаться крупным неприятностям, может быть, смены с должности и потери того военного ореола, который вам удалось заслужить до настоящего времени. Я бы на вашем месте всеми силами открещивался бы от каких бы то ни было наступательных операций, которые при настоящем положении дела могут вам лишь сломать шею, а личной пользы вам не принесут». На это я ответил этому генералу, что я о своей личной пользе не мечтаю и

решительно ничего для себя не ищу, нисколько не обижусь, если меня за негодность отчислят, но считаю долгом совести и чести действовать на пользу России, поскольку я ее понимаю. Повидимому, этот генерал отошел от меня очень недовольный этим ответом, пожимая плечами и смотря на меня с сожалением.

В этот же вечер я уехал обратно во-свояси в Бердичев. Тотчас по приезде я вытребовал всех командующих армиями с их начальниками штабов в Подволочиск, как наиболее центральный для них пункт, чтобы сговориться относительно плана действий на это лето и отдать им нужные приказания. Вообще, в принципе я враг всяких военных советов и не для того собрал командующих армиями, чтобы спросить их мнения о возможности или плане военных действий, но считал весьма важным перед решающими событиями собирать своих ближайших сотрудников для того, чтобы лично изложить им мои решения и в случае каких-либо недоразумений разъяснить те пункты, которые им неясны или различно понимаются. При таких условиях есть возможность соседям сговориться друг с другом и в дальнейшем избегнуть шероховатостей и споров, которые иначе неизбежны.

Собраны были мною на совещание: командующий VIII армии генерал Каледин, командующий XI армией Сахаров, командующий VII армией Щербачев и временный командующий IX армяей Крымов, так как Лечицкий был еще болен. Я изложил им положение дела и мое решение—непременно в мае месяце перейти в наступление. На это Щербачев доложил, что я его лично давно знаю и, наверное, не сомневаюсь в его стремлении неизменно действовать активно, но что в настоящее время он считает наступательные действия очень рискованными и нежелательными. На это я ему ответил, что я собрал командующих армиями не для того, чтобы решать вопрос об активном или пассивном образе действий армий фронта, а для того, чтобы лично отдать приказания о подготовке к атаке противника, которая бесповоротно мною решена. Необходимо, следовательно, в данном случае обсудить вопрос, какая роль выпадет на долю каждой из армий при предстоящем наступлении, и строго согласовать их действия. Я при этом предупредил, что никаких колебаний и отговорок ни от кого ни в каком случае принимать не буду.

Затем я изложил мой взгляд на порядок атаки противника, который расходился довольно крупно с тем порядком, который, по примеру немцев, считался к этому моменту войны исключительно пригодным для прорыва фронта противника в позиционной войне. До начала этой войны считалось аксиомой, что атаковать противника с фронта (в полевой войне) почти невозможно ввиду силы огня; во всяком случае, такие лобовые удары требовали больших жертв и должны были дать мало результатов; решения боя следовало искать на флангах, сковав войска про-

тивника на фронте огнем, резервы же сосредоточивать на одном или на обоих флангах, в зависимости от обстановки, для производства атаки, а в случае полной удачи—и окружения. Однако, когда полевая война вскоре перешла на позиционную и благодаря миллионным армиям вылилась в сплошной фронт от моря до моря, то только что описанный образ действий оказался невозможным. И вот немцы, под названием фаланги и разными другими наименованиями применили такой образ действий, при котором атака в лоб должна была иметь успех, так как флангов ни у одного из противников не было ввиду сплошного фронта. Собиралась огромная артиллерийская группа разных калибров до 12-дюймовых включительно и сильные пехотные резервы, которые сосредоточивались на избранном для прорыва противника боевом участке. Подготовка такой атаки должна была начаться сильнейшим артиллерийским огнем, который должен был смести проволочные заграждения и уничтожить неприятельские укрепления с их защитниками. И затем атака пехоты, поддержанная артиллерийским огнем, должна была неизменно увенчаться успехом, т. е. прорывом фронта и в дальнейшем уширением прорванного фронта. Очевидно, противник должен был уходить с тех участков, которые не были атакованы.

Такой способ действий в 1915 году дал полную победу австрогерманцам над русской армией, отбросив нас далеко на восток: и противник занял чуть ли не четверть Европейской России, захватил около двух миллионов пленных, несколько крепостей и неисчислимый военный материал разного рода. Для объяснения такого удивительного успеха этого способа действий следует, по справедливости, присовокупить, что в 1915 году наши укрепленные полосы были устроены ниже всякой критики, никаких целесообразных мер противодействия мы не предпринимали, тяжелой артиллерии у нас почти совсем не было и, наконец, самое главное—у нас вообще не было никаких огнестрельных припасов. В тех же случаях, когда принимались соответствующие меры для противодействия, прорыв фронта вышеозначенным способом успеха не имел. Дело в том, что такая подготовка к прорыву фронта при наличии воздушной разведки секретной быть не может: подвоз артиллерии, громадное количество огнестрельных припасов, значительное сосредоточение войск, интендантских складов и т. д.—требует много времени, и скрыть все это мудрено. Самая подготовка к атаке, т. е. расстановка артиллерии различных калибров, причем каждая артиллерийская группа получает свою особую задачу, а каждый род артиллерии свое особое назначение, устройство телефонной связи и наблюдательных пунктов, устройство плацдарма, чтобы довести свои передовые окопы до окопов противника на 200—300 шагов, на что требуются громадные земляные работы,—все это требует не менее 6—8 недель

времени. Следовательно, противник, безошибочно определив выбранный пункт удара, имеет полную возможность собрать к назначенному месту и свою артиллерию и свои резервы и принять все меры для того, чтобы отразить удар.

На Западном и Северо-западном фронтах были выбраны на каждом по одному участку фронта, куда уже свозились все необходимые материалы для атаки по вышеизложенному способу, и на военном совете 1 апреля ген. Алексеев предупреждал главнокомандующих, в особенности Эверта, о необходимости избежать преждевременного сосредоточения резервов, дабы не открыть противнику своих карт. На это вполне резонно Эверт ответил, что скрыть место нашего удара все равно невозможно, так как земляные работы для подготовки плацдарма раскроют противнику наши намерения.

Во избежание вышеуказанного важного неудобства я приказал не в одной, а во всех армиях вверенного мне фронта подготовить по одному ударному участку, а кроме того в некоторых корпусах выбрать каждому свой ударный участок и на всех этих участках немедленно начать земляные работы для сближения с противником. Благодаря этому на вверенном мне фронте противник увидит такие земляные работы в 20—30 местах, и даже перебежчики не будут в состоянии сообщать противнику ничего иного как то, что на данном участке подготовляется атака. Таким образом, противник лишен возможности стягивать к одному месту все свои силы и не может знать, где будет ему наноситься главный удар. У меня было решено нанести главный удар в VIII армии, направлением на г. Луцк, куда я и направлял мои главные резервы и артиллерию, но и остальные армии должны были наносить каждая, хотя и второстепенные, но сильные удары, и, наконец, каждый корпус на какой-либо части своего боевого участка сосредоточивал возможно большую часть своей артиллерии и резервов, дабы сильнейшим образом притягивать на себя внимание противостоящих ему войск и прикрепить их к своему участку фронта.

Правда, этот способ действий имел, очевидно, свою обратную сторону, заключавшуюся в том, что на месте главного удара я не мог сосредоточить того количества войск и артиллерии, которое там было бы, если бы вместо многочисленных ударных групп у меня была бы только одна. Каждый образ действий имеет свою обратную сторону, и я считал, что нужно выбрать тот план действий, который наиболее выгоден для данного случая, а не подражать слепо немцам. Припомним, что 1 апреля на военном совете в Ставке мне лишь условно было разрешено выбрать момент и атаковать врага с тем, чтобы помочь Эверту успешно нанести главный удар и не допускать посылки противником подкреплений с моего фронта. В то время, когда я

излагал мои соображения, мои сотрудники, видя, сколь я уклоняюсь от общепринятого шаблона атаки, очень смущались, а Каледин доложил, что он сомневается в успехе дела и думает, что едва ли его главный удар приведет к желательным результатам, тем более, что на Луцком направлении неприятель в особенности основательно укрепился.

На это я ему ответил, что VIII армию я только что ему сдал, неприятельский фронт там знаю лучше его и что я выбрал для главного удара именно это направление и подготовлял там все предварительные работы, потому что мы главным образом должны помочь Западному фронту, на который возлагаются наибольшие надежды, а следовательно VIII армия, ближайшая к Западному фронту, своим наступлением скорее всего поможет Эверту. Кроме того, движением XXIV корпуса вдоль полотна железной дороги на Маневичи—Ковель, а ударной группой от Луцка на Ковель же при настоящем располажении войск противник легко будет захвачен в клещи, и тогда все войска противника, расположенные у Пинска и севернее, должны будут без боя очистить эти места. Если же ген. Каледин все-таки не надеется на успех, то я, хотя и скрепя сердце, перенесу главный удар южнее, передав его Сахарову на Львовском направлении. Каледин сконфузился,—очевидно, отказаться от главной роли в этом наступлении он не желал. Потом мне сказал, что он отказывался от нанесения главного удара лишь для того, чтобы снять с себя ответственность на случай неудачи, но что он приложит все силы для выполнения возложенной на него задачи. Я тут же разъяснил ему, что легко может статься, что на месте главного удара мы можем получить небольшой успех или совсем его не иметь, но так как неприятель атакуется нами во многих местах, то большой успех может оказаться там, где мы в настоящее время его не ожидаем, и тогда я направлю свои резервы туда, где нужно будет развить наибольший успех. Это заявление очень подкрепило и успокоило остальных командующих армиями. Сроком окончательной подготовки я назначил 10 мая и объявил, что, начиная с 10 мая, по моему телеграфному извещению, спустя неделю нужно быть совершенно готовым к решительному переходу в наступление. Никаких отговорок и просьб о продлении срока я ни в каком случае принимать не буду и прошу это твердо помнить. На этом наше совещание и закончилось.

В конце апреля я получил извещение от Алексеева, что государь с супругой и дочерьми едет в Одессу для производства смотра Сербской дивизии, формировавшейся из пленных астрийских славян, и что мне приказано его встретить в Бендерах 30 апреля. Сначала я поехал прямо в Одессу, дабы предварительно ознакомиться с Сербской дивизией и с положением дел в этом округе, так как этот округ был мне совершенно неизвестен,

тогда как Киевский я близко знал. В Сербской дивизии было, насколько мне помнится, около 10 тысяч человек с большим количеством офицеров, бывших австрийских. Выглядела она хорошо и жаловалась лишь на отсутствие артиллерии, которая для нее формировалась, но не была еще готова. На следующий день я встретил государя в Бендерах на дебаркадере; он произвел там осмотр вновь формировавшейся пехотной дивизии. Смотр прошел по общему шаблону, и в тот же день царь поехал дальше в Одессу.

Так как там я должен был присутствовать при встрече, а мой вагон не мог быть прицеплен к царскому поезду, то ген. Воейков пригласил меня к себе в купе. Царя сопровождали, как и во все предыдущие поездки, дворцовый комендант Воейков, исполнявший обязанности гофмаршала князь Долгорукий, начальник конвоя граф Граббе и флаг-капитан адмирал Нилов. Все эти лица ничего общего с войной не имели, и меня как прежде, так и теперь удивляло, во-первых, что царь в качестве верховного главнокомандующего уезжает на продолжительное время из Ставки и, очевидно, в это время исполнять свои обязанности верховного вождя не может, а, во-вторых, если уже он уезжал, то хотя бы для декорума ему нужно было бы брать с собой какого-либо толкового офицера генерального штаба в качестве докладчика по военным делам. Связь же царя с фронтом состояла лишь в том, что он ежедневно по вечерам получал сводку сведений о происшествиях на фронте. Думаю, что эта связь чересчур малая; она с очевидностью указывала, что царь фронтом интересуется мало и ни в какой мере не принимает участия в исполнении столь сложных обязанностей, каковые возложены по закону на верховного главнокомандующего. В действительности, царю в Ставке было скучно. Ежедневно в 11 часов утра он принимал доклад начальника штаба и генерал-квартирмейстера о положении на фронте, и, в сущности, на этом заканчивалось его фиктивное управление войсками. Все остальное время дня ему делать было нечего, и поэтому, мне кажется, он старался все время разъезжать то в Царское Село, то на фронт, то в разные места России без какой-либо определенной цели, а лишь бы убить время. В данном случае, как мне объясняли его приближенные, эта поездка в Одессу и Севастополь была им предпринята, главным образом, для того, чтобы развлечь свое семейство, которому надоело сидеть на одном месте в Царском Селе.

В течение этих нескольких дней я неизменно завтракал за царским столом, между двумя великими княжнами, но царица к высочайшему столу не выходила, а ела отдельно, и на второй день пребывания в Одессе я был приглашен к ней в ее вагон. Она встретила меня довольно холодно и спросила, готов ли я к переходу в наступление. Я ответил, что еще не вполне, но рас-

считываю, что мы в этом году разобьем врага. На это она ничего не ответила, а спросила, когда думаю я перейти в наступление. Я доложил, что мне это пока неизвестно, что это зависит от обстановки, которая быстро меняется, и что такие сведения настолько секретны, что я их и сам не помню. Она, промолчав немного, вручила мне образок св. Николая-чудотворца; последний ее вопрос был, приносят ли ее поезда-склады и поезда-бани какую-либо пользу на фронте. Я ей по совести ответил, что эти поезда приносят громадную пользу и что без этих складов раненые во многих случаях не могли бы быть своевременно перевязаны, а следовательно и спасены от смерти. На этом аудиенция и закончилась. В общем, должен признать, что встретила она меня довольно сухо и еще суше со мной простилась. Это был последний раз, что я ее видел. Никогда не мог я понять, за что императрица меня так сильно не любила. Она ведь должна была видеть, как неутомимо я работал на пользу родины, следовательно—в то время во славу ее мужа и ее сына. Я был слишком далек от двора, так что никакого повода к личной антипатии подать не мог.

Странная вещь произошла с образком св. Николая, который она мне дала при этом последнем нашем свидании. Эмалевое изображение лика святого немедленно же стерлось и так основательно, что осталась одна серебряная пластинка [31]. Суеверные люди были поражены, а нашлись и такие, которые заподозрили нежелание святого участвовать в этом лицемерном благословении. Одно твердо знаю, что нелюбовь этой глубоко несчастной, роковой для нашей родины женщины я ничем сознательно не заслужил. А жена моя от всей души много помогала и старалась быть полезной ее благотворительным делам и складам на фронте. Все это было поставлено на большую высоту, благодаря многим сотрудникам моей жены, работавшим не покладая рук, и царице приходилось, скрепя сердце, посылать высочайшие благодарственные телеграммы.

Как тяжело все это нам вспоминать.

Смотр войск прошел благополучно, и никаких неприятных инцидентов не было, да нужно правду сказать, что по натуре своей царь был человек снисходительный и всегда старался благодарить. Из Одессы вся царская семья уехала в Севастополь, который мне подчинен не был; я же вернулся обратно в штаб фронта.

Чтобы дать понятие о том, какая кропотливая и трудная работа требуется для подготовки атаки неприятельской укрепленной позиции современного типа, изложу тут вкратце, что армии Юго-западного фронта должны были исполнить в течение 8 недель для того, чтобы успешно атаковать врага.

Уже заранее с помощью войсковой агентуры и воздушной

разведки мы ознакомились с расположением противника и сооруженными им укрепленными позициями. Войсковая разведка и непрерывный захват пленных по всему фронту дали возможность точно установить, какие неприятельские части находились перед нами в боевой линии. Выяснилось, что германцы сняли с нашего фронта несколько своих дивизий для переброски их на французский. В свою очередь, австрийцы, надеясь на свои значительно укрепленные позиции, также перебросили несколько дивизий на итальянский фронт в расчете, что мы больше неспособны к наступлению, они же в течение этого лета раздавят итальянскую армию. Действительно, в начале мая на итальянском фронте они перешли в решительное успешное наступление. По совокупности собранных нами сведений, мы считали, что перед нами находятся австро-германцы силою в 450 тысяч винтовок и 30 тысяч сабель.

Преимущество противника над нами состояло в том, что его артиллерия была более многочисленна по сравнению с нашей, в особенности тяжелой, и кроме того пулеметов у него было несравнимо больше, чем у нас. Агентурная разведка, кроме того, сообщила нам, что в тылу у неприятеля резервов почти нет и что подкреплений к нему не подвозится. В свою очередь, воздушная разведка с самолетов сфотографировала все неприятельские укрепленные позиции, как ее боевой линии, так и лежавшие в тылу. Эти фотографические снимки с помощью проекционного фонаря разворачивались в план и помещались на карте; фотографическим путем эти карты легко доводились до желаемого масштаба. Мною было приказано во всех армиях иметь планы в 250 саженей в дюйме с точным нанесением на них всех неприятельских позиций. Все офицеры и начальствующие лица из нижних чинов снабжались подобными планами своего участка.

На основании всей этой работы выяснилось, что неприятельские позиции были чрезвычайно сильно укреплены. По всему фронту они состояли не менее, как из 3 укрепленных полос в расстоянии друг от друга приблизительно от 3 до 5 верст. В свою очередь, каждая полоса состояла из нескольких линий окопов, не менее трех и в расстоянии одна от другой от 150 до 300 шагов, в зависимости от конфигурации местности. Все окопы были полной профили, выше роста человека, и везде в изобилии были построены тяжелые блиндажи, убежища, лисьи норы, гнезда для пулеметов, бойницы, козырьки и целая система многочисленных ходов сообщения для связи с тылом. Окопы были сооружены с таким расчетом, чтобы подступы к позициям обстреливались перекрестным ружейным и пулеметным огнем. Убежища были устроены чрезвычайно основательно, глубоко врыты в землю и укрывали людей не только от легких, но и от тяжелых артиллерийских снарядов. Они имели сверху 2 ряда бревен, присыпан-

ных слоем земли толщиной около $2\frac{1}{2}$ арш.; в некоторых местах вместо бревен были железобетонные сооружения надлежащей толщины; в некоторых местах они устраивались даже с комфортом: стены и потолки обиты были досками, полы были или досчатые или глинобитные, а величина таких комнат была шагов 12 в длину и 6 в ширину; в окна там, где это оказывалось возможным, были вставлены стеклянные рамы. В таких помещениях ставилась складная железная печь и были устроены нары и полки. Для начальствующих лиц устраивались помещения из 3—4 комнать с кухней, с крашенными полами и со стенами, оклеенными обоями. Каждая укрепленная полоса позиций противника была основательно оплетена колючей проволокой: перед фронтом тянулась проволочная сеть, состоявшая из 19—21 ряда кольев. Местами таких полос было несколько в расстоянии 20—50 шагов одна от другой; некоторые ряды были оплетены столь толстой стальной проволокой, что они не поддавались резке ножниц; на некоторых боевых участках через проволоку заграждений пропускался сильный переменный электрический ток высокого напряжения, в некоторых местах подвешены были бомбы, а во многих местах впереди первой полосы были заложены самовзрывающиеся фугасы. Вообще, эта работа австро-германцев по созданию укреплений была до поразительности основательная и произведена непрерывным трудом войск в течение более 9 месяцев.

Очевидно, что осуществление прорыва таких сильных, столь основательно укрепленных позиций противника было почти невероятным. Все это мне было хорошо известно, и я отлично понимал всю затруднительность атаки, которую ниже вкратце изложу. Но я был уверен, что все же есть возможность вполне успешно выполнить задачу прорыва фронта и при таких тяжелых условиях. Уже выше я говорил об одном из главных условий успеха атаки—об элементе внезапности, и для сего, как было выше сказано, мною было приказано подготовлять плацдармы для атаки не на одном каком-нибудь участке, а по всему фронту всех вверенных мне армий, дабы противник никак не мог догадаться, где будет он атакован, и не мог собрать сильную войсковую группу для противодействия. Всякому понятно, что самые укрепления, как бы они ни были сильны, без надлежащей живой силы отбить атаку не могут, и в ослаблении неприятельских сил на моем фронте главным образом заключалась моя надежда на успех.

Каждая армия, сообразно с имевшимися у нее средствами, должна была выбрать у себя подходящий участок для прорыва фронта неприятельской позиции. На основании общей разведки, армии, по совокупности всех собранных данных, наметили каждая участки для прорыва и представили свои соображения об атаке на мое утверждение. Когда последние были мной оконча-

тельно утверждены и вполне точно были установлены места первых ударов, началась горячая работа по самой тщательной подготовке к атаке: в эти районы скрытно притягивались войска, предназначавшиеся для прорыва неприятельского фронта. Однако, для того, чтобы противник не мог заблаговременно разгадать наших намерений, войска располагались в тылу за боевой линией, но их начальники разных степеней, имея у себя планы в 250 саж. в дюйме с подробным расположением противника, все время находились впереди и тщательно изучали районы, где им предстояло действовать, лично знакомились с первой линией неприятельских укреплений, изучали подступы к ним, выбирали артиллерийские позиции, устраивали наблюдательные пункты и т. д. Пехотные части еще задолго до атаки и, как было сказано, во многих местах начали сближение с противником окопными работами: по ночам они выдвигались ходами сообщений на 100—200 шагов вперед и устраивали окопы, обнося их рогатками с колючей проволокой. Таким путем на избранных участках наши окопы, постепенно сближаясь с противником, доводились до того, что стояли от позиций австро-германцев всего на 200—300 шагов, в зависимости от местности. Для удобства атаки и скрытного расположения резервов на этих исходных для боя плацдармах строилось несколько параллельных рядов окопов, также соединенных между собой ходами сообщений.

Лишь за несколько дней до начала наступления незаметно ночью введены были в боевую линию войска, предназначенные для первоначальной атаки, и поставлена артиллерия, хорошо замаскированная, на избранные позиции, с которых она и произвела тщательную пристрелку по намеченным целям. Было обращено большое внимание на тесную и непрерывную связь пехоты с артиллерией. Во время этой подготовки к наступлению, работы крайне тяжелой и кропотливой, как лично я, так и командированные мною для этой цели мой начальник штаба ген. Клембовский и некоторые другие офицеры генерального штаба и штаба фронта ездили для проверки работ и добытых сведений о противнике. Не могу не помянуть тут добрым словом двух моих неутомимых самоотверженных молодых сотрудников и боевых товарищей: генерал-квартирмейстера Духонина, впоследствии так трагично погибшего, и начальника артиллерии талантливейшего генерала Дельвига. Должен добавить, что как в одном случае, так и ранее, почти с начала кампании, при мне по инженерной части состоял известный военный инженер Величко. Он во многом мне помогал и в данном случае помог войскам своими указаниями и советами. Во время неудачной Японской войны на него много нападали за постройку несметного количества укрепленных позиций, которых даже и не пришлось защищать. Обвинение это — весьма странного свойства. Он строил там, где высшее началь-

ство это ему указывало, и строил несомненно отлично, а что затем войска, по распоряжению того же начальства, их не защищали, а до боя бросали их,—в этом, мне кажется, винить инженеров более чем странно, так как область командования их не касается.

В свою очередь, командующие армиями и начальники всех степеней усердно проверяли и изучали всю производившуюся работу. Как я и наметил раньше, к 10 мая наша подготовка к атаке была в общих чертах закончена.

11 мая я получил телеграмму начальника штаба верховного главнокомандующего, в которой он мне сообщал, что итальянские войска потерпели настолько сильное поражение, что итальянское высшее командование не надеется удержать противника на своем фронте и настоятельно просит нашего перехода в наступление, чтобы оттянуть часть сил с итальянского фронта к нашему; поэтому, по приказанию государя, он меня спрашивает, могу ли я перейти в наступление и когда. Я ему немедленно ответил, что армии вверенного мне фронта готовы и что, как я раньше говорил, они могут перейти в наступление неделю спустя после извещения. На этом основании доношу, что мною отдан приказ 19 мая перейти в наступление всеми армиями, но при одном условии, на котором особенно настаиваю: чтобы и Западный фронт одновременно также двинулся вперед, дабы сковать войска, против него расположенные. Вслед за тем Алексеев пригласил меня для разговора по прямому проводу. Он мне передал, что просит меня начать атаку не 19 мая, а 22-го, так как Эверт может начать свое наступление лишь 1 июня. Я на это ответил, что нахожу, что и такой промежуток несколько велик, но с ним мириться можно при условии, что дальнейших откладываний уже не будет. На это Алексеев мне ответил, что он гарантирует мне, что дальнейших откладываний не будет. Я тотчас же разослал телеграммами приказания командующим армиями, что начало атаки должно быть 22 мая на рассвете, а не 19-го.

21 мая вечером Алексеев опять пригласил меня к прямому проводу. Он мне передал, что несколько сомневается в успехе моих активных действий вследствие необычного способа, которым я их предпринимаю, т. е. атаки противника одновременно во многих местах вместо одного удара всеми собранными силами и всей артиллерией, которая у меня распределена по армиям. Алексеев высказал мнение, не лучше ли будет отложить мою атаку на несколько дней для того, чтобы устроить лишь один ударный участок, как это уже выработано практикой настоящей войны. Подобного изменения плана действий желает сам царь, и от его имени он и предлагает мне это видоизменение. На это я ему возразил, что изменять мой план атаки я наотрез отказываюсь и в таком случае прошу меня сменить. Откладывать вторично день и час насту-

пления не нахожу возможным, ибо все войска стоят в исходном положении для атаки, и пока мои распоряжения об отмене дойдут до фронта, артиллерийская подготовка начнется. Войска, при частых отменах приказаний, неизбежно теряют доверие к своим вождям, а потому настоятельно прошу меня сменить. Алексеев мне ответил, что Верховный уже лег спать и будить его ему неудобно, и он просит меня подумать. Я настолько разозлился, что резко ответил: «Сон Верховного меня не касается и больше думать мне не о чем. Прошу сейчас ответа». На это ген. Алексеев сказал: «Ну, бог с вами, делайте, как знаете, а я о нашем разговоре доложу государю императору завтра». На этом наш разговор и кончился. Должен пояснить, что все подобные мешавшие делу переговоры по телеграфу, письмами и т. п., которых я тут не привожу, мне сильно надоели и раздражали меня. Я очень хорошо знал, что в случае моей уступчивости в вопросе об устройстве одного удара этот удар, несомненно, окончится неудачей, так как противник непременно его обнаружит и сосредоточит сильные резервы для контрудара, как во всех предыдущих случаях. Конечно царь был тут не при чем, а это была система Ставки с Алексеевым во главе—делать шаг вперед, а потом сейчас же шаг назад.

Чтобы дальнейшее изложение боевых действий армий Юго-западного фронта в 1916 году было более понятным, мне необходимо теперь объяснить читателю, какие цели я преследовал и выполнения какого плана действий я добивался.

Естественно, что вначале, сейчас же после военного совета в Ставке 1 апреля, когда мне, как бы из милости, разрешено было атаковать врага вместе с моими северными боевыми товарищами и я был предупрежден, что мне не дадут ни войск, ни артиллерии сверх имеющихся у меня,—мои намерения состояли в том, чтобы настолько сильно сковать противостоящие мне части противника, чтобы он не только не мог ничего перекидывать с моего фронта на другие фронты, но обратно—принужден был посылать кое-что и на мой фронт. В это время я думал лишь о том, чтобы наилучшим образом помочь Эверту, на которого возлагались наибольшие надежды и которого поэтому и снабдили всеми средствами, которыми только располагала Ставка. По этим соображениям VIII армия, как ближайший сосед Западного фронта, была назначена производить главный удар юзфронта на Луцк—Ковель. Затем я придавал большое значение успеху IX армии, соседу Румынии, которая колебалась, на чью сторону стать. Что же касается VII и XI армий, то я им придавал значение второстепенное. Сообразно с этим и были мною распределены мои резервы и технические средства. Дальше в этот момент я не заглядывал, ибо будущее было от меня скрыто.

11 мая, при получении первой телеграммы Алексеева о необ-

ходимости немедленно помочь Италии и с запросом, могу ли я перейти сейчас в наступление, решение военного совета от 1 апреля оставалось в силе; изменилось лишь то, что юзфронт начал наступление раньше других и тем притягивал на себя силы противника в первую голову. Даже в испрошенном мною подкреплении одним корпусом мне было наотрез отказано. В июне, когда обнаружились крупные размеры успеха юзфронта, в общественном мнении начали считать юзфронт как будто бы главным, но войска и технические средства оставались на Западном фронте, от которого Ставка все еще ждала, что он оправдает свое назначение. Но Эверт был тверд в своей линии поведения, и тогда Ставка, чтобы отчасти успокоить мое возмущение, стала перекидывать войска сначала с Северо-западного фронта, а затем и с Западного. Ввиду слабой провозоспособности наших железных дорог, которая была мне достаточно известна, я просил не о перекидке войск, а о том, чтобы разбудить Эверта и Куропаткина,—не потому, что я не хотел усиления, а потому, что знал, что пока мы раскачиваемся и подвезем один корпус, немцы успеют перевезти 3 или 4 корпуса. Странно, что Ставка, правильно считавшая, что лучшая и быстрейшая помощь Италии состояла в моей атаке, а не в посылке войск в Италию, когда дело касалось излюбленных ею Эверта и Куропаткина, пасовала перед ними, занималась лишь перекидками [32], притом, конечно, в недостаточных размерах, несвоевременно и не туда, куда я просил, и удивляясь, что я сержусь. А сердиться я имел право, ибо легко мог предвидеть, что при таком образе действий мой фронт будет скоро остановлен сильными подкреплениями, спешно свозившимися к противнику со всех фронтов, и в конце-концов меня же будут упрекать в том, что юзфронт не сумел получить стратегических результатов, а одержал только тактический успех, который имел, конечно, только второстепенное значение.

Вспомним, однако, опять-таки военный совет 1 апреля и его решения и спросим; когда и кем было решено изменить цели, назначенные фронтам? А затем спросим: если эти цели были изменены, то каковы они были? Должен откровенно сознаться, что мне они были неизвестны, а знал я только, что за все время боев 1916 года Ставка неотступно от меня требовала во что бы то ни стало взять Ковель, и все перевозки направлялись на Ровно, т. е. опять-таки к Ковелю, что, в конечном результате, указывало на желание помочь и толкнуть Западный фронт, т. е. Эверта. Иначе говоря,—цель оставалась та же. А общие цели ставил ведь Алексеев, а не я.

Я не спорю, что я мог бы, при тогдашнем составе Ставки, добиться другой цели для действий, например наступления на Львов, но для этого требовалась колоссальная перегруппировка войск, которая взяла бы много времени, и вражеские силы,

сосредоточенные у Ковеля, конечно прекрасно успели бы, в свою очередь, принять меры против этого предприятия. Дело сводилось, в сущности, к уничтожению живой силы врага, и я рассчитывал, что разобью их у Ковеля, а затем руки будут развязаны, и куда захочу, туда и пойду. Я чувствую за собой другую вину: мне следовало не соглашаться на назначение Каледина командующим VIII армией, а настоять на своем выборе Клембовского и нужно было тотчас же сменить Гилленшмидта с должности командира кавалерийского корпуса. Есть большая вероятность, что при таком изменении Ковель был бы взят сразу, в начале Ковельской операции. Но теперь раскаяние бесполезно.

Луцкий прорыв и его оценка.

С рассветом 22 мая в назначенных участках начался сильный артиллерийский огонь по всему Юго-западному фронту [33]. Главной задержкой для наступления пехоты справедливо считались проволочные заграждения, вследствие их прочности и многочисленности; поэтому требовалось огнем легкой артиллерии проделать многочисленные проходы в этих заграждениях. На тяжелую артиллерию и гаубицы возлагалась задача уничтожения окопов первой укрепленной полосы, и, наконец, часть артиллерии предназначалась для подавления артиллерийского огня противника. По достижении одной задачи, та часть артиллерии, которая ее выполнила, должна была переносить свой огонь на другие цели, которые по ходу дела считались наиболее неотложными, всемерно помогая пехоте подвигаться вперед. Вообще же огонь артиллерии имеет громаднейшее значение в успехе атаки, артиллерия начинает атаку и после ее надлежащей подготовки, т. е. производства достаточного количества проходов в проволочных заграждениях и уничтожения укреплений противника, его убежищ и пулеметных гнезд, должна сопровождать атаку пехоты, препятствуя своим заградительным огнем подходу неприятельских резервов. Роль начальника артиллерии, как из этого видно, имеет громадное значение, и он, как капельмейстер в оркестре, должен дирижировать этим огнем, для чего телефонная связь между ним и артиллерийскими группами должна быть чрезвычайно прочно устроена, дабы она не могла быть прервана во время боя.

Должен признать, что везде наша артиллерийская атака увенчалась полным успехом. В большинстве случаев проходы были сделаны в достаточном количестве и основательно, а первая укрепленная полоса совершенно сметалась и вместе со своими защитниками обращалась в груду обломков и растерзанных тел. Тут ясно обнаружилась обратная сторона медали убежищ: многие из них разрушены не были, но сидевшие там части гарнизона должны были класть оружие и сдаваться в плен, потому что

стоило хоть одному гренадеру с бомбой в руках стать у выхода, как спасения уже не было, ибо в случае отказа от сдачи, спрятавшиеся, благодаря метанию гранат во внутрь убежища, неизбежно погибали без пользы для дела; своевременно же вылезти из убежищ чрезвычайно трудно и угадать время невозможно. Таким образом, вполне понятно то количество пленных, которые неизменно попадали к нам в руки. Я не буду, как и раньше, подробно описывать шаг за шагом боевых действий этого достопамятного периода действий вверенных мне армий; скажу лишь, что к полудню 24 мая было нами взято в плен 900 офицеров, свыше 40 000 нижних чинов, 77 орудий, 134 пулемета и 49 бомбометов; к 27 мая нами уже было взято 1 240 офицеров, свыше 71 000 нижних чинов, и захвачено 94 орудия, 167 пулеметов, 53 бомбомета и минометов и громадное количество всякой другой военной добычи.

Но в это же время у меня опять имел место довольно неприятный разговор с Алексеевым. Он меня опять вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить, что вследствие дурной погоды Эверт 1 июня атаковать не может, а переносит свой удар на 5 июня. Конечно, я был этим чрезвычайно недоволен, что, не стесняясь, и высказал, а затем спросил, могу ли я, по крайней мере, быть уверенным, что хоть 5 июня Эверт наверняка перейдет в наступление. Алексеев ответил мне, что в этом не может быть никакого сомнения, но 5 июня опять меня вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить иное: по новым данным, разведчики Эверта доносили, что против его ударного участка собраны громадные силы противника и многочисленная тяжелая артиллерия, а потому Эверт считает, что атака на подготовленном им месте ни в коем случае успешной быть не может, что если ему прикажут, он атакует, но при убеждении, что он будет разбит; Эверт просит разрешения государя перенести пункт атаки к Барановичам, где, по его мнению, атака его может иметь успех, и принимая во внимание все вышесказанное, государь император разрешил Эверту от атаки воздержаться и возможно скорее устроить новую ударную группу против Барановичей. На это я ответил, что случилось то, чего я боялся, т. е. что я буду брошен без поддержки соседей и что, таким образом мои успехи ограничатся лишь тактической победой и некоторым продвижением вперед, что на судьбу войны никакого влияния иметь не будет. Неминуемо противник со всех сторон будет снимать свои войска и бросать их против меня, и очевидно, что в конце-концов я буду принужден остановиться. Считаю, что так воевать нельзя и что даже если бы атаки Эверта и Куропаткина не увенчались успехом, то самый факт их наступления значительными силами на более или менее продолжительное время сковал войска противника против них и не допустил бы посылку резервов с

их фронтов против моих войск. Устройство новой ударной группы против Барановичей ни к каким благим результатам повести не может, так как для успешной атаки укрепленной полосы требуется подготовка не менее 6 недель, а за это время я понесу излишние потери и могу быть разбит. Я просил доложить государю мою настоятельную просьбу, чтобы был дан приказ Эверту атаковать теперь же и на издавно подготовленном участке. Алексеев мне возразил: «Изменить решения государя императора уже нельзя» и добавил, что Эверту дан срок атаковать противника у Барановичей не позже 20 июня. «Зато,—добавил Алексеев,—мы вам пришлем в подкрепление 2 корпуса». Я закончил нашу беседу заявлением, что такая запоздалая атака мне не поможет, а Западный фронт опять потерпит неудачу по недостатку времени для подготовки удара, и что если бы я вперед знал, что это так и будет, то наотрез отказался бы от атаки в одиночку. Что касается получения двух корпусов в подкрепление, то по нашим железным дорогам их будут везти бесконечно и нарушат подвоз продовольствия, пополнений и огнестрельных припасов моим армиям; кроме того, 2 корпуса, во всяком случае, не могут заменить атак Эверта и Куропаткина. За это время по своей железнодорожной сети и со своим многомиллионным подвижным составом по внутренним линиям противник может подвезти против меня целых десять корпусов, а не два.

Я хорошо понимал, что царь тут не при чем, так как в военном деле его можно считать младенцем, и что весь вопрос состоит в том, что Алексеев, хотя отлично понимает, каково положение дел и преступность действий Эверта и Куропаткина, но, как бывший их подчиненный во время Японской войны, всемерно старается прикрыть их бездействие и, скрепя сердце, соглашается с их представлениями.

Впоследствии командующий IV армией ген. Рагоза, бывший моим подчиненным в мирное и в военное время, мне говорил, что на него была возложена задача атаки укрепленной позиции у Молодечно, что подготовка его была отличная, и он был твердо убежден, что с теми средствами, которые были ему даны, он безусловно одержал бы победу, а потому как он, так и его войска были вне себя от огорчения, что атака, столь долго подготовлявшаяся, совершенно для них неожиданно отменена. По этому поводу он ездил объясняться с Эвертом. Тот ему сказал сначала, что такова воля государя императора; на это ген. Рагоза заявил, что он не хочет нести ответственности за этот неудавшийся, по неизвестной ему причине, маневр и что он просит разрешения подать докладную записку, где ясно изложит, что не было никакого основания для оставления этой атаки и что новая атака у Барановичей едва ли может быть успешной по недостатку подготовки; он просил Эверта представить эту доклад-

ную записку верховному главнокомандующему. Эверт сначала согласился на эту просьбу и посадил Рагозу с его начальником штаба в своем кабинете для составления этой записки, но когда Рагоза эту записку написал и сам вручил ее Эверту, то последний заявил ему, что такую записку он никому не подаст и оставит у себя и тут только сознался, что инициатива отказа от удара на выбранном у Молодечно участке исходила от него лично и что он сам испросил разрешения в Ставке перенести удар на другое место.

Все это меня чрезвычайно удивило, и я спросил Рагозу, как он сам объясняет себе такой ни с чем несообразный поступок Эверта? Рагоза ответил мне, что, по его убеждению, громадные успехи, которые сразу одержали мои армии, необыкновенно волновали Эверта, и ему кажется, что Эверт боялся, как бы, в случае неуспеха, он как военачальник себя не скомпрометировал, и полагал, что в таком случае вернее воздержаться от боевых действий, дабы не восстановить против себя общественного мнения. Впоследствии до меня дошли сплетни, будто Эверт однажды сказал: «С какой стати я буду работать во славу Брусилова». Я конечно этому не верю, но привожу это, как доказательство того, чего он собственно добился своими действиями в общественном мнении, о котором, по словам ген. Рагозы, так заботился. Русской же армии он повредил бесповоротно. Как бы то ни было, я остался один. Чтобы покончить с вопросом о помощи, оказанной Западным фронтом, скажу лишь, что действительно в последних числах июня, по настоянию Алексеева, атака на Барановичи состоялась, но, как это нетрудно было предвидеть, войска понесли громадные потери при полной неудаче, и на этом закончилась боевая деятельность Западного фронта по содействию моему наступлению.

Будь другой верховный главнокомандующий,—за подобную нерешительность Эверт был бы немедленно смещен и соответствующим образом заменен, Куропаткин же ни в каком случае в действующей армии никакой должности не получил бы. Но при том режиме, который существовал в то время, в армии безнаказанность была полная, и оба продолжали оставаться излюбленными военачальниками Ставки.

Все это время я получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от самых разнообразных кругов русских людей. Все всколыхнулись—крестьяне, рабочие, аристократия, духовенство, интеллигенция, учащаяся молодежь, все бесконечной телеграфной лентой хотели мне сказать, что они—русские люди, и что сердца их бьются заодно с моей дорогой, окровавленной во имя родины, но победоносной армией. И это было мне поддержкой и великим утешением. Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией. Насколько я

помню, если не первой, то одной из первых была телеграмма с Кавказа от великого князя Николая Николаевича: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю». Прочитав эту телеграмму, я был сильно взволнован, настолько она меня тронула. Он, наш бывший верховный главнокомандующий, не находил слов, чтобы достаточно сильно выразить свою радость по поводу наших побед. Я объясняю себе свое волнение тем, что нервы мои были слишком измучены предыдущими переживаниями в столкновениях с людьми совсем иного склада. И только несколько дней спустя мне подали телеграмму от государя, в которой стояло всего несколько сухих и сдержанных слов благодарности. Такие впечатления не изглаживаются, и я их унесу с собой в могилу.

Хотя и покинутые нашими боевыми товарищами, мы продолжали наше кровавое боевое шествие вперед, и к 10 июня нами было уже взято пленными 4 013 офицеров и около 200 000 солдат; военной добычи было 219 орудий, 644 пулемета, 196 бомбометов и минометов, 46 зарядных ящиков, 38 прожекторов, около 15 000 винтовок, много вагонов и бесчисленное количество разного другого военного материала. 11 июня в состав Юго-западного фронта была передана III армия ген. Леша, и я поставил задачей III и VIII армиям—разбить противостоящего противника и овладеть районом Городок—Маневичи; двум левофланговым армиям, VII и IX,—продолжать наступление на Галич и Станиславов, и, наконец, центральной XI армии—удерживать занимаемое положение. С 11 по 21 июня войска Леша и Каледина, во исполнение данной им задачи, производили необходимые перегруппировки своих сил. В это же время VIII армии Каледина пришлось отбивать многократные контратаки вновь подвезенных с других фронтов многочисленных германских полчищ, стремившихся прорвать фронт VIII армии и отбросить ее к Луцку.

Собственно продвижение Каледина к Владимиру-Волынскому мною одобрено не было; произошло оно и не по его указанию, а вследствие горячности войск при преследовании разбитого противника; мною же ему многократно доказывалось, и сам я два раза к нему ездил для того, чтобы заставить его, держась к западу оборонительно, обратить все свое внимание и все свои силы для захвата Ковеля. Но странный был характер у Каледина: невзирая на полную успешность действий, он все время плакался, что находится в критическом положении и ожидает ежедневно, по совершенно неизвестным причинам, как армии, так и себе погибели; управление войсками было у него нерешительное, колеблющееся. В свою очередь, войска видели его мало, а когда видели, то замечали лишь угрюмого молчаливого генерала, с ними не говорившего и их не благодарившего; его не любили и ему не доверяли.

То, что Каледин мог сделать в мае месяце и в начале июня, когда в Ковеле никаких почти войск не было, то во второй поло-

вине июня он уже сделать был не в состоянии, а противник, благодаря бездействию моих соседей по фронту, успел подвезти многочисленные войска как с наших Северного и Западного фронтов, так и с французского. Австрийцы же бросили свое наступление на Италию и перевезли на мой фронт все, что только могли, перейдя на итальянском к обороне. Таким образом, Италия была избавлена от нашествия врага; кроме того, уменьшился напор на Верден, так как и германцы принуждены были снять некоторое количество своих дивизий для переброски на мой фронт. Это-то и была положительная сторона моего наступления. Но это была работа для других, а не для нас. Если бы у нас был настоящий верховный вождь и все главнокомандующие действовали по его указу, то мои армии, не встречая достаточно сильного противодействия, настолько выдвинулись бы вперед и стратегическое положение врага было бы столь тяжелое, что даже без боя ему пришлось бы отходить к своим границам, и ход войны принял бы совершенно другой оборот, а ее конец значительно бы ускорился. Теперь же приходилось бороться в одиночку с постепенно усиливающимся противником. Мне потихоньку посылали подкрепления с бездействующих фронтов, но и противник не зевал, и так как он пользовался возможностью более быстрой переброски войск, то количество их возрастало в значительно большей прогрессии, нежели у меня, и численностью своей, невзирая на громадные потери пленными, убитыми и ранеными, противник стал значительно превышать силы моего фронта.

21 июня армии генерала Леша и Каледина перешли опять в решительное наступление и к 1 июля утвердились на р. Стоходе, перекинув во многих местах свои авангарды на левый берег реки. Для нас имело большое значение то, что германцы и австровенгерцы, задерживая нас на Ковельском и Владимиро-Волынском направлениях, стали образовывать сильную группу в районе станции Маневичи для удара в правый фланг Каледина. Моим ударом в этом направлении указанными двумя армиями я предупредил намерение противника и не только свел к нулю маневренное значение Ковель-Маневичской фланговой позиции, но и окончательно упрочил свое положение на Волыни. В это время войскам Сахарова, в особенности его правому флангу, приходилось очень тяжело, так как на него было произведено несколько настойчивых атак австро-германцев, но он отбил их все и сохранил занимаемые им позиции. Я очень оценил этот успех, так как все свои резервы естественно направлял на ударные участки; Сахарову же с данной ему оборонительной задачей приходилось действовать, имея сравнительно небольшое количество войск. IX армия Лечицкого за то же время овладела районом Делатыня.

К 1 июля III армия и правый фланг VIII армии стояли на Стоходе, VII армия продвинулась к западу от линии Езержаны—

Порхов и IX армия заняла район Делатыня; в остальном положение наших армий приблизительно оставалось без изменения. С 1 по 15 июля III и VIII армии производили новую перегруппировку, подготовляясь к дальнейшему наступлению в направлении на Ковель и Владимир-Волынский. К этому времени прибыл также гвардейский отряд, состоявший из двух гвардейских корпусов всех родов войск и одного гвардейского кавалерийского корпуса. К этому отряду я присоединил два армейских корпуса, и он вошел в боевую линию между III и VIII армиями направлением на Ковель. Он получил наименование «особой армии».

В этот период Сахаров со своей XI армией нанес три сильных хотя и коротких удара противнику; в результате этих боев Сахаров продвинулся своим правым флангом и центром на запад, заняв линию Кошев—Звеняч—Мерва—Лишнюв и захватил в плен 34 000 австро-германцев, 45 орудий и 71 пулемет. Как я уже имел случай сказать, действиям XI армии я значение придавал лишь постольку, чтобы заставить противника опасаться перехода в наступление и не снимать своих войск с фронта этой армии. Сама по себе эта армия была настолько слаба, что не могла предпринять ничего серьезного.

Войска VII и IX армий в это время также совершили перегруппировку для нанесения сильного удара вдоль р. Днестра в направлении на Галич, но Лечицкий за тот же период значительно продвинулся к юго-западу от гор. Куты; к 10 июля обе эти армии должны были опять перейти в наступление, но вследствие сильных дождей, непрерывно ливших в течение нескольких дней, вынуждены были отложить таковое до 15 июля. Эта оттяжка была для нас чрезвычайно невыгодна по многим причинам, главным же образом потому, что неприятель успел отгадать наши намерения и стянуть свои резервы на угрожаемые участки,—следовательно элемент внезапности пропал.

15 июля все мои армии перешли в дальнейшее наступление. III и «особая» армии встретили на Ковельском направлении чрезвычайно упорное сопротивление германцев, успевших подвезти новые весьма значительные подкрепления и массу тяжелой артиллерии. Хотя наши войска сбили противника в районах Селец и Трыстань и захватили там свыше 8 000 пленных и 40 орудий, несколько вытянувшись вперед, но дойти до Ковеля возможности не имели. Время для взятия Ковеля было уже окончательно упущено. В свою очередь VIII армия нанесла сильный удар противнику в районе д. Кошев, захватила тут свыше 9 000 пленных и 46 орудий и также несколько выдвинулась вперед, но дойти до Владимира-Волынского не могла. В дальнейшем этим трем армиям пришлось, укрепляя свои новые позиции, отбивать несколько упорных контратак немцев, веденных громадными силами и с многочисленной тяжелой артиллерией. XI армия в этот период вре-

мени продвигала свой левый фланг вперед, нанося удар из района Радзивиллов в юго-западном направлении. 15 июля был взят с боя г. Броды, а 22 и 23 июля было вновь нанесено сильное поражение противнику на р. Граберке и Серете, причем он потерял одними пленными свыше 8 000 человек.

Наконец, стремительной атакой левого фланга XI армии совместно с правым флангом VII армии, неприятель с громадными потерями был отброшен к западу, и к 31 июля занята была намеченная линия Лишнюв—Дубы—Звижень и западнее Зборов. Левый фланг VII армии совместно с правым флангом IX армии атаковали противника на р. Коробце в направлении на Монастыржиску. Однако, австро-германцы к этому пункту успели подвезти значительные резервы и оказали там упорное сопротивление. 27 июля атаку повторили и на сей раз успешно: был нанесен сильный удар врагу, в результате которого он поспешно стал отходить. Боевой неприятельский участок против центра VII армии, который императором Вильгельмом, посетившим его, был признан неприступным, был, однако, брошен почти без боя, так как наши войска охватили его с северо-запада и юго-запада. В свою очередь, IX армия в упорном бою 15 июля успела сбить противника на Станиславовском направлении и продвинулась верст на 15, захватив притом около 8 000 пленных и 33 орудия. Неприятель отошел на заблаговременно приготовленную позицию. 25 июля Лечицкий и ее атаковал и нанес врагу жестокое поражение. Во время подготовки атаки наша артиллерия весьма успешно стреляла химическими снарядами по батарее противника, которая прекратила огонь и бросила свои орудия. За этот день опять было взято свыше 8 000 пленных, в том числе 3 500 германцев, много орудий; закончилась операция армий Юго-западного фронта по овладению районом Тысменицы—Станиславова и Надворной.

В общем, с 22 мая по 30 июля вверенными мне армиями было взято всего 8 255 офицеров, 370 153 солдата, 496 орудий, 144 пулемета и 367 бомбометов и минометов, около 400 зарядных ящиков, около 100 прожекторов и громадное количество винтовок, патронов, снарядов и разной другой военной добычи. К этому времени закончилась операция армий Юго-западного фронта по овладению зимней, чрезвычайно сильно укрепленной неприятельской позицией, считавшейся нашими врагами безусловно неприступной. На севере фронта нами была взята обратно значительная часть нашей территории, а центром и левым флангом вновь завоевана часть Восточной Галиции и вся Буковина. Непосредственным результатом этих удачных действий был выход Румынии из нейтрального положения и присоединение ее к нам. Эта неудачная для нашего противника операция была для него большим разочарованием: у австро-германцев было твердое убеждение, что их восточный фронт, старательно укрепленный в течение 10 и более месяцев,

совершенно неуязвим; в доказательство его крепости была даже выставка в Вене, где показывали снимки важнейших укреплений. Эти неприступные твердыни, которые местами были закованы в железобетон, рухнули под сильными неотразимыми ударами наших доблестных войск.

Что бы ни говорили, а нельзя не признать, что подготовка к этой операции была образцовая, для чего требовалось проявление полного напряжения сил начальников всех степеней. Все было продумано, и все своевременно сделано. Эта операция доказывает также, что мнение, почему-то распространившееся в России, будто после неудач 1915 года русская армия уже развалилась,—неправильно: в 1916 году она еще была крепка и безусловно боеспособна, ибо она разбила значительно сильнейшего врага и одержала такие успехи, которые до этого времени ни одна армия не давала.

К 1 августа для меня уже окончательно выяснилось, что помощи от соседей, в смысле их боевых действий, я не получу; одним же моим фронтом, какие бы мы успехи ни одержали, выиграть войны в этом году нельзя. Несколько большее или меньшее продвижение вперед для общего дела не представляло особого значения: продвинуться же настолько, чтобы это имело какое-либо серьезное стратегическое значение для других фронтов, я никоим образом рассчитывать не мог, ибо в августе месяце, невзирая на громадные потери, понесенные противником, во всяком случае бо́льшие, чем наши, и на громадное количество пленных, нами взятых, войска противника перед моим фронтом значительно превысили мои силы, хотя мне и были подвезены подкрепления. Поэтому я продолжал бои на фронте уже не с прежней интенсивностью, стараясь возможно более сберегать людей и лишь в той мере, которая оказывалась необходимой для сковывания возможно большего количества войск противника, косвенно помогая этим нашим союзникам—итальянцам и французам.

Одна из причин, не давших возможности овладеть Ковелем, помимо сильных подкреплений, подвезенных немцами, заключалась в том, что у них было громадное количество самолетов, которые летали эскадрильями в 20 и более аппаратов и совершенно не давали возможности нашим самолетам ни производить разведок, ни корректировать стрельбу тяжелой артиллерии, а о поднятии привязных шаров для наблюдений и думать нельзя было. На все мои требования увеличить количество наших самолетов для «особой» и III армий в особенности, я получал неизменный ответ, что самолеты ожидаются, что некоторое количество находится уже в Архангельске, но что пропускная способность железных дорог не допускает их перевозки в настоящее время и в общем, мне не следует ожидать их прибытия в более или менее скором времени. Между тем, наш воздушный флот был столь слаб, что почти не имел возможности подниматься, и потому точное

расположение неприятельской артиллерии мне было неизвестно, а корректировать стрельбу тяжелой артиллерии на ровной местности, покрытой густым лесом, было невозможно. Вследствие этого наша метко стрелявшая артиллерия не могла проявить своих качеств и надлежащим образом подготовлять атаку пехоты и гасить огонь неприятельской артиллерии, которая притом превышала нашу количеством.

Другое неблагоприятное для наших успешных действий условие состояло в следующем. Прибывший на подкрепление моего правого фланга гвардейский отряд, великолепный по составу офицеров и солдат, очень самолюбивых и обладавших высоким боевым духом, терпел значительный урон без пользы для дела потому, что их высшие начальники не соответствовали своему назначению. Находясь долго в резерве, они отстали от своих армейских товарищей в технике управления войсками при современной боевой обстановке, и позиционная война, которая за это время выработала очень много своеобразных сноровок, им была неизвестна. Во время же самых боевых действий начать знакомиться со своим делом— поздно, тем более, что противник был опытный. Сам командующий «особой» армией генерал-адъютант Безобразов был человек честный, твердый, но ума ограниченного и невероятно упрямый. Его начальник штаба, гр. Игнатьев, штабной службы совершенно не знал, о службе генерального штаба понятия не имел, хотя в свое время окончил Академию генерального штаба с отличием. Начальник артиллерии армии, герцог Мекленбург-Шверинский, был человек очень хороший, но современное значение артиллерии знал очень неосновательно, тогда как артиллерийская работа была в высшей степени важная и без искусного содействия артиллерии успеха быть не могло. Саперные работы, имеющие столь большое значение в позиционной войне, также производились неумело. Командир I гвардейского корпуса, вел. князь Павел Александрович, был благороднейший человек, лично безусловно храбрый, но в военном деле решительно ничего не понимал; командир II гвардейского корпуса, Раух, человек умный и знающий, обладал одним громадным для воина недостатком: его нервы совсем не выносили выстрелов, и, находясь в опасности, он терял присутствие духа и лишался возможности распоряжаться.

Я все это знал и писал об этом Алексееву, но и ему, тем более мне, было очень трудно переменить такое невыгодное положение дела. По власти главнокомандующего фронтом я имел право смещать командующих армиями, корпусных командиров и все нижестоящее армейское начальство, но гвардия с ее начальством были для меня недосягаемы. Царь лично их выбирал, назначал и сменял, и сразу добиться смены такого количества гвардейского начальства было невозможно. Во время моей секретной переписки по этому поводу частными письмами с Алексеевым, на мой фронт

приехал председатель Государственной думы Родзянко и спросил разрешения посетить фронт, именно—«особую» армию. Уезжая обратно, он послал мне письмо, в котором сообщал, что вся гвардия вне себя от негодования, что ее возглавляют лица, неспособные к ее управлению в такое ответственное время, что они им не верят и страшно огорчаются, что несут напрасные потери без пользы для их боевой славы и для России. Это письмо мне было на-руку, я препроводил его при моем письме Алексееву, с просьбой доложить государю, что такое положение дела больше нетерпимо и что я настоятельным образом прошу назначить в это избранное войско, хотя бы только на время войны, наилучшее начальство, уже отличившееся на войне и выказавшее свои способности. В конце-концов все вышеперечисленные лица были сменены, и командующим этой армией был назначен Гурко, человек безусловно соответствовавший этому назначению, но к сожалению было уже поздно, да и не все смененные лица были заменены столь удачно.

В конце октября в сущности военные действия 1916 года закончились. Со дня наступления 20 мая по 1 ноября Юго-западным фронтом было взято в плен свыше 450 000 человек офицеров и солдат, т. е. столько, сколько в начале наступления, по всем имевшимся довольно точным у нас сведениям, находилось передо мной неприятельских войск. За это же время противник потерял свыше 1 500 000 убитыми и ранеными. Тем не менее к ноябрю перед моим фронтом стояло свыше миллиона австро-германцев и турок. Следовательно, помимо 450 000 человек, бывших вначале передо мной, против меня было перекинуто с других фронтов свыше 2 200 000 бойцов. Из этого ясно видно, что если бы другие фронты шевелились и не допускали возможности перекидки войск против вверенных мне армий, я имел бы полную возможность далеко выдвинуться к западу и могущественно повлиять и стратегически и тактически на противника, стоявшего против нашего Западного фронта. При дружном воздействии на противника нашими тремя фронтами являлась полная возможность,—даже при тех недостаточных технических средствах, которыми мы обладали по сравнению с австро-германцами,—отбросить все их армии далеко к западу. А всякому понятно, что войска, начавшие отступать, падают духом, расстраивается их дисциплина, и трудно сказать, где и как эти войска остановятся и в каком порядке будут находиться. Были все основания полагать, что решительный перелом в кампании на всем нашем фронте совершится в нашу пользу, что мы выйдем победителями, и была вероятность, что конец нашей войны значительно ускорится—с меньшими жертвами и без тех тяжелых испытаний, которые впоследствии пришлось пережить.

Не новость, что на войне упущенный момент более не воз-

вращается, и на горьком опыте мы эту старую истину должны были пережить и перестрадать. Отчего же это произошло? Оттого, что верховного главнокомандующего у нас не было, а его начальник штаба, невзирая на весь свой ум и знания, не был волевым человеком, да и по существу дела и вековечному опыту начальник штаба заменять своего принципала не может. Война—не шутка и не игрушка, она требует от своих вождей глубокого знания, которое является результатом не только изучения военного дела, но и наличия тех способностей, которые даруются природой и только развиваются работой. Преступники те люди, которые не отговорили самым решительным образом, хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те обязанности, которые он, по своим знаниям, способностям, душевному складу и дряблости воли, ни в каком случае нести не мог.

Если бы я гнался только за своей собственной славой, то я должен бы быть спокоен и доволен таким оборотом боевых действий 1916 года, ибо по всему миру пронеслась весть о «брусиловском наступлении». Вся Россия ликовала, имена Эверта и, в особенности Куропаткина осуждались, а Эверта к тому же зачисляли в разряд изменников. Я написал Эверту письмо, в котором сообщал ему, что получил несколько писем от разных мне неизвестных корреспондентов, в которых он обвиняется в предательстве русских интересов и в желании нанести ущерб русской армии; я не верил, конечно, всем этим обвинениям, но считал необходимым осведомить его о том, что его задержка в оказании мне помощи толкуется весьма превратно. На это письмо я ответа не получил. Что касается меня, то я, как воин, всю свою жизнь изучавший военную науку, мучился тем, что грандиозная победоносная операция, которая могла осуществиться при надлежащем образе действий нашего верховного главнокомандования в 1916 году, была непростительно упущена.

Подводя итоги боевой работе Юго-западного фронта в 1916 году, необходимо признать следующее [34]:

1. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу—спасти Италию от разгрома и выхода из войны, а кроме того облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на этот год.

2. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес, а Северный фронт имел своим девизом знакомое нам с Японской войны «терпение, терпение и терпение». Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила

своего назначения управлять всей русской вооруженной силой и не только не управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником.

3. По тем средствам, которые имелись у юзфронта, он сделал все, что мог, и большего выполнить был не в состоянии,—я, по крайней мере, не мог. Если бы вместо меня был военный гений вроде Юлия Цезаря или Наполеона, то, может быть, он сумел бы выполнить что-либо грандиозное, но таких претензий у меня не было и быть не могло.

4. Меня некоторые специалисты упрекали, что я не устроил одного прорыва, к которому я мог бы сосредоточить большие резервы, а устроил несколько ударных групп. Поэтому, при оказавшемся успехе, я якобы не мог развить победу в надлежащем размере. На это отвечу, что при прорыве в одном только месте у меня получился бы результат такой же, как у Эверта близ Барановичей. Но лучше ли это,—предоставляю судить читателю.

5. Во всяком случае, вот что пишет в своих воспоминаниях Людендорф (том I, перевод О. Г. Моровича, стр. 210 и 211):

«В центре (наша XI армия—*А. Б.*) наступление велось без ясно выраженного численного превосходства. В области Тарнополя оно было без труда отбито ген. графом Боутмер, принявшим после ген. фон-Линзингена южную немецкую армию, зато на обоих остальных участках оно привело к полному успеху русских, которые глубоко врезались в австрийское расположение. Но еще опаснее было то, что австрийцы проявили чрезвычайно малую устойчивость, благодаря чему положение всего восточного фронта сразу стало очень серьезным. Несмотря на то, что мы сами считались с возможностью наступления на нашем фронте, мы немедленно приготовили несколько дивизий для отправления на юг, и войсковая группа принца Леопольда Баварского поступила также. Верховное командование предъявило к обеим группам серьезное требование и, кроме того, перебросило несколько дивизий с западного фронта, так как бои на Сомме в то время еще не начинались. Австро-Венгрия постепенно приостановила свое наступление в Италии и тоже послала войска на свой восточный фронт. Тогда итальянская армия перешла в свою очередь в наступление на Тироль, и военная обстановка совершенно изменилась. С началом боев на Сомме и затем с объявлением нам войны Румынией она вскоре еще резче изменилась в пользу наших врагов. Мы продолжали считаться с возможностью русского наступления у Сморгони или же, как теперь снова казалось, на местах мартовских боев и под Ригой, где русские располагали крупными силами.

Несмотря на это, мы продолжали ослаблять себя, чтобы быть в состоянии помочь армиям, стоящим дальше к югу, и выводили по длинной линии нашего фронта батальоны для образования резервов. Я создавал их из новобранцев, хотя мне самому было

ясно, что эти формирования окажутся каплей в море, если русские где-нибудь добьются успеха».

И далее: «Россия располагала такими крупными резервами, что могла повести наступление одновременно и на нашем фронте, или, по меньшей мере, не дать нам возможности отправлять на юг какие-либо части».

Затем, на стр. 214 и 215, значится: «В то время как немецкие и австрийские резервы подошли к периферии луцкой дуги, к Днестру и Карпатам и почти повсеместно перешли в частичное наступление, русские ввели свои подкрепления в места прорыва и контратаками свели немецкие удары на-нет... Генерал фон-Линзинген был вынужден 7 июля оттянуть свой левый фланг за Стоход. Туда же пришлось отступать и правому флангу принца Леопольда Баварского и части войсковой группы Грионау к югу от Припяти. Это был один из самых серьезных кризисов на восточном фронте. Мы решили себя ослабить еще более, так же как и принц Леопольд Баварский; несмотря на ежеминутную возможность возобновления русских атак, мы продолжали выделять из своего фронта целые полки для того, чтобы поддержать левый фланг группы фон-Линзингена к востоку от Ковеля».

«Русское наступление у Луцка при полном падении обороноспособности австро-венгерских войск быстро продвигалось вперед и вышло у железной дороги на Ковель на Стоход. Первые германские подкрепления развертывались среди отступающих частей. На Стоходе по обе стороны железной дороги постепенно образовался новый германский фронт. Он находился в соприкосновении с австро-венгерскими войсками, находившимися на Стыри. В западном направлении русские преследовали менее решительно, хотя им здесь улыбалась крупная победа. Русские не располагали здесь достаточным количеством войск, чтобы использовать положение. Разбитая австро-венгерская армия получила возможность собрать свои остатки у Затурцы и Киселина. Австро-венгерское крыло, оказавшееся южнее Луцка совершенно обнаженным, должно было естественно резко загнуться назад, чтобы не быть смятым с фланга. Но у Брусилова и здесь не оказалось достаточно сил для энергичного повторного удара. Русская атака в излучине Стыри, восточнее Луцка, имела полный успех. Австро-венгерские войска были прорваны в нескольких местах, германские части, которые шли на помощь, также оказались здесь в тяжелом положении».

После взятия Брод (XI армия) 27 июля Гинденбург и Людендорф были вызваны к верховному командованию и им была вручена власть над всем восточным фронтом.

На стр. 233 воспоминаний Людендорфа мы читаем: «Для укрепления австрийского фронта требовались немецкие войска. Прежний район главнокомандующего восточным фронтом был уже на-

столько обобран, что с него нечего снимать». И далее: «Единственным нашим резервом для фронта около 1 000 километров длиною оставалась таким образом одна кавалерийская бригада, усиленная артиллерией и пулеметами. Положение незавидное. И в то же время это служит показателем, на что мы—немцы—способны».

С этим последним выводом я согласиться без корректива не могу. Нужно добавить: при условии иметь противниками Алексеева, Эверта и Куропаткина. Впрочем, эта оговорка имеет силу применительно ко всему периоду операции Юго-западного фронта в 1916 году.

В заключение скажу, что при таком способе управления Россия, очевидно, выиграть войну не могла, что мы неопровержимо и доказали на деле, а между тем счастье было так близко и так возможно! Только подумать, что если бы в июле Западный и Северный фронты навалились всеми силами на немцев, то германцы были бы безусловно смяты, но только следовало навалиться по примеру и способу юзфронта, а не на одном участке каждого фронта. В этом отношении, что бы ни говорили и ни писали, я остаюсь при своем мнении, доказанном на деле, а именно: при устройстве прорыва где бы то ни было, нельзя ограничиваться участком в 20—25 верст, оставив остальные тысячу и более верст без всякого внимания, производя там лишь бестолковую шумиху, которая никого обмануть не может. Указание, что если разбросаться, то даже в случае успеха нечем будет развить полученный успех, конечно справедливо, но только отчасти. Нужно помнить пословицу: по одежке протягивай ножки. Для примера укажу на наш Западный фронт. К маю 1916 года он был достаточно хорошо снабжен, чтобы, имея сильные резервы в пункте главного прорыва, в каждой армии подготовить по второстепенному удару, и тогда, несомненно, у него не было бы неудачи у Барановичей. С другой стороны, Юго-западный фронт был несомненно слабейший и ожидать от него переворота всей войны не было никакого основания. Хорошо, что он выполнил неожиданно данную ему задачу с лихвой. Перекидка запоздалых подкреплений в условиях позиционной войны помочь делу не могла. Конечно, один Юго-западный фронт не мог заменить собой всю многомиллионную русскую рать, собранную на всем русском западном фронте. Еще в древности один мудрец сказал, что «невозможное — невозможно!».

Помощь румынам и взаимоотношения с ними.

Приблизительно в это же время был сформирован отдельный корпус для действия в Добрудже против болгар в помощь Румынии, которая сосредоточивала все свои войска для наступления

в Трансильванию; в Добрудже же она оставляла только одну свою дивизию. К сожалению, Алексеев, по моему мнению, недостаточно оценил значение нашей помощи в Добрудже. Туда следовало направить не один корпус из двух второочередных дивизий весьма слабого состава, а послать целую армию с хорошими войсками. Тогда, вероятно, выступление Румынии, оказавшееся столь неудачным, приняло бы совершенно другой оборот. Плохое состояние румынской армии начальнику штаба верховного главнокомандующего должно было быть хорошо известно, — для того и военная агентура существует, — но оказалось, что мы ничего не знали, и для нас было полным сюрпризом, что румыны никакого понятия не имели о современной войне.

Потребовали, чтобы я выбрал и назвал корпусного командира в направленный в Добруджу отдельный корпус. Затруднение выбора состояло в том, что недостаточно было избрать хорошего боевого генерала, но требовалось, чтобы он также был человеком ловким и умел не только ужиться с корпусом и румынским начальством, но и оказывать на них возможно большее влияние. Мною избран был генерал Зайончковский, который, как мне казалось, отвечал всем вышеперечисленным требованиям. Это назначение очень расстроило этого генерала, и он начал усиленно от него отказываться, ссылаясь на то, что с таким составом и качеством русских войск, которые ему назначены, он не будет в состоянии высоко держать знамя русской армии, что ему нужно не менее 3—4 дивизий пехоты высокого качества, иначе он рискует осрамиться и по совести такой ответственности взять на себя не может. Я ему ответил, что этот корпус мне не подчинен, как отдельный, назначение, количество и выбор этих войск от меня не зависят; я предложил Зайончковскому ехать в Ставку и там самому объясниться с Алексеевым, которому он непосредственно и подчинялся; изменить же мой выбор я отказался. С этим он и уехал в Могилев.

Каковы были его объяснения с Алексеевым, не знаю, но оттуда он уехал к своему новому месту служения, как он мне вслед за сим писал, очень раздосадованный и с составом войск не измененным. Алексеев его заверил, что значение его корпуса совершенно второстепенное и что он в Добрудже особого противодействия не встретит. Однако, спустя немного времени после начала военных действий румынской армии вполне выяснилось, что румынское высшее военное начальство никакого понятия об управлении войсками в военное время не имеет; войска обучены плохо, знают лишь парадную сторону военного дела, об окапывании, столь капитально важном в позиционной войне, представления не имеют, артиллерия стрелять не умеет, тяжелой артиллерии почти совсем нет и снарядов у них очень мало. При таком поло-

жении неудивительно, что они вскоре были разбиты и той же участи подвергся и Зайончковский в Добрудже.

Между тем, Алексеев заболел и уехал лечиться в Крым, а на его место был вызван государем для временного исполнения должности наштаверха командующий особой армией ген. Гурко, который по дороге заехал ко мне. Он был очень озабочен своим новым назначением, хотя и временным, и говорил, что его очень затрудняет не военное дело, ему отлично известное, а придворная жизнь со всевозможными осложнениями того времени и необходимость для успеха войны касаться также внутренней политики и личных сношений с министрами, которые менялись тогда молниеносно. Что мог я ему на это ответить? Я ведь вполне разделял его мнение о трудности его положения вследствие нашей никуда негодной внутренней политики и мог только посоветовать ему, поскольку его сил хватит, бороться с влиянием Царского Села. Вместе с тем я убедительно просил его настоять на том, чтобы возможно более упорядочить довольствие войск, так как к этому времени подвоз продовольствия, обмундирования и снаряжения начал все более и более хромать; я же знал, что от армии можно потребовать всего, что угодно, и что она свой долг охотно выполнит, но при условии, что она хорошо, по времени года, одета и сыта. На этом мы временно и расстались.

Вскоре после этого было получено приказание, ввиду необходимости спасения румынской армии, для оказания ей помощи одну из моих армий направить в Румынию, чтоб занять их правый фланг, так как эта злосчастная румынская армия при отступлении совсем растаяла, а, кроме того, вместо отдельного корпуса Зайончковского, который потерял почти всю Добруджу, стала формироваться новая армия, и обе эти армии включены были в Юго-западный фронт. Таким образом получалось, что на новом румынском фронте его правый и левый фланги подчинялись мне, центр же подчинялся королю румынскому, который со мной не только никаких отношений не имел, но, невзирая на все мои упорные просьбы, ни за что не хотел сообщать своих предположений и присылать свои директивы, без которых мне невозможно было распоряжаться правым и левым флангами этого фронта. На мой горячий протест по поводу такого ненормального и нетерпимого положения дела я получил ответ от Гурко, что приказано ген. Беляеву, который для этой цели был послан в главную квартиру румынской армии, ежедневно сообщать мне подробные сведения о Румынии и их намерениях. Но оказалось, что и ген. Беляев ничего мне сообщать не мог и на мои постоянные требования отвечал, что румынский главный штаб тщательно скрывает от него свои распоряжения и решительно никаких сведений ему не дает.

В это же время последовала смена Зайончковского, который

был назначен командиром XVIII армейского корпуса, а взамен его, по моей рекомендации, был назначен ген. Сахаров, которым я все время был доволен как по должности командира XI армейского корпуса в Карпатах, так и в качестве командующего армией. Исполнилось то, что предвозвещал Зайончковский, а именно, что на Добруджский фронт нужно было сразу назначить не один слабый по составу армейский корпус, а сильную армию в 5—6 корпусов. Сахарову с места пришлось, держась в Добрудже в оборонительном положении, направить часть своих сил на поддержку румынской армии на их главный фронт, после потери ими своей столицы Бухареста; я же в дальнейшем, не получая никаких сведений от румынской главной квартиры, послал решительную телеграмму Гурко для официального доклада верховному главнокомандующему, в которой заявлял, что управлять флангами фронта, центр которого мне не подчинен, совершенно немыслимо, и такой ответственности брать на себя я не могу, а потому настоятельно прошу о подчинении мне всего румынского фронта с его главной квартирой полностью или же о немедленном создании нового самостоятельного фронта—румынского, к которому бы я никакого отношения не имел.

После этой телеграммы и сношения с королем румынским, который считался главнокомандующим румынской армией, было решено устроить отдельный румынский фронт с номинальным главнокомандующим, королем румынским, и назначить ему в помощники ген. Сахарова, которому должны были подчиняться непосредственно все русские войска, а через румынский штаб— и румынские войска. Таким способом я наконец был избавлен от невыносимого и бессмысленного положения, в которое меня поставила Ставка, т. е. Алексеев.

1917 год.

Перед Февральской революцией.

Неудачи наши на фронте в 1915 году ясно показали, что правительство не может справиться всецело со взятой им на себя задачей—вести удачно войну самостоятельно, без помощи общественных сил, ибо оказалось, что патронов и снарядов у нас нет, винтовок не хватает, тяжелой артиллерии почти нет, авиация в младенческом состоянии и во всех областях техники у нас нехватка. Начали мы также жаловаться на недостаток одежды, обуви и снаряжения, и, наконец, пища, к которой солдатская масса очень чувствительна, стала также страдать. Приходилось, вследствие нашей слабой подготовки во всех отношениях, возмещать в боях нашу техническую отсталость в орудиях борьбы излиш-

был назначен командиром XVIII армейского корпуса, а вместо его, по моей рекомендации, был назначен ген. Сахаров, который и все время был доволен как по должности командира XI армейскому корпусу в Карпатах, так и в качестве командующего армией. Исполнилось то, что предсказывал Заиончковский, а именно, что на Добруджский фронт нужно было сразу назначить не один слабый по составу армейский корпус, а сильную армию в 5—6 корпусов. Сахарову с моими армиями, державшими в Добрудже в оборонительном положении, направить часть своих сил на поддержку румынской армии на их главный фронт, после потери ими своей столицы Бухареста; я же в дальнейшем, не получая никаких сведений от румынской главной квартиры, послал решительную телеграмму Гурко для официального доклада верховному главнокомандующему, в которой заявил, что управлять флангами фронта, центр которого мне не подчинен, совершенно немыслимо, и такой ответственности брать на себя я не могу, а потому настоятельно прошу о подчинении мне всего румынского фронта с его главной квартирой полностью или же о помещении создания нового самостоятельного фронта — румынского, к которому бы я никакого отношения не имел.

После этой телеграммы и сношения с королем румынским, который считался главнокомандующим румынской армией, было решено устроить отдельный румынский фронт с номинальным главнокомандующим, королем румынским, и назначить ему в помощники ген. Сахарова, которому должны были подчиниться непосредственно все русские войска, а через румынский штаб — и румынские войска. Таким способом я наконец был избавлен от неправильного и бессмысленного положения, в которое меня поставила Ставка, т. е. Алексеев.

1917 год.

Перед Февральской революцией.

Н[illegible] на фронте в 1916 году ясно понимали, что правительство не может справиться ни со своей задачей — вести удачно войну самостоятельно, без помощи общественных сил, ибо оказалось, что патронов и снарядов у нас не хватало, тяжелой артиллерии почти нет, самолетов в недостаточном количестве и по всем областям техники у нас недохватка. Начали мы также нуждаться в недостатке одежды, обуви и снаряжения, а, наконец, пища, к которой солдатская масса очень чувствительна, стала также страдать. Приходилось, вследствие нашей слабой подготовки во всех отношениях, возмещать в боях нашу техническую отсталость в орудиях борьбы нашей



А. А. БРУСИЛОВ
в марте 1917 года.

ней кровью, которою мы обильно поливали поля сражения. Такое положение дела, естественно, вызывало ропот неудовольствия и негодования в рядах войск и возмущение начальством, якобы не жалевшим солдата и его жизни. Стойкость армии стала понижаться, и массовые сдачи в плен стали обыденным явлением.

В добавление ко всем этим бедствиям, верховный главнокомандующий вел. князь Николай Николаевич был сменен, и сам царь взял бразды в руки, назначив себя верховным главнокомандущим. В армии знали, что великий князь неповинен в тяжком положении армии и верили в него как в полководца. В искусство же и знание военного дела Николаем II никто (и армия конечно) не верил, и было очевидно, что верховным вершителем станет его начальник штаба—вновь назначенный ген. Алексеев.

Войска знали Алексеева мало, а те, кто знал его, не особенно ему доверяли ввиду его слабохарактерности и нерешительности. Эта смена или замена была прямо фатальна и чревата дальнейшими последствиями. Всякий чувствовал, что наверху у кормила правления нет твердой руки, а взамен является шатанье мысли и руководства. В это-то тяжелое время, в марте 1916 года, я и был назначен главнокомандующим армиями Юго-западного фронта.

Не буду повторять тут моих воспоминаний о перипетиях, переживавшихся мною в этом году. Это изложено выше. Скажу лишь, что мои армии, выказавшие в 1916 году чудеса храбрости и беззаветной преданности России и своему долгу, увидели в результате своей боевой деятельности плачевный конец, который они приписывали нерешительности и неумелью верховного командования. В толще армии, в особенности в солдатских умах, сложилось убеждение, что при подобном управлении, что ни делай, толку не будет и выиграть войну таким порядком нельзя. Прямым последствием такого убеждения являлся вопрос: за что же жертвовать своей жизнью и не лучше ли ее сохранить для будущего? Не нужно забывать, что лучший строевой элемент за время почти трехлетней войны выбыл убитыми, ранеными и искалеченными, армия имела слабый милиционный характер, хуже дисциплинированный и обученный, и в умах бойцов непроизвольно начало развиваться недовольство положением дела и критика, зачастую вкривь и вкось.

В декабре месяце 1916 года опять был собран военный совет в Ставке. На нем я был со своим новым начальником штаба Сухомлиным, так как Клембовский, по моему представлению, был назначен командующим XI армией, взамен Сахарова, когда тот ушел на Румынский фронт. Мне было жаль расстаться с таким помощником, но я всегда старался выдвигать, хотя бы в ущерб своему спокойствию, тех людей, которые своими выдающимися качествами того заслуживали.

Клембовский, невзирая на некоторые свои недостатки, был

именно дельный, умный генерал, вполне способный к самостоятельной высокой командной должности; Сухомлин же был мой старый начальник штаба, с которым я привык работать.

В Ставке, по заведенному порядку, мы начали с завтрака у верховного главнокомандующего, который ко мне отнесся сухо, хотя и не видел меня во все время моего наступления. Когда государь ко мне подошел в приемной, где мы все были выстроены, со мной рядом стоял мой предшественник Иванов. Я только перед этим узнал, что тотчас вслед за военным советом, имевшим место 1 апреля, когда я заявил, что я наступать могу и буду, что и было тогда утверждено, Иванов после моего отъезда испросил аудиенцию у верховного вождя и доложил ему, что по долгу совести и любви к отечеству он считает себя обязанным, как знающий хорошо Юго-западный фронт и его войска, просить не допускать меня к переходу в наступление, так как это сгубит армию и даст возможность неприятелю разбить меня и заполонить Юго-западный край с Киевом. Царь спросил его, почему же он не заявлял это на военном совете, на котором он присутствовал. Иванов ответил, что его никто ни о чем не спрашивал, и он не находил удобным напрашиваться со своими советами. На это царь возразил ему: «Тем более я единолично не нахожу возможным изменять решения военного совета и ничего тут поделать не могу. Переговорите с Алексеевым». На этом разговор и закончился.

Иванов принадлежал к той плеяде военачальников, которые, под руководством Куропаткина, проиграли Японскую войну. И Эверт был один из деятелей этой злосчастной войны. Я всегда боялся генералов этой куропаткинской школы и думаю, что если бы с самого начала они сидели на тыловых должностях, то от этого наше дело много выиграло бы, и недаром бывший верховный главнокомандующий, вел. князь Николай Николаевич, их не жаловал. Многократно хотел он сменить Иванова, при нем не были бы главнокомандующими ни Эверт, ни тем более Куропаткин; но он сам был сменен, и все пошло шиворот-навыворот. Конечно, я Иванову ни слова не сказал относительно его разговора с царем обо мне и моем наступлении, ибо всегда пренебрегал всякими подвохами и по принципу никогда не мстил тем, кто старался меня уязвлять или кусать.

После завтрака мы начали заседать. Царь был еще более рассеян, чем на предыдущем военном совете, и беспрерывно зевал, ни в какие прения не вмешивался, а исполняющий должность начальника штаба верховного главнокомандующего Гурко, невзирая на присущий ему апломб, с трудом руководил заседанием, так как не имел достаточного авторитета. На этом совете выяснилось, что дело продовольствия войск в будущем должно значительно ухудшиться.

Быстро сменяющиеся министры со своими премьерами во главе не успевали что-либо завести, как уже заменялись новыми. Большинство министров назначалось управлять такими министерствами, которые им раньше были совсем неизвестны, и каждый из них должен был начинать с того, что знакомился с теми функциями, которые ему надо было исполнять. Но, в сущности, и на это у них времени не было, так как они главным образом должны были заниматься борьбой с Государственной думой и общественным мнением, чтобы отстоять свое существование. Что удивительного, если при этих условиях управление государством шло все хуже и хуже, а от этого непосредственно страдала армия. Конечно, нам не объясняли причин расстройства народного хозяйства, но нам говорилось, что этому бедственному положению помочь нельзя, мы же все дружно требовали, чтобы армия попрежнему была хорошо одета, обута и кормлена.

Относительно военных действий на 1917 год решительно ничего определенного решено не было. Военный совет в этот день своих занятий не кончил. На следующий день, также после завтрака у царя, заседание продолжалось, но с таким же малым толком, тем более что нам было сообщено, что царь, не дожидаясь окончания военного совета, уезжает в Царское Село, и видно было, что ему не до нас и не до наших прений. Во время нашего заседания было получено известие об убийстве Распутина, и потому отъезд царя был ускорен, и он экстренно уехал, быстро с нами простившись. Понятно, мы—главнокомандующие, генералы Рузский, Эверт и я, сговориться ни о чем не могли, так как различно понимали положение дел. Было лишь решено, по предложению Гурко, формировать в каждом корпусе по одной новой пехотной дивизии, но без артиллерии, так как ни орудий, ни лошадей для такого количества артиллерийских бригад найти нельзя было. Решено было также в принципе, что весной 1917 года главный удар должен наноситься моим фронтом и для этого мне будет передан резерв тяжелой артиллерии, находившийся в распоряжении верховного главнокомандующего и частью формировавшийся в тылу из тяжелых орудий, доставленных нашими союзниками. Никаких, однако, подробностей того, в каком направлении мы должны действовать, каких целей должны достигнуть и какой маневр, в широком смысле этого слова, должны совершить, ни говорено, ни решено не было.

Не знаю, как другие главнокомандующие, но я уехал очень расстроенный, ясно видя, что государственная машина окончательно шатается и что наш государственный корабль носится по бурным волнам житейского моря без руля и командира. Не трудно было предвидеть, что при таких условиях этот несчастный корабль легко может наскочить на подводные камни и погибнуть не от внешнего врага, не от внутреннего, а от недостатка управле-

ния и государственного смысла тех, которые волею судеб стоят у кормила правления.

Еще раньше, в начале октября 1916 года, вел. князю Георгию Михайловичу, ехавшему на фронт для раздачи георгиевских крестов от имени государя, я говорил и просил довести до высочайшего сведения, что в такое время, какое мы переживаем, правительству нужно не бороться с Государственной думой и общественным мнением и не отмахиваться от желания всего народа работать на пользу войны, а всеми силами привлекать всех сынов отечества для того, чтобы пережить эту страшную военную годину, что не только можно, но и необходимо дать ответственное министерство, так как вакханалия непрерывной смены министров до добра довести не может, а отстранение от дружной работы общественных сил на пользу войны поведет ее, по меньшей мере, к проигрышу. Великий князь вполне разделял мой образ мыслей, немедленно написал подробное письмо о моем с ним разговоре и вручил его мне для посылки с фельдъегерем в Ставку, что я в тот же день и исполнил. Может быть, это была причина, что царь меня так сухо встретил. Последние его слова при отъезде, после которых я уже его более не видел, были: «До свидания, скоро буду у вас на фронте». Он не подозревал тогда, что не пройдет и двух месяцев, как ему придется отказаться от престола, и засесть в излюбленном им Царском Селе, но уже не самодержавным владыкою полуторастамиллионного народа, а узником, которого потом будут пересылать с места на место и наконец лишат жизни.

Во время зимы 1916/17 года войска не могли жаловаться на недостаток теплой одежды, но сапог уже нехватало, и военный министр на военном совете в Ставке нам заявил, что кожи почти нет, что они стараются добыть сапоги из Америки, но прибудут ли и когда, в каком количестве, он сказать не может. При этом добавлю со своей стороны, что недостаток сапожного товара к 1917 году произошел не от того, что было его слишком мало, а вследствие непорядков в тылу: чуть ли не все население России ходило в солдатских сапогах и большая часть прибывавших на фронт людей продавала свои сапоги по дороге обывателям, часто за бесценок, и на фронте получала новые. Такую денежную операцию некоторые искусники умудрялись делать два-три раза. То же самое происходило и с одеждой, которую, не стесняясь, продавали, и зачастую солдаты, отправленные из тыла, вполне снаряженные и отлично одетые, обутые, на фронт приходили голыми. Против таких безобразий никаких мер не предпринималось или же были меры недостаточные и не дававшие никаких благих результатов.

Питание также ухудшилось: вместо 3 фунтов хлеба начали давать 2 фунта строевым, находившимся в окопах, и $1\frac{1}{2}$ в тылу;

мяса, вместо фунта в день, давали сначала $^3/_4$, а потом и по $^1/_2$ фунта. Затем пришлось ввести два постных дня в неделю, когда клали в котел вместо мяса рыбу, в большинстве случаев селедку; наконец, вместо гречневой каши пришлось зачастую давать чечевицу. Все это начало вызывать серьезные неудовольствия солдат, и я стал получать много анонимных ругательных писем, как будто от меня зависело снабжать войска теми или иными продуктами. Стал я также получать письма, в большинстве случаев анонимные, в которых заявлялось, что войска устали, драться больше не желают и что если мир не будет вскоре заключен, то меня убьют. Однако, получал я и иные письма, также анонимные, в которых значилось, что если война не будет доведена до конца и «изменница-императрица Александра Федоровна» заставит заключить несвоевременный мир, то меня также убьют. Из этого видно, что для меня выбор был не особенно широк, а в войсках мнения относительной войны и мира расходились.

Во всяком случае, в это время войска были еще строго дисциплинированы и не подлежало сомнению, что в случае перехода в наступление они выполнят свой долг в той же степени, как и в 1916 году. Как и раньше бывало, прибывавшие пополнения, очень плохо обученные, были распропагандированы, но, по прибытии на фронт, через некоторое время, после усердной с ними работы, дело с ними налаживалось. Меня особенно заботили не войска и их мощь, в которой я в то время не сомневался, а внутренние дела, которые не могли не влиять на состояние духа армии. Постоянная смена министров, зачастую чрезвычайно странный выбор самих министров и премьер-министров, хаотическое управление Россией с так называемыми безответственными лицами, в виде всесильных советников, бесконечные рассказы о Распутине, императрице Александре Федоровне, Штюрмере и т. п. всех волновали, и можно сказать, что за исключением солдатской массы, которая в своем большинстве была инертна, офицерский корпус и вся та интеллигенция, которая находилась в составе армии, были настроены по отношению к правительству в высшей степени враждебно. Везде, не стесняясь, говорили, что пора положить предел безобразиям, творящимся в Петербурге, и что совершенно необходимо установить ответственное министерство.

Что касается меня, то я хорошо сознавал, что после первого акта революции, бывшего в 1905/06 годах, неминуемо должен быть и второй акт, как неизбежное последствие этой грозной и продолжительной войны. Мне, любящему Россию всеми силами своей души, хотелось лишь одного: дать возможность закончить эту войну победоносно для России, а для сего было совершенно необходимо, чтобы неизбежная революция началась по *окончании войны*, ибо одновременно воевать и революциони-

ровать невозможно. Для меня было ясно, что если мы начнем революцию несвоевременно, то войну должны проиграть, а это, в свою очередь, повлечет за собой такие последствия, которые в то время нельзя было исчислить, и конечно легко можно было предположить, что Россия рассыпется,—это я считал безусловно для нас нежелательным и великим бедствием для народа, которого я любил и люблю всей душой. Какую бы физиономию революция ни приняла, я внутренно решил покориться воле народной, но желал, чтобы Россия сохранила свою мощь, а для этого необходимо было выиграть войну.

Из беседы со многими лицами, приезжавшими на фронт по тем или иным причинам из внутренних областей России, я знал, что все мыслящие граждане, к какому бы классу они ни принадлежали, были страшно возбуждены против правительства и что везде без стеснения кричали, что так продолжаться не может. С другой стороны, при разговорах моих с некоторыми из министров, которые приезжали ко мне на фронт, я видел в них большую растерянность и неуверенность в своих действиях. В этом отношении интересна была у меня беседа с министром земледелия Риттихом, которого я видел в первый раз. Это был человек молодой, повидимому, умный и энергичный, распорядительный. Он мне говорил, что попал в министры совершенно для себя неожиданно и этого поста ни в каком случае не стремился занять; почему его выбрали в министры, он понять не мог, ибо с Распутиным никаких отношений не имел и даже никогда его не видал, никакой протекцией не пользовался, да и царя лично знает очень мало. Риттих предполагал, что некого было назначить на такое трудное место, отказаться от этого поста не считал себя в праве ввиду переживаемого времени, делал, что мог, но сознавал бесполезность своего труда потому, что, будучи только что назначенным министром земледелия, он не сомневался, что не успеет он доехать до Петербурга, как будет уже сменен без всякой причины. При такой неуверенности и его самого и его подчиненных и общественных деятелей в прочности его положения ясно, что все предпринимавшиеся им мероприятия успеха иметь не могли; в это время на министров смотрели несерьезно, а скорее с юмористической точки зрения.

Вот при каком положении дел я решился написать письмо министру двора графу Фредериксу. Черновик этого письма у меня затерялся уже после моего отъезда с фронта, но вкратце я помню его содержание твердо. Изложив в нем положение России и возбуждение общественного мнения, которым пренебрегать нельзя, в особенности в такое тяжелое время, я просил доложить, что для спасения России совершенно необходимо дать ранее обещанную конституцию и призвать все общественные силы для совокупной работы на пользу войны. Я добавлял, что секретные распоряже-

ния—давить и сводить на-нет деятельность Всероссийских земского и городского союзов — преступны, так как оба эти общественные учреждения приносят с начала кампании неисчислимую пользу армии и облегчают ей исполнение ее бесконечно тяжелого долга. На это письмо я ни ответа, ни привета не получил.

В начале января 1917 года вел. князь Михаил Александрович, служивший у меня на фронте в должности командира кавалерийского корпуса, получил назначение генерал-инспектора кавалерии и по сему случаю приехал ко мне проститься. Я очень его любил, как человека безусловно честного и чистого сердцем, непричастного ни с какой стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь к тому, чтобы жить частным человеком, не пользуясь прерогативами императорской фамилии. Он отстранялся, поскольку это было ему возможно, от каких бы то ни было дрязг, как в семействе, так и в служебной жизни; как воин, он был храбрый генерал и скромно, трудолюбиво выполнял свой долг. Ему, брату государя, я очень резко и твердо выяснил положение России и необходимость тех реформ, немедленных и быстрых, которых современная жизнь неумолимо требует; я указывал, что для выполнения их остались не дни, а только часы и что во имя блага России я его умоляю разъяснить все это царю, и если он (великий князь) разделяет мое мнение, то поддержать содержание моего доклада и со своей стороны. Он мне ответил, что он со мной совершенно согласен и как только увидит царя, он постарается выполнить это поручение. «Но,—добавил он,—я влиянием никаким не пользуюсь и значения никакого не имею. Брату неоднократно со всевозможных сторон сыпались предупреждения и просьбы в таком же смысле, но он находится под таким влиянием и давлением, которого никто не в состоянии преодолеть». На этом мы с ним и расстались.

В январе 1917 года мною собраны были командующие армиями для того, чтобы распределить роли каждой армии при наступлении весной этого года. Главный удар мною поручался на сей раз VII армии, ударная группа которой должна была направиться в северо-западном направлении на Львов; XI армия своей ударной группой должна была пробиться прямо на запад, также направлением на Львов, а «особая» и III армии должны были продолжать свои операции для захвата Владимира-Волынского и Ковеля; что касается VIII армии, находившейся в Карпатах, то она своей ударной группой должна была выполнять вспомогательную роль, помогая правому флангу румынского фронта для продвижения его вперед.

На сей раз моему фронту были даны сравнительно значительные средства для атаки противника: так называемый «ТАОН» — главный артиллерийский резерв верховного главнокомандующего, состоявший из тяжелой артиллерии разных калибров, и два армей-

ских корпуса того же резерва должны были прибыть ранней весной. Я вполне был уверен, что при той же тщательной подготовке, которая велась в предыдущем году, и значительных средствах, которые отпускались, мы не могли не иметь и в 1917 году хорошего успеха. Войска, как я выше говорил, были в твердом настроении духа и на них можно было надеяться, за исключением VII Сибирского корпуса, который прибыл на мой фронт осенью с рижского района и был в колеблющемся настроении. Некоторую дезорганизацию внесла неудачная мера формирования третьих дивизий в корпусах без артиллерии и трудность сформировать этим дивизиям обозы ввиду недостатка лошадей, а отчасти и фуража. Сомнительным было также состояние конского состава вообще, так как овса и сена доставлялось из тыла чрезвычайно мало, а на месте не было возможности что-либо добывать, так как уже все было съедено. Прорвать первую укрепленную полосу противника мы безусловно могли, но дальнейшее продвижение на запад при недостатке и слабости конского состава делалось сомнительным, о чем я доносил и настоятельно просил ускоренно помочь этому бедствию. Но в Ставке, куда уже вернулся Алексеев (Гурко принял опять «особую» армию), а также в Петербурге было, очевидно, не до фронта. Подготовлялись великие события, опрокинувшие весь уклад русской жизни и уничтожившие и армию, которая была на фронте.

Февральская революция.

Глухое брожение всех умов в тылу невольно отражалось на фронте, и можно сказать, что к февралю 1917 года вся армия,— на одном фронте больше, на другом меньше, — была подготовлена к революции. Офицерский корпус в это время также поколебался и, в общем, был крайне недоволен положением дел.

Лично я был в полном недоумении, что из всего этого выйдет. Было ясно, что так продолжаться не может, но во что выльется это общее неудовольствие—никак предугадать не мог. Доходили до меня сведения, что задумывается дворцовый переворот, что предполагают провозгласить наследника Алексея Николаевича императором при регентстве вел. князя Михаила Александровича, а по другой версии—Николая Николаевича, но все это были темные слухи, не имевшие ничего достоверного. Я не верил этим слухам потому, что главная роль была предназначена Алексееву, который, якобы, согласился арестовать Николая II и Александру Федоровну; зная свойства характера Алексеева, я был убежден, что он это не выполнит.

Вот при этой-то обстановке на фронте разразилась Февральская революция в Петрограде. Я получал из Ставки подробные телеграммы, сообщавшие о ходе восстания и, наконец, был вы-

зван к прямому проводу Алексеевым, который сообщил мне, что вновь образовавшееся Временное правительство ему объявило, что в случае отказа Николая II отречься от престола, оно грозит прервать подвоз продовольствия и боевых припасов в армию (у нас же никаких запасов не было); поэтому Алексеев просил меня и всех главнокомандующих телеграфировать царю просьбу об отречении. Я ему ответил, что со своей стороны считаю эту меру необходимой и немедленно исполню. Родзянко тоже прислал мне срочную телеграмму такого же содержания, на которую я ответил также утвердительно. Не имея под рукой моих документов, не могу привести точно текст этих телеграмм и разговоров по прямому проводу и моих ответов, но могу лишь утвердительно сказать, что смысл их верен и мои ответы также. Помню лишь твердо, что я ответил Родзянко, что мой долг перед родиной и царем я выполню до конца, и тогда же послал телеграмму царю, в которой просил его отказаться от престола.

В результате, как известно, царь подписал отречение от престола, но не только за себя, но и за своего сына, назначив своим преемником Михаила Александровича, также отрекшегося. Мы остались без царя.

Когда выяснились подробности этого дела и то важное обстоятельство, что Государственную думу и Временное правительство возглавил Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладающий голос в то время имели меньшевики и эсеры, мне стало ясным, что дело на этом остановиться не может и что наша революция обязательно должна закончиться тем, что у власти станут большевики. Я только никак не мог сообразить, как этого не понимают кадеты, а в частности—Милюков, Родзянко, Львов. Кажется, было ясно, что вопрос о принципах и основах управления Россией находился в руках армии, т. е. миллионов бойцов, бывших на фронте и подготовлявшихся в тылу, составлявших цвет всего населения и к тому же вооруженных. Корпус офицеров, ничего не понимавший в политике, мысль о которой была им строжайше запрещена, находился в руках солдатской массы, и офицеры не имели на эту массу никакого влияния; возглавляли же ее разные эмиссары и агенты социалистических партий, которые были посланы Советом рабочих и солдатских депутатов для пропаганды мира «без аннексий и контрибуций». Солдат больше сражаться не желал и находил, что раз мир должен быть заключен без аннексий и контрибуций и раз выдвинут принцип права народов на самоопределение, то дальнейшее кровопролитие бессмысленно и недопустимо. Это было, так сказать, официальное объяснение; тайное же состояло в том, что взял верх лозунг: «долой войну, немедленно мир во что бы то ни стало и немедленно отбирание земли у помещика»—на том основании, что барин столетиями накопил себе богатство крестьян-

ским горбом, и нужно от него отобрать это незаконно нажитое имущество. Офицер сразу сделался врагом в умах солдатских, ибо он требовал продолжения войны и представлял собой, в глазах солдата, тип барина в военной форме.

Сначала большинство офицеров стало примыкать к партии кадетов, а солдатская масса вдруг вся стала эсеровской, но вскоре она разобрала, что эсеры, с Керенским во главе, проповедуют наступление, продолжение союза с Антантой и откладывают дележ земли до Учредительного собрания, которое должно разрешить этот вопрос, установив основные законы государства. Такие намерения совершенно не входили в расчеты солдатской массы и явно противоречили ее вожделениям. Вот тут-то проповедь большевиков и пришлась по вкусу и понятиям солдат. Их совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и т. п. вопросы, они только усвоили себе следующие начала будущей свободной жизни: немедленно мир во что бы то ни стало, отобрание от всего имущественного класса, к какому бы он сословию ни принадлежал, всего имущества, уничтожение помещика и вообще барина. Дальнейшие их надежды состояли в том, что начальства не будет никакого и никакого налога вносить никому не следует. Живи каждый, как хочет,—вот и все. Как видите, программа ясная и краткая. О России никто не беспокоился, да и не думал о ней.

Теперь станет вполне понятно, как случилось, что весь командный состав сразу потерял всякое влияние на вверенные ему войска, и почему солдат стал смотреть на офицера, как на своего врага. Офицер не мог стать на вышеизложенную политическую платформу, если только можно так назвать столь детски-дикое представление об управлении государством.

Офицер в это время представлял собой весьма жалкое зрелище, ибо он в этом водовороте всяких страстей очень плохо разбирался и не мог понять, что ему делать. Его на митингах забивал любой оратор, умевший языком болтать и прочитавший несколько брошюр социалистического содержания. При выступлениях на эти темы офицер был совершенно безоружен, ничего в них не понимал. Ни о какой контрпропаганде и речи не могло быть. Их никто и слушать не хотел. В некоторых частях дошли до того, что выгнали все начальство, выбрали себе свое—новое—и объявили, что идут домой, ибо воевать больше не желают. Просто и ясно. В других частях арестовывали начальников и сплавляли в Петроград в Совет рабочих и солдатских депутатов; наконец, нашлись и такие части, по преимуществу на Северном фронте, где начальников убивали.

При такой-то обстановке пришлось мне оставаться главнокомандующим Юго-западным фронтом, а потом стать верховным главнокомандующим. Видя этот полный развал армии и не имея

ни сил, ни средств переменить ход событий, я поставил себе целью хоть временно сохранить относительную боеспособность армии и спасти офицеров от истребления.

Если бы после первого акта революции 1905/06 года старое правительство взялось за ум, произвело нужные реформы и между прочими мерами дало офицерскому составу знание и уменье пропагандировать свою политграмоту, подготовив умелых ораторов из офицерской среды, то развал не мог бы состояться в таком быстром темпе. Теперь же приходилось метаться из одной части в другую, с трудом удерживая ту или иную часть от самовольного ухода с фронта, иногда целую дивизию или корпус.

Беда была еще в том, что меньшевики и эсеры, считавшие необходимым поддержать мощь армии и не желавшие разрыва с союзниками, сами разрушили армию изданием пресловутого приказа № 1 или выработкой по их требованию «Декларации прав солдата», в корне разрушавшей дисциплину, без которой никакое войско существовать не может.

При таком тяжелом положении фронта я счел нужным просить главковерха Алексеева собрать в Ставке всех главнокомандующих фронтами для обмена мнениями и согласования наших усилий сохранить армию. Вероятно, и другие командующие фронтами заявляли то же самое. Как бы то ни было, но Алексеев созвал всех главнокомандующих фронтами, кроме Кавказского, на совещание в Ставку, поскольку мне помнится—в апреле или в начале мая. Оказалось, как и следовало ожидать, что на всех фронтах с незначительной разницей положение вполне одинаковое. Выяснилось также, что усиленная революционная пропаганда в войсках ведется частью по приказанию, а частью попустительством Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, так как большинство пропагандистов было снабжено мандатами этого совета. Выяснилось также то, что, опасаясь контрреволюции, о которой никто и не помышлял, названный совет в лице многих его членов продолжал разрушать дисциплину в армии. Подводя итог всему нашему совещанию, мы пришли к заключению, что мы сами ничего поделать не можем и что нам нужно объясниться с Временным правительством и Петросоветом. Мы просили Алексеева всем вместе ехать в Петроград, чтобы объяснить необходимость какого-либо решения, т. е. или заключить сепаратный мир, или прекратить мирную пропаганду в войсках и напротив пропагандировать послушание начальству, дисциплину и продолжение войны. В противном случае мы решили просить об увольнении нас с наших постов.

Поехали: главковерх Алексеев, главкосев Абрам Драгомиров, главкозап Гурко и главкоюз—я.

Алексеев испросил у Львова разрешение прибыть нам, вышеперечисленным, экстренным поездом в Петроград. Прибыли мы

утром, на вокзале был выставлен почетный караул, а встретил нас военный министр Керенский, вновь назначенный на эту должность, вследствие отказа Гучкова. В это время главнокомандующим войсками петроградского военного округа состоял Корнилов, назначенный с моего фронта для того, чтобы привести войска столицы в порядок, который у них сильно хромал. Меня удивило то, что я увидел. Невзирая на команду «смирно», солдаты почетного караула продолжали стоять вольно и высовывались, чтобы на нас смотреть, на приветствие Алексеева отвечали вяло и с усмешкой, которая оставалась на их лицах до конца церемонии; наконец, пропущенные церемониальным маршем, они прошли небрежно, как бы из снисхождения к верховному главнокомандующему.

Львов принял нас очень любезно, но как-то чувствовалось, что он не в своей тарелке и совсем не уверен в своей власти и значении. Как раз в этот день велись усиленные переговоры между ним и Советом рабочих и солдатских депутатов о формировании смешанного министерства, причем несколько портфелей должны были принять социалисты—меньшевики и эсеры. Обедали мы у Львова. На другой день в Мариинском дворце собрались, чтоб нас выслушать, все министры, часть членов Государственной думы и часть членов Совета рабочих и солдатских депутатов. Говорено было много каждым из главнокомандующих, начиная с Алексеева. Я не помню, что каждый из них говорил, да это, в сущности, и неважно, так как все наши прения ни к чему не повели и развал армии продолжал итти своим неудержимым темпом. Считаю, однако, необходимым привести свою речь вследствие того, что потом извратили ее смысл. Стенограммы этой речи у меня не было и нет, но я записал тогда же ее вкратце и отлично ее помню.

Я говорил, что не понимаю смысла работы эмиссаров Совета рабочих и солдатских депутатов, старающихся усугублять развал армии, якобы опасаясь контрреволюции, проводником которой якобы может быть корпус офицеров. Я считал необходимым заявить, что я лично и подавляющее число офицеров сами без принуждения присоединились к революции и теперь мы все такие же революционеры, как и они. Поэтому никто не имеет права подозревать меня и офицеров в измене народу, а потому не только прошу, но настоятельно требую прекращения травли офицерского состава, который при подобных условиях не в состоянии выполнять своего назначения и продолжать вести военные действия. Я требовал доверия, в противном же случае просил уволить меня от командования войсками юзфронта. Вот точный смысл моей речи.

Я настоятельно просил вновь назначенного военным министром Керенского прибыть на юзфронт, дабы он сам заявил войскам

требования Временного правительства, подкрепленного решением Совета рабочих и солдатских депутатов. Он выполнил свое обещание, приехал на фронт, объехал его и во многих местах произносил речи на митингах. Солдатская масса встречала его восторженно, обещала все, что угодно, и нигде не исполнила своего обещания. Шкурничество и отсутствие дисциплины взяло верх, что и было вполне понятно.

Назначение верховным главнокомандующим и отставка.

Вслед за сим, в половине мая 1917 года, я был назначен верховным главнокомандующим. Я понимал, что, в сущности, война кончена для нас, ибо не было безусловно никаких средств заставить войска воевать. Это была химера, которою могли убаюкиваться люди, вроде Керенского, Соколова и тому подобные профаны, но не я.

Я вполне сознаю, что с самого начала революции я мог и неизбежно делал промахи. При таких трудных обстоятельствах, как война и революция в одно время, приходилось много думать о своей позиции для того, чтобы быть полезным своему народу и родине. Среди поднявшегося людского водоворота, всевозможных течений—крайних правых, крайних левых, средних и т. д., среди разумных людей, увлекающихся честных идеалистов, негодяев, авантюристов, волков в овечьих шкурах, их интриг и домогательств,—сразу твердо и бесповоротно решиться на тот или иной образ действий было для меня невозможно. Я не гений и не пророк и будущего твердо знать не мог; действовал же я по совести, всеми силами стараясь тем или иным способом сохранить боеспособную армию. Я сделал все, что мог, но повторяю, я не гений и не оказался в состоянии привести сразу в полный порядок поднявшуюся народную стихию, потрясенную трехлетней войны и небывалыми потерями. Спрашивается, однако: кто же из моих соседей мог это исполнить. Во всяком случае мой фронт держался твердо до моего отъезда в Могилев, и у меня не было ни одного случая убийства офицеров, чем другие фронты похвастаться не могли. А затем могу сказать, что войска верили мне и были убеждены, что я—друг солдата и ему не изменю. Поэтому, когда бывали случаи, что та или иная дивизия или корпус объявляли, что более на фронте оставаться не желает и уходит домой, предварительно выгнав свой командный состав, и угрожали смертью всякому генералу, который осмелится к ней приехать,—я прямо ехал в такую взбунтовавшуюся часть, и она неизменно принимала меня радостно, выслушивала мои упреки и давала обещание принять обратно изгнанный ею начальствующий состав, слушаться его и не уходить с позиций, защищаясь в случае наступления противника.

Одного мне не удавалось—это получить обещания наступать и атаковать вражеские позиции. Тут уже на сцену выступали слова: «без аннексий и контрибуций» и дальше дело никак не шло, ибо это, в сущности, были отговорки, основанные на нежелании продолжать войну. Позицию большевиков я понимал, ибо они проповедывали «долой войну и немедленно мир во что бы то ни стало», но я никак не мог понять тактики эсеров и меньшевиков, которые первыми разваливали армию, якобы во избежание контрреволюции, что не рекомендовало их знания состояния умов солдатской массы, и вместе с тем желали продолжения войны до победного конца. Поэтому-то я пригласил военного министра Керенского весной 1917 года прибыть на юзфронт, чтобы на митингах подтвердить требование наступления от имени Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, так как к этому времени солдатская масса Государственной думы более не признавала, считая ее себе враждебной, и слушалась, и то относительно, Совета рабочих и солдатских депутатов. Важно было, чтобы он сам убедился в состоянии духа армии. Кроме того, я приглашал его, чтобы снять ответственность с себя лично и с корпуса офицеров, будто бы не желавших служить революции. Наконец, это было последнее средство, к которому можно было прибегнуть. Керенского сопровождал Соколов, автор пресловутого приказа № 1.

К маю войска всех фронтов совершенно вышли из повиновения и никаких мер воздействия предпринимать было невозможно. Да и назначенных комиссаров слушались лишь постольку, поскольку они потворствовали солдатам, а когда они шли им наперекор, солдаты отказывались исполнять и их распоряжения. Например, VII Сибирский корпус, отодвинутый с позиций в тыл для отдыха, наотрез отказался, по окончании отдыха, вернуться на фронт и объявил комиссару корпуса Борису Савинкову, что бойцы корпуса желают итти для дальнейшего отдыха в Киев; никакие уговоры и угрозы Савинкова не помогли. Таких случаев на всех фронтах было много. Правда, при объезде юзфронта Керенским его почти везде принимали горячо и многое ему обещали, но когда дошло до дела, то, взяв сначала окопы противника, войска затем самовольно на другой же день вернулись назад, объявив, что так как аннексий и контрибуций требовать нельзя и война до победного конца недопустима, то они и возвращаются на свои старые позиции. А затем, когда противник перешел в наступление, наши армии без сопротивления очистили свои позиции и пошли назад. Ясно, что и Керенский и тогдашний Совет рабочих и солдатских депутатов также потеряли к этому времени свое обаяние в умах солдатской масс, и мы быстро приближались к анархии, невзирая на старания немощного Временного правительства, которое, правду сказать, само твердо не знало, чего хотело.

При этой-то обстановке мне было предложено в конце мая 1917 года принять должность верховного главнокомандующего. Так как я решил во всяком случае оставаться в России и служить русскому народу, то я согласился на предложение, сделанное мне Керенским.

В качестве верховного главнокомандующего я объехал Западный и Северный фронты, чтобы удостовериться, в каком положении они находятся, и нашел, что положение на этих фронтах значительно хуже чем на Юго-западном. Например, вновь назначенный главнокомандующий Западным фронтом Деникин донес мне, что вновь сформированная 2-я Кавказская гренадерская дивизия выгнала все свое начальство, грозя убить каждого начальника, который вздумал бы вернуться к ним, и объявила, что идет домой. Я поехал в Минск, забрал там Деникина, дал знать этой взбунтовавшейся дивизии, что еду к ней, и приехал на автомобиле. В то время солдатская масса верила, что я друг народа и солдата и не выдам их никому. Дивизия вся собралась без оружия, в относительном порядке, дружно ответила на мое приветствие и с интересом слушала мои прения с выбранными представителями дивизии. В конце-концов, дивизия согласилась принять обратно свое начальство, обещала оборонять наши пределы, но наотрез отказалась от каких бы то ни было наступательных предприятий. Совершенно то же я проделал и в I Сибирском армейском корпусе. Таких случаев было много, и неизменно оканчивались они теми же результатами.

В это безвыходно тяжелое время Борис Савинков, состоявший комиссаром при Корнилове на Юго-западном фронте, прислал телеграмму Керенскому, в которой доносил, что заменивший меня главкоюз ген. Гутор, по мнению исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов юзфронта, негоден и что он просит назначить Корнилова. Керенский, приехав ко мне в Ставку, поручил мне съездить на юзфронт для смены Гутора и водворения на его место Корнилова. Я считал, что смена командного состава, в особенности на таких крупных должностях, как главнокомандующие фронтами, по требованию солдатских депутатов—чревата дурными последствиями, но в конце-концов согласился на настояния Керенского. Приехав на юзфронт, я встретил неожиданное препятствие в лице самого Корнилова, который заявил мне, что заместить Гутора он согласен лишь при выполнении тех условий, которые он мне предъявит. На это я ему ответил, что никаких его условий в данный момент я выслушивать не буду и не приму и считаю, что высший командный состав подает в данном случае дурной пример отсутствия дисциплины, торгуясь при назначении в военное время чуть ли не на поле сражения. Тогда он сдался и без дальнейших возражений вступил в исполнение своих новых обязанностей.

Не успел я вернуться обратно в Могилев, как Керенский опять приехал в Ставку с требованием Корнилова и Савинкова немедленно восстановить полевые суды и смертную казнь. В принципе против этого требования в военное время ничего нельзя было возразить, но весь вопрос состоял в том, кто же будет выполнять эти приговоры. В той фазе революции, которую мы тогда переживали, трудно было найти членов полевого суда и исполнителей его смертных приговоров, так как они были бы тотчас убиты и приговоры остались бы невыполненными, что было бы окончательным разрушением остатков дисциплины. Тем не менее, по настоянию Керенского, я подписал этот приказ и разослал по телеграфу. Должен, однако, сознаться, что этот приказ не был выполнен и остался на бумаге.

Из всего вышеизложенного не трудно вывести заключение, что мы воевать больше не могли, ибо боеспособность армии по вполне понятным основаниям, оставляя даже в стороне шкурный вопрос,—перестала существовать.

Нужны были новые лозунги, ибо старые уже не годились. Не говорю уже про лозунг «За веру, царя и отечество», который был сброшен революцией; но и лозунги Временного правительства и тогдашнего Совета рабочих и солдатских депутатов: «Мир без аннексий и контрибуций» и «Право самоопределения народов»—очевидно не годились для продолжения войны.

Впоследствии выдвинутые большевиками лозунги: «За рабоче-крестьянскую власть» и «Долой буржуев-капиталистов» были народу вполне приятны и понятны. По справедливости опять-таки скажу, что не могу до сих пор понять партий кадетов, меньшевиков и эсеров, поедом евших друг друга, боровшихся за власть и усердно разрушавших те устои, на которых, по их мнению, они укрепились. Как бы то ни было, но мы продолжали тянуть нашу лямку.

Во второй половине июля я получил телеграфное извещение Керенского, в котором он мне сообщал, что назначает совещание высшего командного состава, которое должно решить, что дальше делать. Одновременно с этим я получил частное извещение, что Керенский просил Временное правительство о смене меня, как человека, борющегося с его распоряжениями, и просил назначить на мое место Корнилова. Я понял, что Борис Савинков проводит своего кандидата, и очень охотно этому покорился, ибо считал, что мы больше воевать не можем.

Положение на фронте было тяжелое, дисциплина пала, основы ее рухнули, армия развалилась. Я был бессилен, ибо, предъявляя просьбы и требования относительно необходимого укрепления дисциплины, я сознавал, что тогда еще не настало время, чтобы сама жизнь заставила переменить отношение всех к этому во-

просу. Мне предстояло стоять на месте и ждать окончательной погибели армии.

Итак, получив телеграмму военного министра о желании его устроить совещание в Ставке, я пригласил, кроме генералов Алексеева и Рузского, главнокомандующих Западного и Северного фронтов Деникина и Клембовского, которые, по сложившейся обстановке, могли оставить на время свои прямые обязанности, но главнокомандующего юзфронтом ген. Корнилова я пригласить не мог, так как в то время весь удар противника был направлен против его фронта и конечно всем понятно, что в период развития военных действий главнокомандующему армиями ни на минуту нельзя отлучиться от своих войск. То же самое относилось и к ген. Щербачеву, который вел наступательную операцию на румынском фронте. Все подробные отзывы и донесения по затронутым вопросам я запросил от них по телеграфу. Полученные ответы я доложил на совещании в Ставке.

В этот день произошел странный инцидент, от меня не зависящий, но комментировавшийся в то время на все лады. Нам было сообщено, что министр прибывает в 2 ч. 30 м. дня, но прибыл он на час раньше, и в тот момент я был занят с моим начальником штаба оперативными распоряжениями. Я не мог во-время попасть на вокзал, чтобы встретить его. Ввиду спешности вопросов, разрешавшихся нами, и ген. Лукомский посоветовал мне не ехать. Все равно мы должны были сейчас же встретиться с Керенским на совещании. Но занятия наши были прерваны появлением адъютанта Керенского, передавшего мне требование министра немедленно явиться на вокзал вместе с начальником штаба. Мы поехали. В тот же день мне передали, что Керенский рвал и метал на вокзале, грозно заявляя, что генералы разбаловались, что их надо подтянуть, что я не желаю его знать, что он требует к себе внимания, ибо «прежних» встречали, часами выстаивая во всякую погоду на вокзалах, и т. д. Все это было очень мелочно и смешно, в особенности по сравнению с той трагической обстановкой на фронте, о которой мы только что совещались с начальником штаба.

Когда я вошел в вагон министра, он мне лично не высказал своего неудовольствия и упреков не делал, но сухое холодное отношение сразу же почувствовалось. Он потребовал доклада о положении дел на фронте, что я немедленно вкратце исполнил. Я предупреждал его, что моральное состояние наших армий ужасно. Подробно говорить я не мог, ибо время приближалось к 4 часам, а заседание было назначено в 3 часа. Нас ждали, и я принужден был задать вопрос, не благоугодно ли ему будет отложить заседание или поторопиться ехать. На последнее он согласился, и мы поехали в генерал-квартирмейстерскую часть, где все члены совещания уже были собраны.

В промежутке между заседаниями военный министр и все участники обедали у меня. Мы обсудили и разобрали все вопросы, которые возбудил военный министр. Заседание затянулось до 12 часов ночи. Я подчеркиваю, что лично никаких пессимистических взглядов не выражал, а лишь определенно объяснил, каково было в то время действительное состояние армии. Я заявил, что стараюсь выполнять программу, выработанную моим предшественником Алексеевым, хотя считаю, что ее выполнить мудрено. Клембовский заявил что-то вроде меня. Когда же дело дошло до Деникина, то он разразился речью, в которой яро заявлял, что армия более не боеспособна, сражаться более не может и приписывал всю вину Керенскому и Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов. Керенский начал резко оправдываться и вышло не совещание, а прямо руготня. Деникин трагично махал руками, а Керенский истерично взвизгивал и хватался за голову. Этим наше совещание и кончилось.

Керенский мне говорил за обедом, что просит меня приехать в Москву, где будет общегосударственное совещание, но я ему на это ничего не ответил, чувствуя, что это с его стороны обман, и что моя песенка спета. Я не хотел уходить в отставку, считая, что было бы нечестно с моей стороны бросить фронт, когда гибнет Россия. Такое предположение меня сильно тогда оскорбляло. В воспоминаниях бывшего французского посла Палеолога прямо говорится, что будто я просил отставки,—это одна из многих неправд, которые говорили и писали обо мне[35]. С первого дня войны и до дня моего увольнения, в течение ровно трех лет, я ни разу никуда не отлучался ни на один день, исполняя бессменно свои тяжелые обязанности. За это время в течение 20 месяцев я командовал VIII армией, которая достаточно прославилась боевыми подвигами. В течение 14 месяцев я был главнокомандующим армиями Юго-западного фронта. В то время мое наступление 1916 года не было еще забыто. Я никуда и никогда лично не просился и как солдат исполнял те обязанности, которые на меня возлагались. В исполнение своего долга я вкладывал свою душу, войска меня знали так же, как и я их знал, а потому меня крайне оскорбило, когда на другой день после совещания в Ставке я получил следующую телеграмму: «Временное правительство постановило назначить вас в свое распоряжение. Верховным главнокомандующим назначен ген. Корнилов. Вам надлежит, не ожидая прибытия его, сдать временное командование начальнику штаба верховного главнокомандующего и прибыть в Петроград. Министр-председатель, военный и морской министр Керенский».

Меня поразила эта необычайная спешность, которая оказалась необходимой для удаления меня из Ставки. Я тотчас же ответил, что уезжаю, но прошу разрешения ехать не в Петро-

град, а в Москву, где находилась семья моего единственного брата, где я имел квартиру, и мне хотелось отвезти самому мою жену, сильно потрясенную всем происшедшим, на что я получил разрешение. Я выехал в тот же день, сдав должность ген. Лукомскому, радуясь, что Корнилова не видел, ибо вполне был убежден, что он со своим другом Савинковым устроит какую-нибудь выходку, которая будет губительна не для него одного. Я давно изучил все его привычки и сноровки. Далее скажу о нем несколько слов подробнее, а теперь вернусь к вопросу о моей отставке, так грубо и незаслуженно мною полученной.

На пути в Москву я обдумывал и вспоминал некоторые разговоры и подробности за последние недели моего пребывания на фронте. Однажды мне келейно был задан вопрос: «Буду ли я поддерживать Керенского в случае, если он найдет необходимым возглавить революцию своей диктатурой». Я решительно ответил: «Нет, ни в каком случае, ибо считаю в принципе, что диктатура возможна лишь тогда, когда подавляющее большинство ее желает». А я знал, что кроме кучки буржуазии ее никто не хотел, в особенности же ее не хотела вся солдатская масса на фронте, которая приняла бы это, как контрреволюцию, следствием чего явилось бы непременно избиение офицерского состава. Это— во-первых, а во-вторых, я считал Керенского по свойству его истеричной натуры лицом для этого дела абсолютно не подходящим. Тогда мне был предложен вопрос: «Не соглашусь ли я сам взять на себя роль диктатора?» На это я также ответил решительным отказом, мотивируя это простой логикой: ибо кто же станет строить дамбу во время разлива реки,—ведь ее снесут неминуемо прибывающие революционные волны. Ведь судя по ходу дел, зная русский народ, я видел ясно, что мы обязательно дойдем до большевизма. Я видел, что ни одна партия не обещает народу того, что сулят большевики: немедленно мир и немедленно дележ земли. Для меня было очевидно, что вся солдатская масса обязательно станет за большевиков, и всякая попытка диктатуры только облегчит их торжество. Впрочем, вскоре выступление Корнилова это явно доказало и только вызвало избиение офицеров и всевозможные неистовства. Корнилов, вероятно, на подобные же вопросы отвечал согласием еще заранее и только в последнюю минуту вместо Керенского решил провозгласить диктатором себя. Но это, конечно, лишь мое предположение, я не знаю, задавали ли ему подобные вопросы, или нет, но для меня это казалось вероятным.

Корнилова я узнал в 1914 году при прибытии XXIV корпуса во вверенную мне армию. Он состоял командиром бригады, но тут же в начале военных действий, по ходатайству командира корпуса Цурикова, был мною назначен командующим 48-й пехотной дивизии. Это был очень смелый человек, решивший, очевид-

но, составить себе имя во время войны. Он всегда был впереди и этим привлекал к себе сердца солдат, которые его любили. Они не отдавали себе отчета в его действиях, но видели его всегда в огне и ценили его храбрость.

В первом сражении, в котором участвовала его дивизия, он вылез без надобности вперед, и когда я вечером отдал приказ этой дивизии отойти ночью назад, так как силы противника, значительно нас превышавшие, скапливались против моего центра, куда и я стягивал свои силы,—он приказа моего не исполнил и послал начальника штаба корпуса ко мне с докладом, что просит оставить его дивизию на месте. Однако, он скрыл эту просьбу от командира корпуса Цурикова. За это я отрешил начальника штаба корпуса Трегубова от должности (об этом я говорил в своем месте). Наутро дивизия Корнилова была разбита и отброшена назад, и лишь 12-я кавалерийская дивизия своей атакой спасла 48-ю пехотную дивизию от полного разгрома, при этом дивизия Корнилова потеряла 28 орудий и много пулеметов. Я хотел тогда же предать его суду за неисполнение моего приказа, но заступничество командира корпуса Цурикова избавило его от угрожавшей ему кары. Вскоре спустя Корнилов, при атаке противника в Карпатах, когда ему было приказано не переваливать хребта, а, отбросив противника до перевала, вернуться обратно, согласно приказу главнокомандующего Иванова,—он опять не послушался, спустился вниз на южный склон к селу Гуменному. Там, как я упоминал выше, он был окружен, потерял бывшую с ним артиллерию и обозы и вернулся тропинками, оставив у неприятеля свыше 2 тысяч пленных. Опять Цуриков начал усиленно просить помиловать Корнилова.

Наконец, уже в III армии, весной 1915 года, при атаке этой армии Макензеном он не исполнил приказания отступить, был окружен и сдался в плен со всей своей дивизией. Убежав из плена, он явился в Ставку и был принят государем. Не знаю, что он ему рассказывал, но кончилось тем, что ему был пожалован орден св. Георгия 3 степени и он был назначен командиром кажется XXV корпуса на моем фронте. После Февральской революции он был вызван в Петроград Временным правительством, которое назначило его главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. На этой должности он ничего сделать не мог и просил вернуть его в действующую армию. Его назначили командующим VIII армией. Он тотчас же подружился с Борисом Савинковым, который состоял его комиссаром, и повел интригу против главкоюза ген. Гутора.

Свалив его и заместив, он начал вести интригу против меня, верховного главнокомандующего, и благодаря дружбе Савинкова с Керенским вполне успел и заместил меня.

Но тут он свалился сам, решив повалить Керенского и провозгласить себя диктатором.

Считаю, что этот безусловно храбрый человек сильно повинен в излишне пролитой крови солдат и офицеров. Благодаря своей горячности, он без пользы губил солдат, а провозгласив себя без всякого смысла диктатором, погубил своей выходкой множество офицеров. Но должен сказать, что все, что он делал, он делал, не обдумав, не вникая в глубь вещей, но с чувством честного русского патриота. И теперь, когда он давно погиб, я могу только сказать: «Мир праху его», как и всем, подобным ему пылким представителям нашей бывшей России. От души надеюсь, что русские люди будущего сбросят с себя подобное вредное сумасбродство, хотя бы и руководимое любовью к России.

Как известно, он был арестован и со своими сподвижниками был отправлен для содержания под арестом в Быхово. Во время Октябрьского переворота он убежал оттуда, чем окончательно погубил Духонина, и в сопровождении текинского конного полка отправился на юг в Донскую область, где соединился с Алексеевым и Деникиным.

Возвращаясь мысленно к прошлому, я часто теперь думаю о том, что наши ссылки на приказ № 1, на декларацию прав солдата, будто бы главным образом развалившие армию, не вполне верны. Ну, а если эти два документа не были бы изданы,—армия не развалилась бы? Конечно, по ходу исторических событий и настроения масс она все равно развалилась бы, только более тихим темпом. Прав был Гинденбург, говоря, что выиграет войну тот, чьи нервы крепче. У нас они оказались наиболее слабыми, потому что мы должны были, вследствие отсутствия техники, восполнять этот недостаток излишне проливаемой кровью. Нельзя безнаказанно драться чуть ли не с голыми руками против хорошо вооруженного современной техникой и воодушевленного патриотизмом врага. Да и вся правительственная неразбериха и промахи помогли общему развалу. Нужно также помнить, что революция 1905/06 годов была только первым актом этой великой драмы. Как же воспользовалось правительство этими предупреждениями? Да, в сущности никак: был лишь выдвинут вновь старый лозунг «Держи и не пущай», а все осталось по-старому. Что посеяли, то и пожали!..

Я больше 50 лет служу русскому народу и России, хорошо знаю русского солдата и не обвиняю его в том, что в армии явилась разруха. Утверждаю, что русский солдат — отличный воин и, как только разумные начала воинской дисциплины и законы, управляющие войсками, будут восстановлены, этот самый солдат вновь окажется на высоте своего воинского долга, тем более если он воодушевится понятными и дорогими для него лозунгами. Но для этого требовалось время.

Этим я заканчиваю мой 1-й том воспоминаний. Если бог жизни даст, постараюсь вспомнить все подробности моей жизни при новом режиме большевиков в России. Из всех бывших главнокомандующих я остался в живых и на территории бывшей России—один. Считаю своим священным долгом писать правду для истории этой великой эпохи. Оставаясь в России, несмотря на то, что перенес много горя и невзгод, я старался беспристрастно наблюдать за всем происходящим, оставаясь, как и прежде, беспартийным. Все хорошие и дурные стороны мне были заметнее. В самом начале революции я твердо решил не отделяться от солдат и оставаться в армии, пока она будет существовать или же пока меня не сменят. Позднее я говорил всем, что считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы это ни стоило. Одно время, под влиянием больших семейных переживаний и уговоров друзей, я склонялся к отъезду на Украину и затем за границу, но эти колебания были непродолжительны. Я быстро вернулся к моим глубоко засевшим в душе убеждениям. Ведь такую великую и тяжелую революцию, какую Россия должна была пережить, не каждый народ переживает. Это тяжко, конечно, но иначе поступить я не мог, хотя бы это стоило жизни. Скитаться же за границей в роли эмигранта не считал и не считаю для себя возможным и достойным.

В заключение мне хочется сказать, какое глубокое чувство благодарности сохранилось в душе моей ко всем верившим мне моим дорогим войскам. По слову моему они шли за Россию на смерть, увечья, страдания. И все это зря... Да простят они мне это, ибо я в том не повинен, провидеть будущее я не мог.

Приложение 1

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ «ОПАСНОЕ ОТКРЫТИЕ» [1].

(№ 4 журнала «Война и мир» за 1922 год.)

Только теперь, в марте 1923 года, я прочел статью проф. Кельчевского «Опасное открытие» в берлинском журнале «Война и мир», в которой им разбирается оставшаяся мне неизвестной статья генерала Борисова «Два основных изменения в теории военного искусства по опыту войны 1914—18 годов».

Считаю полезным, во имя исторической справедливости, разъяснить те неточности, которые случайно вкрались в статью проф. Кельчевского относительно действий армий Юго-западного фронта во время моего наступления в 1916 г. Это разъяснение необходимо, как мне кажется, для правильного и нелицеприятного освещения этого периода войны 1914—17 годов на русском фронте.

Начну с того, что полностью, без всяких оговорок, присоединяюсь к конечным выводам проф. Кельчевского. Лично я ничего решительно не имею против ген. Борисова, мало его знаю, никогда никаких столкновений с ним не имел, но не могу не сказать, что в войсках Юго-западного фронта он слыл за «злого гения генерала Алексеева», и все ошибки стратегического и тактического свойства приписывались его влиянию. Не знаю, так ли это было в действительности, но таково было общее мнение. Во всяком случае, следует признать, что было предпочтительно обходиться без подобных негласных безответственных советников, вносящих обыкновенно сумбур и сумятицу с явным вредом для дела.

К тем прегрешениям 1914 года на Юго-западном фронте, которые перечисляет проф. Кельчевский, должен добавить еще одно, по моему мнению, важнейшее. Тотчас по окончании так называемой великой галицийской битвы, когда австро-венгерская армия была сильно потрясена и расстроена, но не разгромлена вполне,— простой здравый смысл побуждал закончить ее разгром и нанести ей такое поражение, от которого она не могла бы оправиться. Это повело бы за собой выход из войны Австро-Венгрии к концу того

[1] Ввиду того, что статья эта не была помещена в журнале, как я просил, присоединяю ее к моим воспоминаниям. Пусть читатель не посетует на меня за неизбежные повторения! *А. Б.*

же 1914 г., и вся всемирная война приняла бы совершенно иной оборот. Для этого было настоятельно необходимо настойчиво преследовать разбитого противника, не давая передышки, и тем окончательно добить его и уничтожить.

На это можно, конечно, возразить, что наша армия была крепко переутомлена, ряды ее сильно поредели, она нуждалась в отдыхе, чтобы привести себя в порядок, отдохнуть и пополнить свой состав. Чутье полководца должно было подсказать, что надо было сделать: дать ли своей армии отдых для приведения ее в порядок и затем продолжать наступление, или же, опираясь на великолепный в то время дух победоносной армии, гнать противника без передышки до полного его уничтожения.

Главное командование приняло первый из двух указанных способов действия, а по моему мнению надо было остановиться на втором, который давал возможность блестяще закончить войну в кратчайший срок, поставив Австро-Венгрию на колени уже к концу 1914 года. Должен признать, что в то время я и мои сотрудники выходили из себя, чувствуя, что этот, по нашему мнению, преступный по несвоевременности отдых повлечет в будущем неисчислимые отрицательные последствия. Мне приходилось слышать возражения, что наши армии были настолько утомлены, что гнаться за быстро уходившим противником не было возможности, так как было бы много отсталых и вперед пошли бы лишь головы полков, а не полки. В действительности же вовсе не требовалось двигаться всей массой без отсталых, и для уничтожения австровенгерцев достаточно было бы и таких частей, которые состояли к тому же из лучших элементов по нравственной и физической силе. Кто хочет получить великие результаты, тот должен для их получения принести великие жертвы, которые в будущем окупились бы сторицею во всех отношениях.

Теперь перейдем к 1916 году. В начале марта я был назначен главнокомандующим армиями Юго-западного фронта, а 1 апреля в Ставке состоялся военный совет, на который прибыли все главнокомандующие. Мне еще раньше было сообщено, что Ставкой (ген. Алексеев) было решено нанести главный удар Западным фронтом генерала Эверта, причем его должен был поддержать Северный фронт ген. Куропаткина. Что касается Юго-западного фронта, то предполагалось, что его армии останутся на своих местах и будут выжидать, пока их северные соседи не выдвинутся вперед, и только в случае удачи их атаки Юго-западный фронт должен был присоединиться к общему наступлению. Такая скромная роль была назначена Юго-западному фронту на том основании, что только что смененный главкоюз Иванов заявил, что его армии более не боеспособны, для наступления не годятся и в состоянии вести лишь оборонительные бои. Я с ним радикально расходился во взглядах на состояние войск фронта.

На военном совете первым говорил ген. Эверт и, высказывая весьма пессимистический взгляд на общее положение, полагал, что у него недостаточно средств для перехода в успешное наступление, т. е. нехватает тяжелой артиллерии и к ней снарядов, мало войск в резерве, причем он требовал еще 5—6 корпусов и значительного увеличения воздушного флота. На это ген. Алексеев возразил, что на Западный фронт брошено все, что возможно, и весь резерв главковерха в смысле войск, артиллерии, патронов, снарядов и самолетов ему отданы почти безраздельно, тогда как Северный фронт усилен незначительно, а Юзфронту ничего давать не предполагается. Генерал Куропаткин лишь усилил пессимистический доклад Эверта и заявил, что никакого успеха у себя не ожидает и ожидать не может из-за недостатка сил и средств.

Я заявил, что считаю свои армии вполне боеспособными и совсем не согласен на роль, которая предназначена Юзфронту: пассивно смотреть, как дерутся соседи. Нашим врагам, действующим по внутренним линиям, вполне естественно наносить по возможности неожиданные удары в каком-либо месте их Западного или Восточного фронта, но нам и нашим союзникам, действующим по внешним операционным линиям, подражать в данном случае неразумно, и мы, наоборот, должны атаковать сразу на всех наших фронтах, дабы помешать противнику перекидывать свои войска на угрожаемый пункт. Имея в виду общую пользу и стремясь не помешать главному удару, я не просил подкреплений, но полагал необходимым атаковать одновременно всеми армиями, чтобы связать вражеские войска и не дать им возможности поддержать дивизии, на которые обрушится главный удар генерала Эверта.

Ген. Алексеев согласился с этим планом, но предупредил, что на наиболее обездоленный во всех отношениях Юзфронт он не даст никаких подкреплений, и что я должен рассчитывать только на те силы, которые имеются в моем распоряжении. После моего доклада, Эверт и Куропаткин смягчили свои заключения и заявили, что надежда на успех у них есть.

К 10 мая мы должны были быть готовыми к переходу в общее наступление, о чем за 8 дней нас должны были предупредить. Вернувшись на свой фронт, я собрал в Волочиске командующих армиями и предложил каждому из них приготовить в районе своей армии участок для атаки, куда и сосредоточить посильный резерв и представить возможно скорее свой план действий мне на утверждение. Главный удар на Юзфронте, по указанию Ставки, должен был наноситься VIII армией в направлении на Луцк—Ковель, чтобы оказать поддержку Эверту; затем я придавал важное значение IX армии, оперировавшей на румынской границе, чтобы подбодрить румын, все время колебавшихся, на чью же сторону стать.

Не буду здесь останавливаться на принятых мерах по сокрытию от врага наших намерений, но скажу, что нам это вполне удалось.

11 мая я неожиданно получил телеграмму от ген. Алексеева, в которой он запрашивал меня, могу ли я немедленно перейти в наступление и тем оказать помощь Италии, грозившей, в случае отказа, заключить сепаратный мир. Я ответил, что готов, и по условию через 8 дней перейду в наступление всеми армиями, т. е. атакую 19 мая, но при непременном условии, чтобы Эверт, наносивший главный удар и снабженный к тому же всеми средствами, перешел в наступление одновременно со мной.

18 мая вечером я был вызван к прямому проводу ген. Алексеевым, который сообщил мне, что Эверт еще не готов, но обещает перейти в наступление 25 мая. Поэтому мне предлагается отсрочить атаку до 22. Я ответил согласием и тотчас же сообщил об отсрочке вверенным мне армиям, а Алексеева просил сказать, уверен ли он, что Эверт действительно выполнит свое обещание в назначенный им срок. Получив вполне утвердительный ответ, я еще раз заявил, что если Эверт вновь отсрочит, то поставит Юзфронт в тяжелое положение, и что в этом случае даже вполне удачное наступление моего фронта, вызвав большое кровопролитие, не даст никаких ощутительных стратегических результатов, ибо противник стянет против меня такие силы, которые я не в состоянии буду преодолеть.

21 мая я был опять вызван к прямому проводу ген. Алексеевым в 12 часов ночи, и он мне заявил, что главковерх желал бы отсрочить атаку недели на две с тем, чтобы переменить в корне систему моего наступления, т. е. чтобы все армии в бездействии стояли на своих местах, атаку же чтобы произвела одна только VIII армия, направленная на Ковель, ибо для главковерха имеет в данное время значение лишь Ковель.

Я ему ответил, что предлагаемая мне система атаки лишь в одном участке уже многократно испытывалась у нас и на западе французами, англичанами и немцами у Вердена и везде одинаково терпела неудачу, и применять ее я не хочу. Поэтому прошу меня сменить и назначить другого главкоюза. Далее отсрочивать день наступления отказываюсь, ибо в данное время все войска находятся в исходном положении для атаки и вторая отмена обескуражит войска, которые потеряют доверие к моим распоряжениям.

М. В. Алексеев мне сообщил, что в данное время главковерх лег спать и он его будить не может, и просил меня еще раз обдумать и взвесить мое решение. В этом я ему решительно и наотрез отказал, заявив, что ни в каком случае не уступлю и если мне не будут развязаны руки, то я настаиваю на моей смене. Тогда Алексеев заявил, что он берет ответственность на

себя и от имени главковерха разрешает действовать по моему усмотрению. Таким образом, с рассветом 22 мая во всех армиях Юзфронта началась атака противника на всех подготовленных участках для их прорыва.

Из этого ясно видно, что, во-первых, XI армия, вопреки утверждению проф. Кельчевского, перешла в наступление не по своей инициативе, а по заранее утвержденному мною плану и по моему приказанию; во-вторых, я не мог перенести главный удар фронта из VIII армии в IX по той причине, что Ставка все время до самой осени настойчиво требовала наступления на Ковель и все присылавшиеся мне резервы сама направляла в г. Ровно. Сознавая необходимость подкрепления и усиления IX армии, я, однако, мог посылать ей лишь второочередные дивизии и в этом случае сделал все, что мог. Ставка мало интересовалась IX армией, ее успехи не имели большого влияния на устойчивость Западного фронта и еще менее—Северного, и с этим приходилось мириться. Неудачи на обоих этих фронтах были ей, естественно, ближе успехов на моем крайнем левом фланге.

Должен еще добавить, что 25 мая, когда Эверт должен был перейти в наступление, он донес, что вследствие дождей он откладывает свое наступление на г. Вильно до 5 июня, а затем заявил, что противник на подготовленном участке настолько усилился, что он считает невозможным атаковать его здесь и переносит свой удар к Барановичам; для подготовки же в этом новом направлении требует не менее двух недель сроку. Когда же, наконец, во второй половине июня он произвел свое наступление, то потерпел, как и следовало ожидать, полную неудачу.

По справедливости я не могу признать за собой какой бы то ни было вины в этой печальной по результатам неразберихе. Ведь я стоял во главе одного из фронтов и по долгу совести и службы был обязан выполнить общие предначертания верховного главнокомандования. Я не вхожу в детали всего переживавшегося мною за все это время (собак на меня вешали и сверху, и снизу, и сбоку) и умолчу про те сплетни и интриги, которые доходили до меня с разных сторон, но добавлю лишь, что, по моему убеждению, сделано было все, чтобы наступление Юзфронта кончилось ничем. Подкрепления посылались мне несвоевременно, по каплям и не туда, куда я просил; и в то время, когда по условиям наших железнодорожных перевозок мне доставлялся один корпус, противнику подвозилось три. На этом-то основании, для пользы общего дела всего нашего фронта, а не одного Юзфронта, я полагал более целесообразным настоятельно требовать перехода в решительное наступление Западного и Северного фронтов.

Слыхал я по этому поводу критику, что я—странный военачальник, не желающий сделать мой фронт главным и прославить-

ся. На это могу ответить, что вообразить мой фронт главным я не мог потому, что все средства для главного удара были у Западного, частью—у Северного фронта. Перекинуть все силы и средства этих фронтов ко мне не было возможности, а запоздалые подкрепления не сулили успеха, а только увеличивали потери в людях.

Трудно теперь мне наводить строгую критику на действия тогдашних руководителей и деятелей в высшем военном мире, ибо никого из них уже нет более в живых; скажу лишь, не греша против истины, что ген. Эверт, также ныне покойник, был излюбленным детищем Ставки, и ему все сходило с рук благополучно, а покойного Куропаткина М. В. Алексеев, из уважения к этому бывшему своему начальнику, не желал трогать и уязвлять. Затем Куропаткина отправили в Туркестан, и главкосевом стал опять ген. Рузский, имевший особые счеты с наштаверхом и стремившийся стать помощником главковерха, т. е. сесть на шею Алексееву, или же, если это не удастся, то стать главкоюзом мне на смену, так как по состоянию его слабого здоровья он плохо переносил климат Пскова и стремился к теплу. Как я раньше говорил, я не хочу вдаваться ни в какие личные счеты, и если я в конце этой статьи поместил несколько строк с упоминанием тех или иных имен, то сделал это вынужденно, чтобы дать понятие о той обстановке, в которой приходилось работать в самом разгаре военных действий. Не могу не признать, что такая обстановка далеко не способствовала успеху дела. Слыхал я упреки, что я не жалел дорогой солдатской крови. Признать себя в этом виновным я по совести не могу. Правда, раз дело началось, я настоятельно требовал доведения его до успешного конца. Что же касается количества пролитой крови, то оно зависело не от меня, а от тех технических средств, которыми меня снабжали сверху, и не моя вина, что патронов и снарядов было мало, недоставало тяжелой артиллерии, воздушный флот был до смешного мал и недоброкачественен и т. д. Все подобные тяжкие недочеты, конечно, влияли на увеличение наших потерь убитыми и ранеными. Но при чем же я тут? В моих настоятельных требованиях не было недостатка, и это все, что я мог сделать.

М. В. Алексеев был, несомненно, человек добрый, благожелательный, умный и знающий стратег, но он ни в какой мере не был политиком и царедворцем, а в его положении, в бесконечно трудной обстановке, это был важный недочет. К крайнему сожалению, он также не обладал твердым характером, которым его принципал—Николай II—обладал еще в меньшей степени. Взамен твердой воли у главковерха появлялась большая переменчивость нрава, чтобы не сказать больше. Это всегда большой недочет, а в военное время это уже прямо неизмеримая беда.

и можно сказать, что в данном случае главковерх и наштаверх не подходили друг к другу.

Наконец, если взять план военных действий на 1916 год, то мы видим, что было окончательно решено нанести главный удар Западным фронтом, для чего этот фронт был снабжен решительно всеми средствами, какие только можно было достать, и была оказана посильная помощь Северному фронту, на который было возложено нанести вспомогательный удар; Юзфронту же разрешалось лишь, по его собственному почину, перейти в наступление с исключительной целью—задержать на своих местах противостоящего противника, почему Юзфронту и не было ничего дано. Для выполнения этой задачи я и подготовил свой фронт сообразно с данной ему целью. Что же из этого вышло и как был выполнен утвержденный план? Ставка сама потребовала перехода в наступление Юзфронта первым для спасения Италии и облегчения французов под Верденом, т. е. неожиданно передала главный удар слабейшему фронту, оставив все средства Запфронту, и только впоследствии, по каплям, посылала Юзфронту запоздалые подкрепления пакетами. Сильнейший Запфронт ничего не подготовил, к назначенному времени готов не был, запоздало атаковал, не подготовив атаки, почему потерпел крупную неудачу, и на этом успокоился. О Северном же фронте не стоит и говорить: никому и ничем он не помог.

Представляю судить беспристрастному знатоку военного дела, как назвать подобную операцию и кто виноват в преступном ее выполнении. Пусть по совести скажет читатель, можно ли при таких условиях выиграть войну и за что-про что легли костьми десятки тысяч честных и храбрых воинов. И за что-про что спустя несколько лет обрушиваются на меня всевозможные критики, совершенно упускающие из виду мое невыносимо трудное положение в то время среди множества течений у высших лиц, почти всегда делавших меня козлом отпущения за свои собственные грехи. Да простит им будущая Россия, как я прощаю от всей души. Но история должна знать правду, и я бы не стал трогать этих вопросов, если бы меня на это не вызвали.

Приложение 2.

ДЕНИКИН.

(По поводу «Очерков русской смуты».)

Мимолетно я познакомился с А. И. Деникиным в 1913 году, когда он состоял штаб-офицером для поручений при командующем войсками Киевского военного округа ген. Иванове. В начале всемирной войны, в 1914 году, когда я был назначен командующим VIII армией, входившей в состав армий Юго-западного фронта, начальником штаба вверенной мне армии был назначен ген. Ламновский, состоявший до того генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа, а Деникин получил назначение генерал-квартирмейстера моей армии. Его сердце не лежало к штабной работе, он стремился в строй, тем более что Ламновский не давал ему простора в работе, не доверяя его стратегическим способностям, и сам выполнял его работу, что сводило роль Деникина к выполнению писарских обязанностей. Поэтому, как только открылась вакансия начальника 4-й стрелковой бригады, заслужившей еще в Турецкую войну 1877—78 годов прозвание «железной», он обратился ко мне с просьбой дать ему эту бригаду. Так как он уже раньше откомандовал полком и занимал генеральскую должность, то я согласился на это назначение и просил главнокомандующего юзфронтом Иванова утвердить этот выбор, что и было исполнено.

«Железная» стрелковая бригада была исключительная по своим боевым традициям, и состав ее чинов, в особенности корпус офицеров, был, несомненно, выдающийся. Командуя ею, можно было быть спокойным за свою боевую славу, ибо стойкость этой бригады была беспримерная. В прежние годы мне пришлось слышать, как один из командиров этой бригады (кажется это был генерал Боуфал) при поздравлениях по случаю получения боевых наград воскликнул: «Что бы я мог сделать без моих славных, железных стрелков». Такой скромности у Деникина не оказалось. Деникин в штабе был бесполезен, и я уповал,—в чем не ошибся,—что он окажется на своем месте в строю, возглавляя такую боевую часть.

Эта бригада, впоследствии развернувшаяся в дивизию, была в течение всей мировой войны во вверенной мне VIII армии, а впоследствии, когда я был в должности главкоюза, она осталась

у меня на фронте, и только по назначении моем верховным главнокомандующим я от нее отдалился. Поэтому Деникина, как военачальника и человека, я всесторонне изучил и отлично знаю его все сильные и слабые стороны.

Это—человек характера твердого, но неуравновешенного, очень вспыльчивый и в этих случаях теряющий самообладание, весьма прямолинейный и часто непреклонный в своих решениях, не сообразуясь с обстановкой, почему часто попадал в весьма тяжелое положение. Не без хитрости, очень славолюбив, честолюбив и властолюбив. У него совершенно отсутствует чувство справедливости и нелицеприятия; руководствуется же он по преимуществу соображениями личного характера. Он лично храбрый и в бою решительный, но соседи его не любили и постоянно жаловались на то, что он часто старается пользоваться плодами их успехов. В особенности его терпеть не мог некий корпусный командир З., сражавшийся рядом с ним в 1915—1916 году, часто заявлявший, что помощи от такого соседа он никогда получить не может; непрерывно были у него с ним пререкания, так как в боях Деникин старался присвоить себе плоды его боевых успехов. Подобные жалобы я слыхал и от других его соседей. К этому следует добавить, что Деникин—политик плохой, в высшей степени прямолинейный, совершенно, как я уже сказал, не принимающий в расчет данную обстановку, что впоследствии ясно обнаружилось во время революции.

Вторично я с ним столкнулся в Ставке, в бытность мою главковерхом. В это время он состоял начальником штаба верховного главнокомандующего. Эта должность совершенно к нему не подходила, и решительно не могу понять, почему выбор Гучкова пал на него. Более неподходящего человека к занятию этой должности, конечно, нельзя было найти, и кто рекомендовал его на эту должность—понять не могу.

Деникин встретил меня на вокзале и тотчас же доложил, что просит дать ему какую-либо армию, так как столь обширная стратегическая и в особенности канцелярская работа ему не под силу и она ему не подходит. Конечно, я на это согласился. Вслед за сим открылись вакансии главкосева и главкозапа, и я предложил первую из них ему; он, однако, просил меня дать ему вторую, мотивируя свою просьбу тем, что на Северном фронте дела мало и обстановка очень трудная, а на Западном фронте работа интереснее и можно шире и более плодотворно и блестяще развивать боевые операции. Я и на это согласился, памятуя, что он, как бы то ни было, отличный боевой генерал и при отсутствии соперников на своем фронте не будет иметь случая применять дурные черты своего характера на деле.

Резюмируя все вышеизложенное, я по совести должен признать, что Деникин был выдающийся начальник дивизии, кото-

рый, по моему представлению, был награжден по заслугам в течение войны чинами генерал-майора и генерал-лейтенанта, орденами св. Георгия 4-й и 3-й степени, георгиевским и бриллиантовым оружием и другими орденами с мечами. Карьеру ему сделали славные «железные» стрелки и я. Командиром VIII корпуса он был недолго и ничем не зарекомендовал себя ни в хорошую, ни в дурную сторону, да вскоре и революция видоизменила всю обстановку. Каким он был бы главнокомандующим, я не знал, но с должности начальника штаба верховного главнокомандующего это был естественный прямой путь, и я уповал, что он с этим делом справится. Ошибся я лишь в том, что не учел изменившуюся революционную обстановку и свойственные Деникину прямолинейность, упрямство и страшное самолюбие.

Я не собираюсь мыть грязное белье на потеху публики совместно с Деникиным, но на явную клевету или искажение действительно бывшего, во имя исторической правды, считаю своим нравственным долгом ответить хоть на главную часть извращений моих действий.

В этом отношении мне на помощь приходят «Мои воспоминания» Эрика Людендорфа, который как раз отмечает и опровергает инсинуации Деникина. Например, Деникин утверждает в 1-й части своих воспоминаний, говоря о конце ноября и начале декабря 1914 года, что я неизвестно чего испугался и неожиданно приказал моей армии отступать, а со всем штабом чуть не обратился в бегство. Между тем Корнилов, спустившийся со своей 48-й дивизией на южный склон Карпат к селу Гуменному, и Деникин с 4-й стрелковой бригадой, взявший железнодорожную станцию Мезалоборчь, мною оттуда отозванные, отступали совершенно спокойно и никак не могли понять, отчего я потерял голову. В штабе же армии произошла в это же время якобы трагедия между мной и начальником санитарной части ген. Панчулидзевым из-за того, что тот пошел объясняться со мной по поводу моего необъяснимого отступления. В действительности же дело происходило так.

В конце ноября после месячного боя у Перемышля австрийская армия, стоявшая против меня, стала быстро отступать на запад и за Саноком уклонилась к югу, заняв относительно VIII армии фланговую, заранее подготовленную позицию на Карпатах. Я решил атаковать противника, переменив фронт к югу, и старался перевалить через Карпаты с тем, чтобы окончательно разбить эту армию и выйти на Венгерскую равнину, направлением на Будапешт или куда укажет Главное командование, но просил вместе с тем усиления армии одним армейским корпусом и возможно большим числом кавалерии при непременном условии широкого снабжения армии огнестрельными припасами. На это

я получил ответ главкоюза ген. Иванова, в котором он мне сообщал, что в его намерение не входит спускаться на Венгерскую равнину и что мне не предоставлено право ставить себе задачи, а что это обязанность его, главнокомандующего. Ему же нужно, чтобы я спешно шел на помощь III нашей армии, которая подходит к г. Кракову. На эту директиву я ответил, что, имея значительные неприятельские силы против моего левого фланга, я не могу немедленно и безостановочно двигаться на запад; что раньше необходимо разбить вышеуказанного противника, дабы обеспечить свое движение на запад; что у меня из четырех корпусов один (седьмой) оставлен в тылу, на Карпатах, обеспечивая мой тыл; отбросив же вглубь Карпат стоящего на моем левом фланге противника, если мне не удастся разбить его наголову и если ему не будут присланы подкрепления, мне придется оставить еще один корпус. Таким образом, у меня останется всего два корпуса для действия на запад, да и то лишь после того, как я разобью австрийцев, что займет много времени, ибо действия в горах поневоле медленны. На этот доклад я получил от Иванова громоносную телеграмму, полную упреков, что я не хочу исполнять приказаний моего главнокомандующего, который отвечает за отданные им приказания, и что он требует от меня точного исполнения его директив. Тогда я вызвал к прямому проводу начальника штаба Юзфронта ген. Алексеева и просил мне ясно указать, как мне поступить. Он по прямому же проводу ответил, что очевидно я должен начать с того, чтобы отбросить противника на южный склон горного хребта, а затем, *отнюдь не увлекаясь преследованием и оставив один корпус заслоном в горах, спешно итти на помощь III армии, которая попадает в критическое положение.* На выраженное мною сомнение, выдержит ли оставленный заслоном корпус напор противника, который, по моим сведениям, усиливается, он мне возразил, что выбора нет, помочь III армии необходимо, а если мой коммуникационный путь будет отрезан, то я могу отбросить свой тыл к северу. Во всяком случае,—добавил он,—директива Иванова отменена *не будет* и она должна быть обязательно исполнена.

Хотя я этой стратегии никак не мог понять, но долг службы принудил меня покориться, и я дал свою директиву, приказывая по всей линии энергично атаковать врага и отбросить его за перевалы, но нашим войскам запрещал преследовать, а тотчас же, по выполнении задачи, выйти из гор и по данному маршруту двигаться усиленными переходами к Кракову. Заслоном на перевалах я оставил XII армейский корпус в составе трех дивизий, который должен был прикрывать мои коммуникационные пути свыше ста верст, а поэтому он должен был разбросаться пакетами в горах. Корнилов, по своему обыкновению, не исполнил приказа

своего корпусного командира и, увлекшись преследованием, попал в Гуменное, расположенное у подошвы южного склона Карпат, там был окружен и с большим трудом пробился и вернулся тропинками обратно, потеряв свою артиллерию и часть обоза, бывшего с ним. Деникин, взяв Мезалоборчь, выполнил приказ и также вернулся обратно, чтобы следовать по данному ему новому назначению.

Дальше, как я и предполагал, австрийцы, узнав, что перед ними лишь слабые заслоны, и получив сильные подкрепления, конечно, перешли в наступление, сбили заслоны, и разрозненный и разбросанный пакетами XII корпус перед подавляющими его силами стал с боем отходить. Поэтому-то штабу армии, расположенному в г. Кросно, пришлось перенестись к северу в г. Ржешув, чтобы не попасть в плен. Я вызвал Алексеева опять к прямому проводу, сообщил о происшедшем и спросил его, что же теперь делать. Моя армия разбросана, благодаря его приказу, тыл прорван, и она может быть разбита по частям. На это он мне возразил, что мне на месте виднее, что делать, но чтобы восстановить положение, штаб фронта снимает с меня задачу оказать помощь III армии. Я немедленно повернул войска с направления на запад к югу и по всей линии перешел в наступление всеми моими силами. Австрийцы были опять загнаны в Карпаты, и этим этот глупый эпизод закончился. Что касается моих объяснений с Панчулидзевым, то вся эта личная стычка произошла от того, что он, не понимая, что делается, напал на начальника штаба армии, обвиняя его в панике, а тот мне на него пожаловался. Я его к себе потребовал и выругал самым жестоким образом. Вот и все дело. Тут я должен объяснить, что Панчулидзева я любил, как лучшего друга всей жизни. Глубоко убежден, что если бы этот честный человек был жив, то он горячо опровергнул бы инсинуации Деникина.

А вот что по поводу этой операции пишет Людендорф в своих воспоминаниях:

«Генерал фон-Конрад стремился к окружению южного русского крыла (моя VIII армия.—*А. Б.*), имея в виду их охватить из-за Карпат. Для того, чтобы выполнить этот план, он сильно разрядил свой фронт. В бою у Лиманова и Ломанова с 3 по 14 декабря ему удалось разбить русских к востоку от Дунайца (мой заслон—XII корпус.—*А. Б.*). Окружение ген. Бороевичем, по выходе из Карпат, русской армии на участке Сана и Дунайца натолкнулось вскоре на превосходящие силы противника, которые сами немедленно перешли в наступление. Австрийское охватывающее крыло было оттиснуто назад к Карпатам».

Деникин все время инсинуирует на меня, как на мертвого, дает понять, что полководец я плохой, ибо, по его мнению, Корнилов (стр. 81) был железный полководец, а Брусилов «счи-

тался» таким, т. е. не был им, но как бы обманным образом был так прозван. Или в другом месте, говоря о времени после Февральской революции, Деникин удивляется, как мог я официально заявить, что я с молодых лет был революционером и социалистом. Должен сказать, что я ничего подобного не заявлял. В Петроград, кажется в мае, все главнокомандующие с Алексеевым во главе прибыли для выяснения печального положения армии на фронте. В Мариинском дворце были собраны представители Государственной думы и Совета рабочих и солдатских депутатов. Когда по очереди пришлось мне говорить, я обрисовал тяжелый развал армии и сказал, что антимилитаристическая пропаганда в войсках усиленно продолжается и что я ее понимаю, как боязнь контрреволюционных действий начальствующего персонала. Между тем, эта пропаганда беспричинно губит армию, ибо раз я добровольно примкнул к революции, то я стал таким же революционером, как и они все, что я и корпус офицеров вполне лойяльны к русскому народу и честно выполним наш долг и потому пора кончать агитацию в войсках, если желают благополучно кончить войну, и обязаны доверять мне, а не копать исподтишка яму. Я стенографически не мог, конечно, записать своей речи, но ручаюсь, что смысл ее верен. Заявлять же, что я с детства революционер и социалист, я не мог уже потому, что мне никто бы не поверил, да это и было бы ложью, а в этом меня за всю мою жизнь никто, не исключая Деникина, упрекнуть не может.

Продолжая читать «Очерки русской смуты» (в особенности том I—«Крушение власти в армии», февраль—сентябрь 1917 г.), я ожидал, зная свойства характера автора, что он будет пристрастен, но не думал, что он перейдет все грани справедливости и правды. К своим, ко всем тем, к кому он благоволит, он относится с снисхождением и защитой; мне же ставит всякое лыко в строку и, что возмутительнее всего,—взваливает на меня такие речи, которые я не говорил, и обвиняет меня в таких поступках, которых я никогда не совершал.

Конечно, мы оказались в разных лагерях, но я ведь и раньше твердо заявлял, что от русского народа я не отделюсь и останусь с ним, что бы ни случилось. Я так и вел себя с начала революции и до настоящего времени. Я понимал, что раз революция началась в таком обширном и сложном государстве, как бывшая Российская империя, кончиться она ни по чьему велению не может, и у нас обязательно должно дойти до большевизма. Поэтому потуги Корнилова возглавить революцию своей диктатурой меня только огорчали, ибо для меня было очевидно, что это должно было кончиться крахом и пролитием напрасной крови. Можно было огорчаться, скорбеть, видя столь непослушную солдатскую массу, но удивляться этому было странно. Как же эта,

в большинстве темная, солдатская масса могла бы иначе выражать свои желания и надежды? Очевидно, что в начале революции являются эксцессы и беспорядки. Было бы неестественно ждать, что их у нас не будет, несмотря на неустойчивость народа в нравственном отношении. Кто же, когда и как обучал этот народ, и кто о нем серьезно заботился? Давно известно, что революции по приказу не начинаются и не кончаются. Тут—естественный исторический ход событий, который изменить невозможно было ни Деникину, ни Корнилову.

Принадлежа своему народу, я находил вполне правильным разделять его участь. Кстати, А. И. Деникин не упоминает, что во время Октябрьского переворота я был ранен в ногу тяжелым снарядом, который раздробил мне ее настолько основательно, что я пролежал в лечебнице С. М. Руднева 8 месяцев, а когда я вернулся домой, меня арестовали и держали в заключении два месяца, а затем еще два месяца под домашним арестом я продолжал лечить свою раненую ногу. В тот день, когда меня ранили, в мою разгромленную квартиру приходили матросы с заявлением, что по чьему-то распоряжению должны убить меня, но меня уже унесли в лечебницу. И все это меня нисколько не озлило и не оскорбило, ибо я видел в этом естественный для революции ход событий. В 1918, 1919 и 1920 годах я и голодал, и холодал, и много страдал за одно со всей Россией и потому находил это естественным. Нужно заметить, что мое материальное положение несколько улучшилось только во второй половине 1920 года, когда я поступил на службу, т. е. 2½ года спустя после Октябрьского переворота, когда началась *внешняя* война с поляками. Но должен повторить, что я совершенно поражен и не могу объяснить себе причины, почему Деникин так глубоко несправедлив ко мне, ввиду того, что от меня он кроме добра ничего не видел. Я понимаю, что можно не сходиться во взглядах на политическую обстановку, но заниматься печатно передержками, подтасовками фактов—это уже совсем некрасиво и недобросовестно. Не хотелось мне писать об этом времени, и я и дальше бы молчал, но, прочтя записки Деникина, я понял, что во имя справедливости и правды не имею права дальше притворяться мертвым.

Я всегда был противником излишнего и бессмысленного пролития крови, и с самого начала революции, предвидя, какие потоки крови могут пролиться от моего малейшего неверного шага, я принужден был поступать так, чтобы избегать этого, поскольку возможно, и нисколько не считался с тем, что могут другие обо мне подумать и как истолковать мои поступки. Для меня была важна общая конечная цель и только. Я старался приблизиться к народной толще и понять психологию масс. Последующие события показали, что я был прав, желая подойти к народу с другой стороны, а не рубить все сплеча по старому образцу. Не знаю,

что легче—на чужие деньги жить за границей все эти годы или переживать все ужасы революции, голод и холод вместе со всей Россией. Деникин много говорит с большим пафосом о «Родине-Матери». Так вот, когда мать тяжко больна, совершенно не нужно самонадеянно и безрассудно производить над ней рискованные операции и заливать ее потоками братской крови, а лучше предоставить времени залечить ее недуги, не бросая ее, и помогать ей вблизи, насколько сил и разума хватит. Так я думал и думаю.

Я вполне признаю возможность некоторых моих неверных шагов во время налетевшего на нас революционного шквала. Только много времени спустя, после года тяжелой болезни, когда я восемь месяцев лежал с раздробленной ногой и времени обдумать все случившееся у меня было достаточно,—я многое понял... Но для того, чтобы судить меня, нужен более талантливый, более глубокий психолог и более честный, правдивый человек, чем оказался Деникин.

Что касается генералов Алексеева и Корнилова, о которых автор особенно хлопочет, чтобы выделить их, то должен по нелицеприятной правде сказать еще несколько слов о них.

Алексеев был честный, добрый и умный, но очень слабохарактерный человек. Попал он, действительно, во время смуты в очень тяжелое положение и всеми силами старался вначале угодить и вправо и влево. Он был генерал по преимуществу, нестроевого типа, о солдате никакого понятия не имел, ибо почти всю свою службу сидел в штабах и канцеляриях, где усердно работал и в этом отношении был очень знающим человеком-теоретиком. Когда же ему пришлось столкнуться с живой жизнью и брать на себя тяжелые решения,—он сбился с толку и внес смуту и в без того уже сбитую с толку солдатскую массу, не знавшую, кому и чему верить. Наконец, прибыв на Дон, он попал в передрягу между Калединым и Корниловым и между этими двумя тяжелыми характерами попал в безвыходное положение. Спорить с ними было нельзя, а жить дружно и согласно невозможно. Смерть его избавила в конце концов от бесконечно тяжелой жизни. Несмотря на многие недочеты в наших отношениях и тяжелые мои переживания с ним, которые я описывал на страницах моих воспоминаний, я с глубокою душевною скорбью переношусь мысленно к страдальческой роли, выпавшей на долю этого хорошего русского человека.

Другой герой Деникинских воспоминаний, генерал Корнилов, был человек страстный и желавший во что бы то ни стало выдвинуться. Своего рода Наполеон, но не великий, а малый. О нем я уже подробно говорил в последней главе моих воспоминаний. Его, бывшая на моих глазах, служба—незначительна. Но зато он прославил себя в гражданской войне. При Октябрьском перевороте он бежал из Быховской тюрьмы, чем погубил окончательно ры-

царски-честного Духонина. Прибыв на Дон, он из Ростова во главе 3—4 тысяч добровольцев пошел на Екатеринодар. В одно скверное утро бомба влетела в окно его спальни и убила его. Мир праху этого горячего и суматошного человека. Подводя итоги его деятельности, можно сказать, что Корнилов полководцем не был и по свойству своего характера не мог им быть. Полководец прежде всего должен иметь хладнокровную и вдумчивую голову, чего у него никогда не было. Это—начальник лихого партизанского отряда и больше ничего. Политическим деятелем его также считать нельзя. Если бы не было революции, он, добившись звания командира корпуса, спокойно доживал бы свой век в каком-нибудь корпусном штабе. Но вот—явилась революция, и он по натуре своей должен был участвовать в этой смуте. Бедный человек, он запутался сильно: как бессмысленно и в плен попал, так бессмысленно и погиб.

На этом заканчиваю мою с Деникиным полемику, и пусть его совесть сама ему скажет, что она о нем думает. Кто из нас прав, покажет будущее. Я верю, что он, как и я,—мы оба старались работать на пользу русского народа, но переживаемую революцию понимаем с ним различно. История нас рассудит. И что бы он в дальнейшем ни писал, я больше возражать ему не буду.

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ.

[1] Аудиториаты—военно-судебные органы, существовавшие в России с 1797 г. до военно-судебной реформы 1867 г. (в Сибирском и Туркестанском военных округах—до 1886—1889 гг.). Подробнее—см. «Военная энциклопедия», изд. т-ва И. Д. Сытина, СПБ, 1911, стр. 251—256.

[2] Кавказский фронт (схема 1)—второстепенный фронт русско-турецкой войны 1877—78 гг. С начала войны русские, имевшие количественное (110 тысяч против 40 тысяч турок), и качественное (отличные первоочередные кавказские войска против турецкого ополчения) превосходство, ведут наступательные действия с ограниченными целями.

Перейдя 24 апреля границу, русские 29 апреля без боя занимают Баязет, 17 мая овладевают Ардаганом, к 1 июня заканчивают обложение Карса и приступают к действиям непосредственно против главных сил турок. Действия эти, благодаря энергичному нажиму турок на тыл русских с Баязетского направления, вялости и неумению русского командования, успеха не имели. После неудачной атаки русскими турецкой позиции у Зевина русские 27 июня начинают отступление по всему фронту. 10 июля снимается осада Карса. Во второй половине июля инициатива переходит к туркам, энергично действовавшим против главных сил русских, прикрывавших подступы к Александрополю. Бои на Аладжинских высотах длятся вплоть до начала октября, когда наконец русское командование решается перейти к активным действиям. Используя свой двойной численный перевес, русские к 15 октября вынуждают турок отступить. Турки, понеся значительные потери, частью сил заперлись в Карсе, частью отошли к Эрзеруму и организовали его оборону, стянув туда большую часть своих сил с разных направлений Кавказского фронта.

4 ноября русские, овладев укрепленной позицией турок на перевале Деве-Бойну в 7 *км* восточнее Эрзерума, не ведут энергичного преследования турок, а медленно подходят к Эрзеруму и после вялой попытки взять его штурмом останавливаются на зимовку. Карс был взят штурмом в ночь на 18 ноября. Эрзерум был занят русскими лишь по условиям перемирия, Батум—после заключения мира.

А. А. Свечин («Эволюция военного искусства», том II, стр. 408—409, ГИЗ, М.-Л., 1928 г.) дает следующую оценку действий русских и турок на Кавказском фронте:

«Надо признать действия Мухтара-паши (командующий турецкими войсками на Кавказском фронте—*Ред.*), блестящими. С самыми жалкими средствами он сумел затянуть кампанию, первый одержал крупную стратегическую победу, каковой надо считать исход для турок Зевинской операции, усилил тем боеспособность Турции, оттянул на Кавказский фронт резервы из внутренних областей России, заставил понести русских в зиму 1877—78 гг. крупные потери от сыпного тифа, удержал в руках Турции крупные залоги — Эрзерум и Батум, которыми Турция расплатилась за неуспехи на главном театре.

Жесточайшим упреком русскому командованию является замечание, что если бы оно оставило прекрасные кавказские войска в полном бездействии, то этим

были бы достигнуты лучшие результаты, чем топтание в течение трех первых месяцев в пограничной полосе, из которого в июне случайно вылилось лишенное цели демонстративное наступление к Зевину двумя разрозненными, слабыми отрядами и после маловажной тактической неудачи—панической отход и переход на $3^{1}/_{2}$ месяца к обороне против слабейшего противника. Слабая воля к победе русского командования видна и в случайной постановке оперативных целей, и в развитии боев у Зевина, и при первой атаке Аладжи, и в особенности после взятия Деве-Бойну. В этих условиях командования слабое, плохо вооруженное, лишенное снабжения турецкое ополчение сумело держаться против двойных сил лучших полков русской армии».

Воспоминания А. А. Брусилова дают немало интересных тактических штрихов, характеризующих «топтание» русских войск на Кавказском фронте войны 1877—1878 г.

Подробности о русско-турецкой войне 1877—78 гг.—см. цитированный труд А. А. Свечина, стр. 337—411 (о Кавказском фронте—стр. 404—409).

³ Ракетные батареи стреляли так называемыми боевыми ракетами (в отличие от светящих, сигнальных). Калибр этих ракет—около 5 *см*, вес около 3 *кг*, дальность стрельбы до 1,4 *км*. Для спуска ракет применялся станок—короткая труба на треноге (вес около 6—9 *кг*). Боевые ракеты применялись в горной войне, против конницы, особенно иррегулярной, и т. п. Их достоинства—подвижность, сильное моральное действие. Недостатки—значительны. Из них важнейшие: малая меткость, годность для действий только по живым целям. Ракеты сняты с вооружения русской армии в восьмидесятых годах прошлого столетия.

⁴ А. А. Брусилов намекает на весьма распространенные слухи о интимной близости генерала Орлова с императрицей Александрой Федоровной. В свое время косвенным подтверждением достоверности этих слухов считали загадочные обстоятельства внезапной смерти Орлова.

⁵ «В основу игры были положены действительные предположения на случай войны с Австро-Германией, наличная политическая обстановка, данные о возможных противниках, какие на самом деле имелись в Главном управлении Ген. штаба, и наконец к участию в игре привлечены были, за малыми исключениями, те генералы, которые предназначались к занятию должностей командующих армиями, фронтами и соответствующих нач. штабов. В штабе руководителя, военного министра, должны были работать начальники главных управлений, а действовать за противника—чины Главного управления генштаба, которые разрабатывали подготовку соответствующих фронтов. Уже из этих немногих слов видно, что киевская военная игра должна была дать чрезвычайно важные указания по подготовке к войне. Но главнейший ее интерес заключается в том, что она велась непосредственно перед войной, всего за три месяца, а потому является возможность сравнить, насколько наши предположения и выводы, добытые игрой, соответствовали действительности».

Эта весьма интересная военная игра подробно описана, разобрана и оценена в статье А. Н. Суворова «Военная игра старших войсковых начальников в апреле 1914 г.»—«Военно-исторический сборник», труды комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914—18 гг., выпуск 1-й, стр. 9—29. М. 1919 г.

⁶ С точки зрения, противоположной точке зрения Брусилова, оценивает обручевский план войны и его последующие изменения А. А. Свечин (см. его статью в № 5 «Войны и Революции» за 1926 г.).

⁷ Повидимому, А. А. Брусилов высказывает здесь свои суждения о желательной организации войсковых соединений в целом, не отделяя мнения, которые у него могли быть по данному вопросу еще до войны, от мнений, которые могли сложиться у него только в процессе оценки опыта войны 1914—17 гг. по ее ходу и итогам.

[8] Интересно отметить, что с германской стороны (Г. Куль, Балк) дана прямо противоположная оценка умению русской пехоты самоокапываться.

[9] К началу войны воздушные силы русской армии находились в начальном периоде своего существования. Имелось около 190 самолетов, 6 аэростатов, 16 привязных аэростатов. Предполагалось придать каждому корпусу авиоотряд из 6 самолетов и каждой армии—дополнительно по 1-2 авиаотряда. На Юго-западном фронте к началу войны было 60 самолетов.

[10] Несмотря на количественную ограниченность и низкий технический уровень развития авиации, авиаразведка, как видно из воспоминаний А. А. Брусилова, оказывает русскому командованию серьезнейшие услуги. Она дает основные сведения о группировке и намерениях австрийцев в начальный период галицийской операции, при наступлении на Львов, в сражении у Гродека. По свидетельству генерала Конрада фон-Гетцендорфа (начальник штаба вооруженных сил Австро-Венгрии), не менее важные услуги оказывала авиаразведка в то время и австрийскому командованию. Вместе с тем обращает на себя внимание исключительная, почти полная неналаженность другого основного средства стратегической и оперативной разведки—агентуры.

[11] Бой у Городка интересен с австрийской стороны как яркое доказательство полного непонимания австрийским командованием азбучных основ тактики современной конницы. Ярко одетая, признающая только атаку в конном строю, не желающая и не умеющая использовать свои огневые средства, австрийская конница атакует русских «как на параде», в уставных строях, устаревших лет на сто. Атаки захлебнулись в огне русских пулеметов. Дивизия понесла тысячные потери и надолго утратила боеспособность. Начальник дивизии застрелился здесь же на поле неудачного боя.

[12] Силы и группировка сторон к моменту вторжения русских в Галицию показаны на схеме 2 и 3.

Русские III и VIII армии, действовавшие на Львовском направлении, обладали довольно значительным численным превосходством. Австрийцы наносили главный удар с юго-запада (река Сан), на северо-восток (Холм—Люблин), прикрываясь с востока (схема 3), почему плотность фронта австрийцев падала по направлению от левого фланга их армии к правому. В связи с этим на Львовском направлении превосходство сил русских было менее значительным на участке III русской армии. Эта же армия была встречена более упорным сопротивлением австрийцев, чем VIII армия, против четырех корпусов которой было только два австро-венгерских корпуса.

Как видно из содержания воспоминаний, А. А. Брусилов, не вполне осознавал свое превосходство в силах над австрийцами (например, оставление сильного заслона против Галича), виной чему, повидимому,—плохая организация и работа русской разведки и неудовлетворительная обработка ее результатов штабом VIII армии.

Вместе с тем надо отметить, что под влиянием несправедливой оценки действий VIII армии командованием Юго-западного фронта А. А. Брусилов в свою очередь не дооценивает результатов действий III армии, все же сковывавшей большую часть сил австрийцев, действовавших на Львовском направлении и встречавшей более упорное сопротивление, чем VIII армия.

[13] Обстановка на участке VIII армии в сражении на Золотой Липе (26—28 августа 1914 г.) и на Гнилой Липе (29 августа—1 сентября 1914 г.) показаны на схемах 4 и 5.

К сражениям на Золотой и Гнилой Липе привело стремление австрийского командования, сдержать наступление III и VIII русских армий встречным ударом своих III и, частично, II армий. Австрийцы потерпели поражение главным образом благодаря значительному количественному превосходству русских. На Золотой Липе на участке III русской армии, русские имели 12 пех. дивизий против 8 австрийских, на участке VIII армии—10 пех. дивизий против 3 австрий-

ских пех. дивизий. Немногим более благоприятным было для австрийцев соотношение сил на Гнилой Липе.

Весьма характерным для командования русских армий в этих сражениях является крайне слабо выраженное, а иногда и вовсе отсутствующее стремление к взаимодействию, стремление помочь соседу. В сражении на Золотой Липе III армия, занятая выполнением т о л ь к о своей задачи, допускает поражение левого фланга своего правого соседа—V армии, хотя относительно легко могла бы предотвратить это поражение содействием своего правофлангового корпуса. По мнению А. Белого («Галицийская битва», ГИЗ, М.-Л., 1929, стр. 182), «плохая разведывательная деятельность австрийских авиации и конницы поставила армию Брудермана (III австрийская армия—*Ред.*), под сосредоточенный удар III и VIII русских армий и если таковой полностью не был осуществлен на берегах Золотой Липы, то только из-за неправильного понимания обстановки командованием VIII русской армии. Ошибочно ожидая сосредоточения крупных сил австрийцев на переправах через Днестр ниже Галича, командующий VIII армией 27 августа держит свои войска на дневке на р. Коропец, выжидая разъяснения обстановки и фактически отказывая III армии в производстве выгодного маневра во фланг зарвавшемуся XII австрийскому корпусу».

Позже на Гнилой Липе: «III и VIII русские армии, одержав крупную победу, медлили с преследованием и в общем недооценивали крупных преимуществ своего стратегического положения, которое требовало как самого настойчивого беспрерывного преследования массами русской конницы, находившимися в районе Бобрка—Ходорова в количестве 5 дивизий, так и безостановочного развития наступления III и VIII армий. Победа на Гнилой Липе и движение на Львов и севернее должны были заставить австрийцев повернуть свою IV армию на юг. Незнание истинной обстановки на фронте III и VIII армий, как следствие плохой разведки и связи и нечеткой работы штабов, является главнейшей причиной отмеченной медлительности командования...»

«...В действиях русских войск необходимо отметить настойчивое стремление Рузского (командарм III.—*Ред.*) массировать почти все силы на Львовском направлении, несмотря на повторные требования командования фронта о выделении части сил на помощь V армии Плеве. Хотя, начиная с 29 августа, левый фланг V армии постепенно и удалялся от III армии, двигаясь на запад, все же командование III русской армии имело возможность выделить часть сил на помощь V армии, ибо подход корпусов VIII армии на левый фланг III армии к району Рогатина и Перемышляны позволял осуществить необходимую перегруппировку».

«На фронте VIII армии, будучи почти в полтора раза сильнее австрийцев, русские тем не менее на важнейшем участке между Рогатиным и Галичем вводят в дело меньшую часть своих войск и из-за этого испытывают серьезный кризис, нарвавшись на сравнительно большие силы австрийцев. Остальные свои войска VIII армия разбросала между Галичем и Черновицами для второстепенных задач, или же, как в VII корпусе, не могла использовать их в полной мере из-за неудачного направления на участок, занятый X корпусом».

Значение сражений на Золотой и Гнилой Липе очень велико. Неудачный их исход для австрийцев в связи с недостаточностью их успехов в направлении главного удара Холм—Люблин, где русские потерпели неудачу, но разгромлены не были, привели главное австрийское командование к осознанию необходимости принять новое решение. Таким решением, принятым после некоторых колебаний, было: III австрийской армии оставить Львов без боя и отойти за р. Верещицу. Наступающих на Львов русских разбить совместным действием с р. Верещицы IV, III и II армий. I армия, удерживая свое положение к югу от Люблина, обеспечивает нанесение главного удара IV, III и II армиями (схема 6). Галицийская битва вступила в новый фазис. Австрийцы, производя крутой (на 180°) поворот своей IV армией, стремятся теперь нанести главный удар в охват и обход флангов III и VIII русских армий, прикрываясь I армией в прежнем направлении главного удара. Подробнее о сражениях на Золотой и Гнилой Липе

и дальнейших действиях—см. цитированный труд А. Белого «Галицийская битва», стр. 152—212.

Интересно отметить, что А. А. Брусилов вовсе не упоминает в своих воспоминаниях о сражении на Золотой Липе.

[14] Русское командование, главным образом—из-за неудовлетворительной работы разведки и недостаточного общения между органами высшего командования, совершенно не понимало характера нового маневра австрийцев. В частности, все еще ожидали встретить упорное сопротивление австрийцев на подступах к Львову. Этого же, как видно из воспоминаний, ожидал и Брусилов, несмотря на то, что 20 августа авиаразведка доносила: «Видна масса войск, стягивающихся к Львовскому железнодорожному вокзалу и что поезда один за другим, повидимому, нагруженные войсками, уходят на запад, о том же донесли кавалерийские разъезды, сообщившие, что неприятельские колонны быстро отходят, минуя Львов» (стр. 79).

Оставление австрийцами Львова без боя было полной неожиданностью для русского командования. И после занятия Львова русское командование по существу продолжает действовать вслепую, не понимая маневра противника.

[15] Надо отметить важное для принятия дальнейших решений, но несомненно несколько запоздалое осознание А. А. Брусиловым незначительности сил австрийцев у Галича и Миколаева.

[16] Соотношение сил и положение русских и австрийцев в сражении у Гродека показано на схемах 7 и 8.

Как видно из этих схем, у австрийцев было всего 7 корпусов против III и VIII армий вместе, на фронте же VIII армии—5 корпусов против 4 русских, т. е. по количеству дивизий—примерно равные силы, а не подавляющие (громадные и т. п.), как полагал тогда Брусилов.

Поражение австрийцев в сражении у Гродека так же, как и в истекшие дни Галицийской битвы, надо считать предопределенным: численное превосходство русских должно было сказаться еще резче благодаря крайней усталости австрийцев в итоге истекших боев и переходов, связанных с принятием новой группировки для сражения у Гродека. Участь сражения была решена поражением левого фланга IV австрийской армии.

12 сентября австрийцы начинают отход за р. Сан. Потери австрийцев были огромны: боевой состав их армий уменьшился на 45%. Русские не были способны решительно преследовать отходящих австрийцев и добить их также из-за значительных потерь, но главным образом—из-за затруднений по устройству тыла (нехватка снарядов). Так же, как и на Золотой и Гнилой Липе, с русской стороны должны быть отмечены слабость командования Юго-Западным фронтом, не знавшего и не понимавшего обстановки, и отсутствие достаточного взаимодействия между армиями.

Сжатую характеристику действий австрийского командования—см. в журнале «Wissen und Wehr», 1929 г., январь, кн. 1, статья Conrad Leppa «Der Entschluss zur Schlacht bei Grodek — Lemderg», стр. 22—41.

[17] Конрад фон-Гетцендорф следующим образом оценивал создавшуюся к концу сражения обстановку:

«Наступление II и III армий не привело к решительным результатам; вместе с тем левое крыло IV армии было под сильной угрозой, грозила опасность, что прорыв двух русских корпусов поставит IV армию в катастрофическое положение, которое могло отразиться на III и II армиях и отрезать от Западной Галиции главные силы императорской и королевской армий.

Этого нельзя было допустить. Война обещала быть продолжительной и согласно общему плану должна была быть завершена общими усилиями союзников. Поэтому императорская и королевская армия должна была быть сохранена.

На длительное сопротивление II корпуса и группы эрцгерцога Иосифа-Фердинанда нельзя было более рассчитывать, и больше не оставалось резервов.

При таком положении вещей оставалось только принять быстрое и законченное (целостное) решение: прекратить бой и оттянуть армии первоначально за Сан».

Приказ об отходе гласил:

«Командующим III, IV и II армий. Пшемысль, 11 сентября 1914 г.

I армия, теснимая превосходными силами противника, отходит за нижний Сан. Северное крыло IV армии потеснено сильным противником у Чичанова. Общая обстановка затрудняет дальнейшее развитие достигнутого у Львова успеха и заставляет отвести армии за Сан, чтобы там отразить натиск противника...

I армия от Вислы до Гшебосница обеспечивает Лежайск и укрепляет по возможности тэт-дэ-поны у Сенява и Ярослава.

Штарм—Ранишов.

IV армия сдерживает ударом своего левого крыла наступление противника на Ярослав и оттягивает свои главные силы за Сан на участок Ярослав—сев. Перемышля, создавая возможно быстрее сильные группировки в районе Пшеворск.

Штарм—Пшеворск.

III армия двигается к Перемышлю и в район севернее его до Низанковице включительно.

Штарм—впереди Перемышля.

II армия примыкает южнее в районе Новое Место—Добромиль—Хыров—Бимя.

Штарм—Добромиль.

Отвести ведущие у Львова бой части IV, III и II армий в ночь на 12 сентября. Южные разгранлинии для IV и III армий—согласно приказа № 3057 от 10 сентября. После отрыва от противника и до выхода в указанные районы—по возможности избегать боев.

Желательно арьергардами достичь 12 сентября линии Любачев—Хрушов—Залузе—IV армии; высот Храда—высот западнее Гродека—III армии; Верешица и вниз до Черляны—II армии. Все переправы через Верешицу разрушить». (Feldmarschall Conrad—«Aus meiner Dienstzeit», 1906—1908. Vierter Band. Rikola-Verlag, 1923, стр. 701—702.)

[18] Конрад фон-Гетцендорф следующим образом определяет намерения австрийского командования:

«... К императорской и королевской армиям подвозятся через Краков 9 германских дивизий. До соединения с ними следует избегать каких бы то ни было решительных действий, I, IV и III армиям—занять линию Бяла—Дунаец от Гибова до Вислы, II армии—район Зборс—Бартва.

Армии должны занять тщательно сомкнутый фронт. В особенности надо не допустить того, чтобы I армия, ближе всего расположенная к противнику, могла быть оттеснена дальше фронта III и IV армий.

IV армия 19 сентября выступает в указанном направлении из района Ланкут—Ржешов; III армия выступает 17 сентября; II—тоже 17 сентября. Соответственно с изложенным I армия должна стремиться так строить свои действия до 19 сентября, чтобы добиться полного контакта с IV и, по возможности, III армиями на марше к Дунайцу...

Моей основной идеей было: оторваться от противника, восстановить боеспособность армии, соединиться с германцами и затем вновь наступать совместно с ними.

Еще в ночь на 15 сентября я обдумывал, не придется ли отступить на линию Кракова, так как германцы могли сосредоточиться только на 18-й день. Я полагал все же, что это понадобится лишь в крайнем случае, и считал отступление на меньшее расстояние более желательным.

Даже на отход к Дунайцу я решился с трудом. Я говорил моим окружающим: «Нужно уметь отделять «чувство» от «разума». «Чувство» противилось отступлению, а «разум» стоял за него». (Фельдмаршал Конрад—цитированный труд, стр. 752.)

Укрепления Ярослава приказано было взорвать, а гарнизону отойти в Перемышль.

«Коменданту последней (крепости Перемышль.—*Ред.*) было сообщено, что крепость предоставляется собственным силам и должна держаться до крайности». Эта телеграмма разрешила ту неопределенность положения, в которой находился комендант крепости, не зная почти до последней минуты, будет ли приказано эвакуировать крепость или ее защищать. Трудность его положения усугублялась полнейшим хаосом, царившим в крепости с началом отхода австрийских армий с Галицийского фронта. Хотя австрийская Ставка, организуя отступательный марш, направила только одну III армию через Перемышль, а соседние с ней IV и II армии направила одну севернее, другую южнее крепости, но вследствие распутицы, сделавшей грунтовые дороги непроезжими, большая часть обозов IV армии вышла на единственное Львовское шоссе, где вперемежку с обозами и войсками III армии потекла через Перемышль. Потребовались громадные усилия, чтобы протолкнуть через крепость эту массу обозов и очистить ее от дезертиров и мародеров (до 8 000 чел.), отбившихся от своих частей и проникших вместе с обозами в крепость. Момент этот, судя по австрийским источникам, являлся чрезвычайно опасным в жизни крепости, делавшим ее легкой добычей русской конницы, если бы последняя в промежуток 13—16 сентября (31 августа—3 сентября старого стиля) появилась под крепостью с твердым намерением ее захватить. Но такой задачи русской коннице поставлено не было, и этот критический момент был благополучно изжит крепостью».

См. П. Черкасов—«Штурм Перемышля 7 октября (24 сентября) 1914 г.», изд. Военной типографии Управления делами Наркомвоенмора, 1927 г., стр. 37—38. В этом же труде—см. подробности об операциях по овладению крепостью Перемышль.

Как видно, А. А. Брусилов правильно оценивал обстановку и выдвигал совершенно правильное решение взять Перемышль энергичным штурмом при небольшой артиллерийской подготовке.

[19] В это время проводилась значительная перегруппировка на стыке русских фронтов. Фронт III армии был удлинен ввиду необходимости сменить перебрасываемые к северу части V армии. С перенесением главного направления действий к северу в район Варшава—Ивангород вполне естественным было ограничение задач армий, действовавших в Галиции.

[20] По австрийским источникам действия австрийцев по оказанию помощи Перемышлю рисуются следующим образом.

III австрийская армия, действовавшая непосредственно в Перемышльском направлении, не могла добиться решительных успехов из-за остро сказывавшегося недостатка боеприпасов и необходимости выделить часть сил для непосредственной поддержки южнее действующей II армии.

Во II армии первоначально успешно развертывавшееся наступление на Санок и Лиско (взят Ужокский перевал, Хыров, Турка) встречает мощный контрудар VIII русской армии. Особенно трудной для австрийцев была обстановка на левом фланге и в центре их II армии. Для поддержки действовавших здесь VII и XII австрийских корпусов III армия выделила сперва III, а затем и XI корпуса. С большим напряжением австрийцам удается захватить 17 октября Магеровские высоты, надежно обеспечивающие подступы к фронту II армии. Чтобы задержать продвижение австрийцев через Турка на Самбор, русские подтягивают подкрепления с Днестра. Восточнее австрийский корпус Гофмана (состоял преимущественно из второочередных частей) успешно наступает вплоть до Стрыя и стремится продвинуться дальше на Дрогобыч, но останавливается затем русскими и отбрасывается в исходное положение. Истощенность обеих сторон приводит к краткому перерыву боевых действий. По их возобновлении русским удается охватить правый фланг II австрийской армии и отбросить ее к Турке. Попытки русских прорываться на стыке IV и XII австрийских корпусов с трудом отбиты австрийцами. С 28 октября II австрийская армия переходит к наступательным

действиям, но вынуждена прервать их и отойти ввиду резкого изменения общей обстановки не в пользу австро-германцев (поражение германцев под Варшавой и отход их к границам Силезии).

[21] Опять обращает на себя внимание важность сведений, которые дала авиаразведка.

Выход австрийцев из боя на фронте VIII армии был вызван не столько тем, что австрийское командование считало здесь сражение проигранным, сколько резким изменением общей обстановки в пользу русских благодаря поражению германцев под Варшавой и последующему их отходу к границам Силезии. Эти обстоятельства вызвали необходимость новой перегруппировки почти всех австро-германских армий, в том числе и отхода частей, противостоявших VIII русской армии.

[22] В это время Ставка, стремясь к вторжению в Восточную Пруссию, определяла ближайшие задачи Юго-западного фронта следующим образом:

«... Скорейшему овладению Восточной Пруссией, пока наш враг обессилен боями на фронте Лович—Лодзь, придается исключительно важное значение...»

... При слагающейся обстановке основной задачей армий Юго-Западного фронта является настойчивое развитие достигнутого нами над австрийцами успеха. С этой целью необходимо, обеспечивая возможно меньшими силами обладание за нами Галичины и занимая прочно важнейшие проходы в Карпатах, иметь все остальные силы собранными в соответствующих районах для нанесения окончательных ударов австро-германским войскам, развернутым на фронте Ченстохов—Краков и к югу от него, причем главный удар должно наносить левым флангом, нацеливая его, примерно, в направлении на Оппель.

Развитие главного удара в указанном направлении должно иметь целью сближение с армиями Северо-западного фронта, отбрасывание австрийцев от их естественных путей отступления на Вену и затруднение им переброски сил в собственную страну. В частности, в зависимости от обстановки, по прохождении армиями меридиана Кракова, придется выделить строго необходимые силы для блокады этой крепости, из числа второочередных дивизий, и, кроме того, в зависимости от той же обстановки, выставить определенной силы заслон к югу от Кракова, к стороне главных Карпатских проходов в Западной Галичине»...

См. записку генерала-квартирмейстера Ставки Данилова—цитированную по труду М. Бонч-Бруевича—«Потеря нами Галиции в 1915 г.», часть I, М., 1921 г., стр. 7—8.

[23] Для уяснения и детального изучения событий зимы 1914/15 г. на Юго-западном фронте отсылаем читателя к цитированному уже труду М. Бонч-Бруевича. Данный труд является вместе с тем важнейшим источником для уяснения значения и смысла действий Юго-западного фронта в этот период с точки зрения общих и очередных задач войны.

Заключительная оценка М. Бонч-Бруевичем похода через Карпаты в Венгрию такова:

«Поставив целью перейти Карпаты и вторгнуться своим центром в Венгерскую равнину, Юго-западный фронт подвергал опасности, даже в случае успеха этого предприятия, все остальные силы действующей армии подвергнуться напору со стороны сильнейшего противника—германцев, не имея возможности получить поддержку от Юго-западного фронта. Вместе с тем Юго-западный фронт, уходя центром в Венгрию, открывал германцам возможность действовать в тыл его армиям и, таким образом, ставил в рискованное положение всю Карпатскую группу. Для обеспечения Карпатской операции на р.р. Дунаец и Бяла были развернуты слабые силы правого крыла III армии; это обеспечение, быть может достаточное в январе 1915 г.,—было несоответственно слабо уже в марте и тем более—в апреле. Если в январе еще можно было с некоторым допуском считать главным направлением для действий всего фронта—направление через Карпаты в Венгрию, а расположение по р.р. Дунаец и Бяла его обеспечением, то уже в марте главным предметом действий для Юго-западного фронта была

германская армия Макензена, сосредоточившаяся в районе Кракова, а со стороны Карпат требовалось только обеспечение. Этой гибкости в перемене главного направления и целей для действий не было проявлено в Юго-западном фронте, который все время безусловно преследовал одну только цель—наступление через Карпаты в Венгрию...

Оторванностью замысла Карпатского похода от ближайшей задачи войны и неудовлетворительностью его подготовки объясняются, с оперативной точки зрения, наши неудачи, постигшие нас весною 1915 г. на Галицийском театре...

Трудность боевых действий в горах в зимнее время является самодовлеющим фактором, подлежащим строгому предварительному учету во всех операциях вообще и в частности—в операциях рассматриваемого периода; между тем оказалось, что в действиях армий Юго-западного фронта в Карпатах зимой 1915 г. эта трудность выплыла наружу только тогда, когда втянувшиеся в горы войска вплотную на них наталкивались и разбивались о них в тщетных усилиях побороть природное сопротивление, непреодолимое без применения к делу строгого предварительного расчета и военного искусства...»

[24] Действия австро-германцев в этом сражении видны из схемы 9.

Суть их заключалась в следующем. Корпуса, действовавшие против правого фланга и центра III русской армии, продолжали отход на запад. Южнее, в районе Хабовка—Мшана, сосредоточивалась ударная группа в составе четырех пехотных дивизий и кав. группы с задачей удара в левый фланг III русской армии в направлении Лапанов—Бохня. Вспомогательный удар в направлении Лиманова вели две пехотных (одна из них германская) и одна кавалерийская дивизии. Наступление зимой в покрытых снегом горах при упорном сопротивлении русских было очень тяжелым.

К вечеру 4 декабря австрийцы продвинулись на глубину, примерно, 10 километров. Уже 5 декабря дало себя чувствовать усиление левого фланга III армии подтянутыми к нему подкреплениями и энергичное содействие правого фланга VIII русской армии путем контрудара на Нейсандец—Лиманов во фланг ударной австрийской группы, наступавшей на Лапанов. Австрийцы частично должны были перейти к обороне, а там, где их наступление еще продолжалось, оно велось весьма медленно. 7 и 8 декабря продолжался горячий бой у Лапанова. Контрудар русских на Лиманов успешно развертывается. Для противодействия этому удару австрийское командование перебрасывает свежие две дивизии и принимает вместе с тем решение нанести удар во фланг (с юга на север) русским, действовавшим в направлении Лиманова. 9 декабря австрийцы все еще не добились решительных успехов в направлении Лапанов—Бохня. Энергичное противодействие русских заставляет вводить в бой все новые силы, в частности—одну из дивизий, предназначавшуюся в район Лиманова. 10 декабря начинает сказываться успех русских у Лапанова, что вызывает частичный переход австрийцев к обороне. В то же время австро-германцы добиваются успеха у Лиманова, и начинает успешно развиваться их удар по VIII русской армии со стороны Карпат. Русским удалось восстановить здесь положение только к 20 декабря, когда наступавшие в Карпатах австро-германцы были отброшены в их исходное положение.

[25] Как видно, взгляды А. А. Брусилова на целесообразность и возможность наступления через Карпаты в Венгрию резко изменились в довольно короткое время. Здесь сказалась недооценка противника и затруднений в снабжении огнеприпасами, довольно остро дававших себя знать уже в то время На фронте VIII армии австрийцы имели превосходство в силах только против правофлангового VIII армейского корпуса. На остальном фронте силы сторон были равны.

[26] М. Бонч-Бруевич в цитированном нами труде дает обстоятельный анализ причин неудачи похода через Карпаты в Венгрию (см. заключительные выводы к первой части названного труда, стр. 108—116).

[27] А. А. Брусилов совершенно прав, указывая на недостаток внимания со стороны командования Юго-западным фронтом к нарастающей угрозе III армии. О нетвердости (даже растерянности) командования фронтом в тот период свидетельствуют следующие данные:

Директива армиям Юго-Западного фронта от 23 марта 1915 г. (№ 4329).

«...В настоящее время ближайшими нашими задачами будут: переход через Карпатские горы и очищение Заднестровья от противника. Обе эти задачи находятся в тесной связи и в зависимости от этого будут видоизменяться формы их осуществления. Идея нашей операции в настоящее время состоит в том, чтобы, удерживаясь на наших флангах, выйти остальными войсками на линию Зборо—Варанно—Чап—Хальми и этим заставить противника очистить Заднестровье, ибо с выходом к Густову (Хуст) прерывается лучшее железнодорожное сообщение Заднестровья с внутренними областями Австро-Венгрии. Этот план не исключает возможности активных действий против неприятеля в Заднестровьи после усиления наших войск в Восточной Галиции. Принимая во внимание количество войск в каждой армии, в окончательном результате предположено занять III армией фронт от устья реки Дунаец до линии Туран—Ганушфалва, что к югу от Стропко; южнее до Чап—район VIII армии, еще южнее до Хальми—северная группа IX армии, наконец, в районе Мармарош—Сигет и до Румынской границы расположится южная группа IX армии, которая предварительно должна будет выполнить ряд задач по очищению Заднестровья...»

Директивой от 28 марта 1915 г. № 4568 задачи армиям, встретившим упорное сопротивление противника, а местами энергичное его контрнаступление, менялись: III и VIII армиям указано было перейти к обороне, IX армии—восстановить первоначальное положение.

2-го же апреля 1915 г. (№ 4798) Иванов телеграфировал командующим III, IV, VIII и IX армий и главному начальнику снабжения Юго-западного фронта:

«Согласно сложившейся обстановки настоящего времени и новым планам высшего командования, наше вторжение в Венгрию перестало быть необходимостью. Основная цель наших действий состоит в преграждении противнику доступа в занятые нами области, и только в случае наступления в пределы Галиции неприятель должен быть встречен переходом в наступление и отброшен за Карпаты в пределы Венгрии для прекращения раз навсегда его попыток к наступлению и обратному овладению занятыми нами областями. Одновременно с этим надлежит скорее пополнить происшедшую от боев убыль, прочно укрепиться в занятом расположении и образовать сильные резервы, которые предположено постепенно в составе высших соединений перевезти по особому указанию для выполнения особого плана в Привислинском крае, разрабатываемого ныне в штабе верховного командования. Эти резервы должны быть собраны в размере двухдивизионного корпуса в районе Станиславова, другого ныне собирающегося Самборе и третьего Кросно того же состава, сообразно месту расположения армий. Сборные соединения войск должны быть по возможности устранены. Места на позициях заполнять растяжкой войск и усилением их ополченскими бригадами, дружины коих располагать между полками или вливать в них. Изложенное исполнить в двухнедельный срок с получения настоящего распоряжения, но начать не ранее вечера 9 апреля; перемещения производить только по ночам. К сохранению в тайне перемещения войск принять все возможные меры. О получении настоящего распоряжения донести».

М. Бонч-Бруевич, из цитированного труда которого мы заимствовали приведенные выше документы, считает, что ссылки ген. Иванова на какие-то новые планы высшего командования, ни на чем не обоснованы. Наоборот, «Ставка торопила генерала Иванова наступлением в Карпатах и недоумевала о причинах приостановки начавшегося уже наступления» (цит. труд, ч. II, стр. 23).

Как бы то ни было, в апреле 1915 г. поход через Карпаты в Венгрию можно считать ликвидированным, хотя ген. Иванов и полагал еще в то время возможным общий переход в наступление по Галицийскому фронту в двадцатых

числах апреля (первых числах мая). Но несколько дней спустя последовал удар германцев у Горлицы и разгром III русской армии, вызвавший общий отход Юго-западного, а затем и других фронтов. Разразилась опасность, указания на которую были в свое время получены русским командованием, но не были им достаточно учтены (см. цит. труд М. Бонч-Бруевича, ч. II, стр. 31).

Еще в начале февраля 1915 г. ген. Иванов считал удар противника на Дунайце и Бяле маловероятным. Все его внимание было сосредоточено на Карпатах, на обеспечении похода в Венгрию. III русской армии в это время было приказано собрать возможно большие силы к своему левому флангу, удерживая противника возможно меньшими силами на остальном своем фронте. Недооценка Ивановым угрозы удара противника в тыл русским армиям, втянувшимся в Карпаты, очевидна. Намерения Иванова видны из приведенной в примечании 27 директивы армиям Юго-Западного фронта от 23 марта 1915 г.

А. А. Брусилов не вполне прав, считая угрозу левому флангу Юго-Западного фронта (на участке IX армии) маловероятной и ничтожной. Здесь против слабых и по количеству и по качеству русских частей находилась большая часть сил австро-германской южной армии ген. Линзингена. Австро-германцы имели здесь явное количественное и качественное превосходство. Угроза с этого направления Львову была достаточно ощутительна.

[28] Подробности о разгроме III русской армии у Горлицы (обстановку см. схему 10)—см. цитированную уже II часть труда М. Бонч-Бруевича и изданное военно-историческим отделом шведского генерального штаба исследование «Сражение при Горлица—Тарнов 2—6 мая 1915 г.» (русский перевод под редакцией Е. К. Смысловского—ГИЗ, М., 1929). Для уяснения общей обстановки того периода на восточно-европейском фронте войны—см. «Стратегический очерк войны 1914—1918 гг.», часть IV, сост. А. Незнамов.

Как явствует из обстоятельного разбора в названных трудах сражения у Горлицы—Тарнов, русское командование, при сложившейся в итоге стремлений на Карпаты группировке русских сил и при недооценке опасности положения правого фронта III армии, не было в состоянии парировать долго готовившийся сокрушительный удар австро-германцев по III русской армии. Единственно возможным для русских после поражения III армии было общее отступление из Галиции. Вместо преднамеренного отступления, при котором командование Юго-Западным фронтом могло, жертвуя территорией, сохранить силы и средства армии, оно благодаря своей нерешительности предпочло отход «пядь за пядью» под непосредственным давлением противника.

[29] Здесь А. А. Брусилов ошибается. Речь идет, повидимому, о французских (или бельгийских) автоброневиках, а не о танках. Танки на западно-европейском театре войны были применены впервые только в сентябре 1916 г. на Сомме.

[30] Десантная операция в Болгарии была мало вероятна, как технически почти невыполнимая. Слухи о ней усиленно распространялись и после окончательного отказа от нее—для сокрытия подлинных намерений в отношении использования VII армии в Галиции (см. «Стратегический очерк войны 1914—1918 гг.», часть V, стр. 8, М., 1920 г.).

[31] Интересно поставить в связь внимание, уделяемое А. А. Брусиловым этому факту, с его увлечением мистикой (см. стр. 31).

[32] Здесь А. А. Брусилов не вполне прав. Верно то, что Ставка недостаточно энергично воздействовала на командование Западного и Северо-Западного фронтов, не использовала всего, чтобы добиться активных действий с их стороны. Но вместе с тем совершенно очевидна несравнимость возможности переброски русских корпусов на итальянский фронт (единственно возможным был тот «кругосветный» путь, которым были переброшены русские бригады во Францию) с переброской корпусов с Западного на Юго-западный фронт.

[33] Группировка сторон перед прорывом показана на схеме 11.

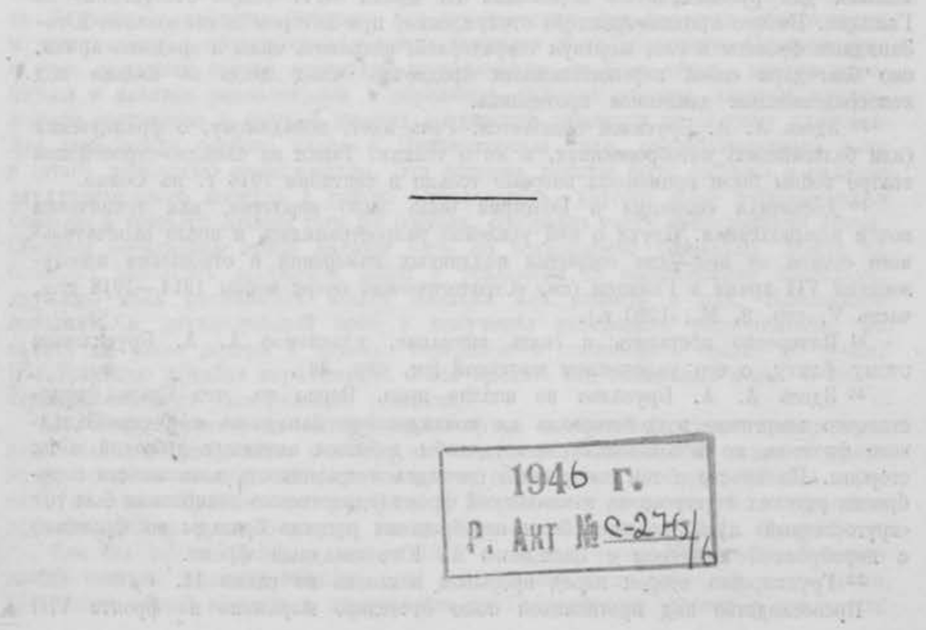
Превосходство над противником было отчетливо выражено на фронте VIII

армии (150 батальонов против 53 батальонов противника). Превосходство над противником на фронте остальных армий было незначительно.

Весьма систематичное и подробное описание прорыва и оценка его даны В. Н. Клембовским—«Стратегический очерк войны 1914—1918 гг.», часть V—период с октября 1915 по сентябрь 1916 г., стр. 26—76. Более подробно—см. «Мировая война 1914—1918 гг. Луцкий прорыв», Труды и материалы к операции Юго-западного фронта в мае—июне 1916 г., под редакцией П. В. Черкасова, ВВРС, Москва, 1924 г. О действиях IX армии см. А. И. Литвинов—«Майский прорыв IX армии в 1916 г.», П., 1923 г.

[34] В отношении оценки А. А. Брусиловым итогов прорыва надо отметить следующее: 1) Огромное, можно сказать мировое, значение победы Юго-западного фронта общепризнано как в русской, так и в иностранной литературе. 2) Справедлив упрек Ставке, не сумевшей добиться активного содействия Юго-западному фронту со стороны других фронтов и превращения разгрома правого фланга восточно-европейского фронта австро-германцев в разгром всего этого фронта. Никогда эта возможность не была так близка, как в мае—июне 1916 г. 3) И в русской (см. указанный выше сборник «Луцкий прорыв») и в иностранной военной литературе довольно многочисленны упреки командованию Юго-Западного фронта и командованию его армий в отношении непосредственной организации, техники и тактики самого прорыва. Внешним выражением и следствием ошибок в этой области являются, в частности, большие потери фронта и крайняя затруднительность развития успеха.

[35] Здесь явное противоречие с ранее сказанным, отражающее настроение ген. Брусилова в то время. На стр. 217 говорится: «Я не хотел уходить в отставку, считая, что было бы нечестно с моей стороны бросить фронт, когда гибнет Россия». Ранее на стр. 215 «Одновременно с этим я получил частное извещение, что Керенский просил Временное правительство о смене меня, как человека, борющегося с его распоряжениями, и просил назначить на мое место Корнилова. Я понял, что Борис Савинков проводит своего кандидата и очень охотно этому покорился, ибо считал, что мы больше воевать не можем».



СХЕМЫ

Положение в начале октября

Положение к I июля

Схема 1. Кавказский фронт русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

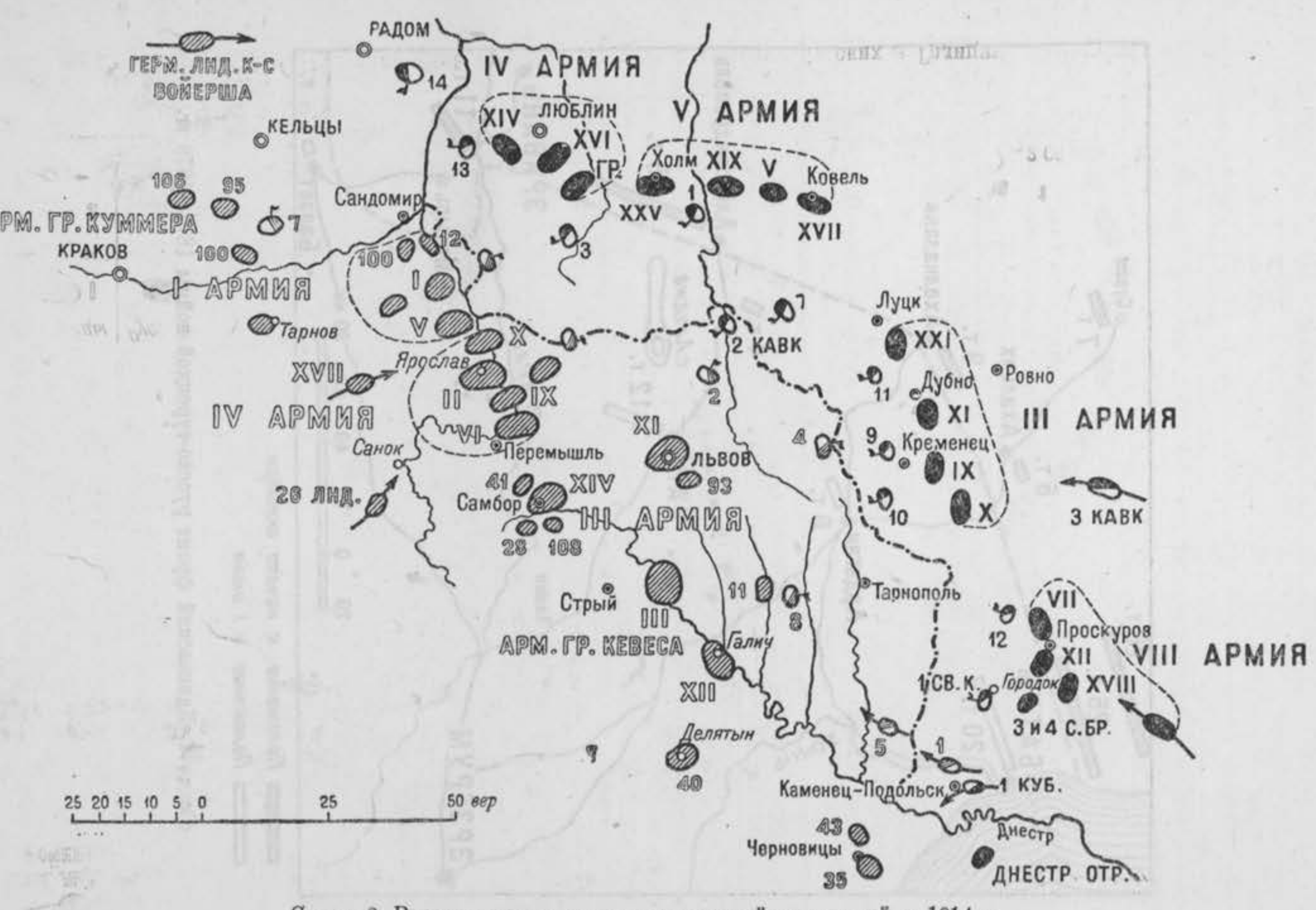


Схема 2. Развертывание русских и австрийских армий в 1914 г.

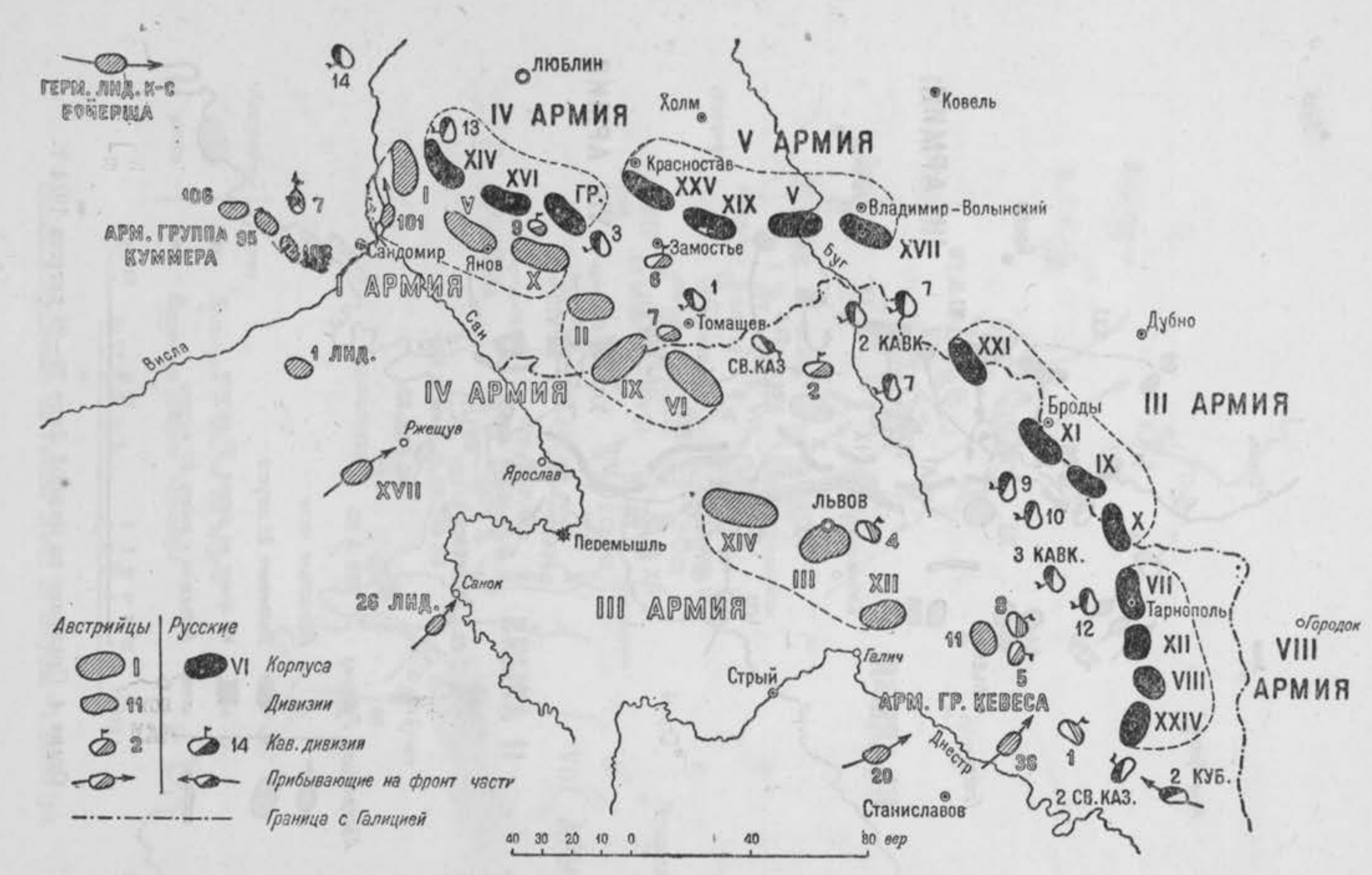


Схема 3. Силы и группировка сторон к моменту вторжения русских в Галицию (23 августа).

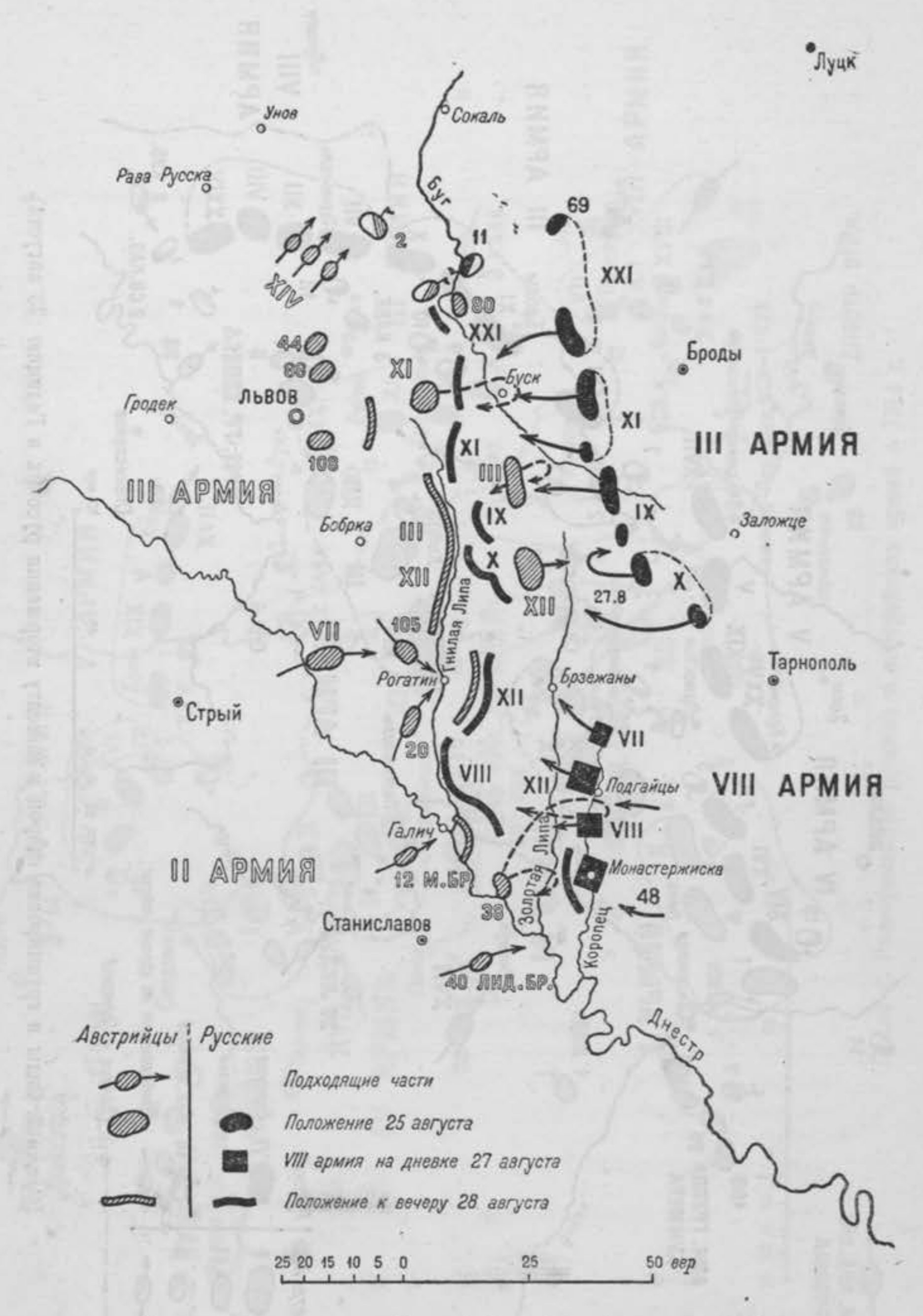


Схема 4. Сражение на Золотой Липе 26—28 августа 1914 г.

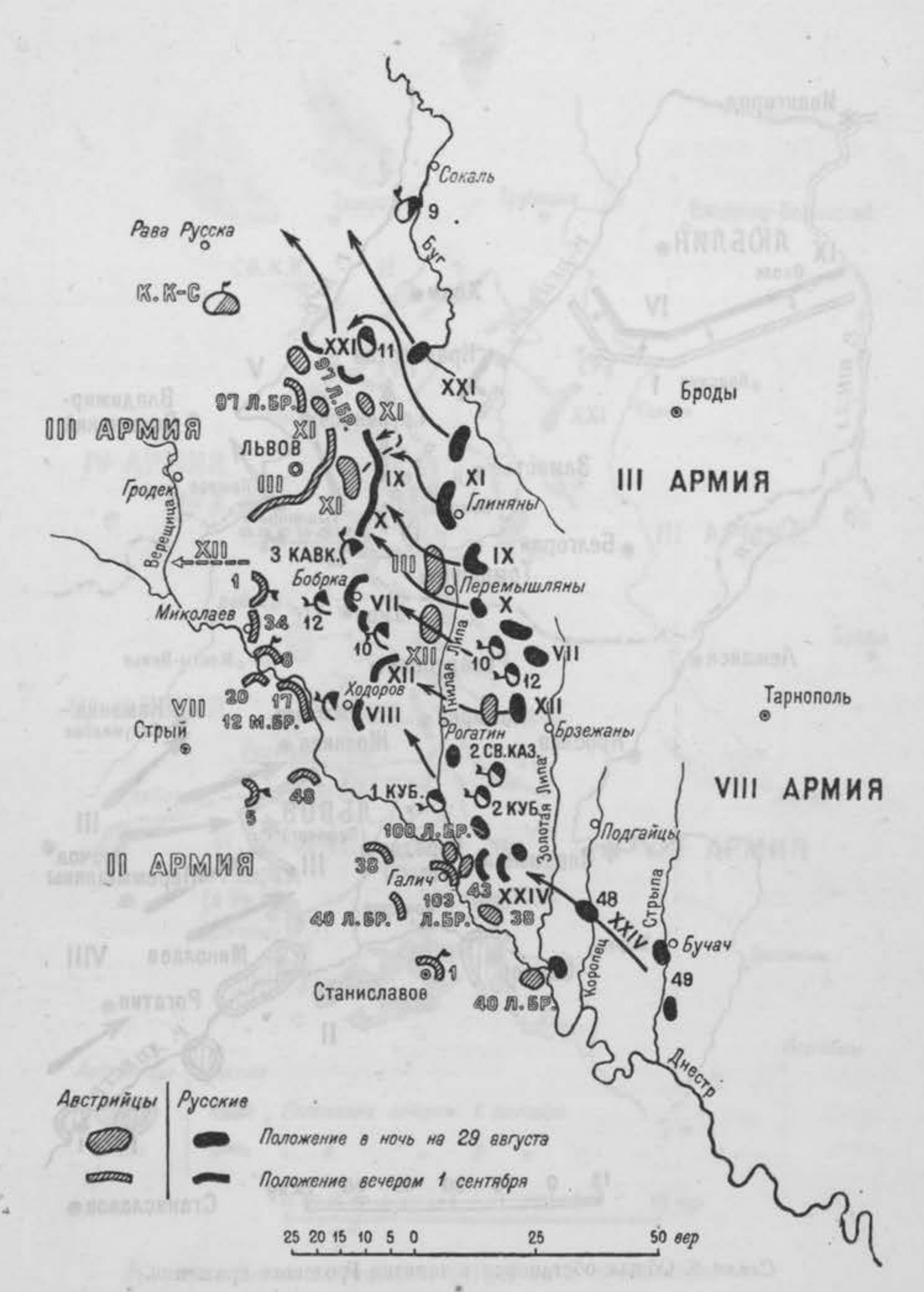


Схема 5. Сражение на Гнилой Липе 29 августа—1 сентября.



Схема 6. Общая обстановка к завязке Гродского сражения.



Схема 7. Сражение у Гродека 5—9 сентября.

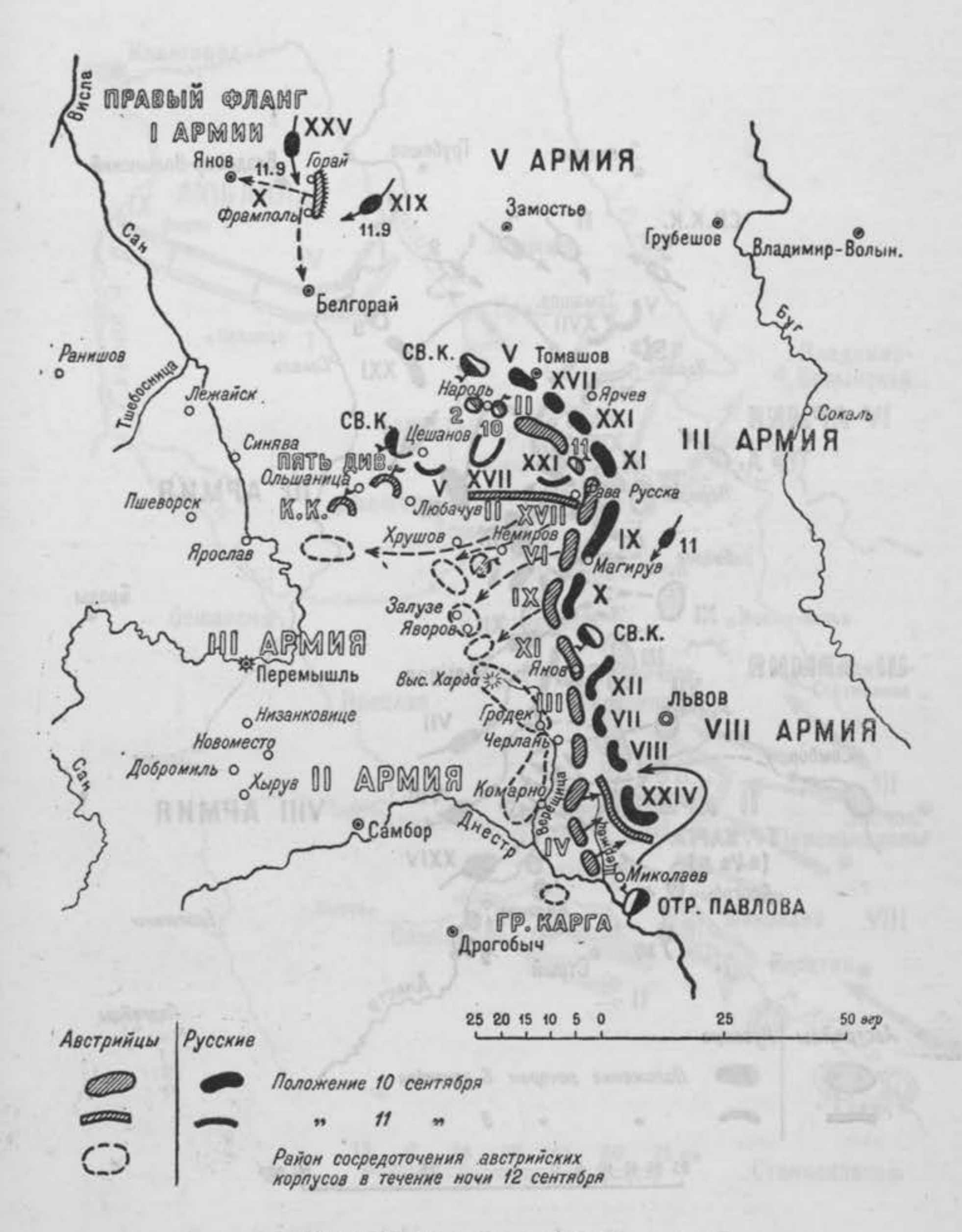


Схема 8. Сражение у Гродека.

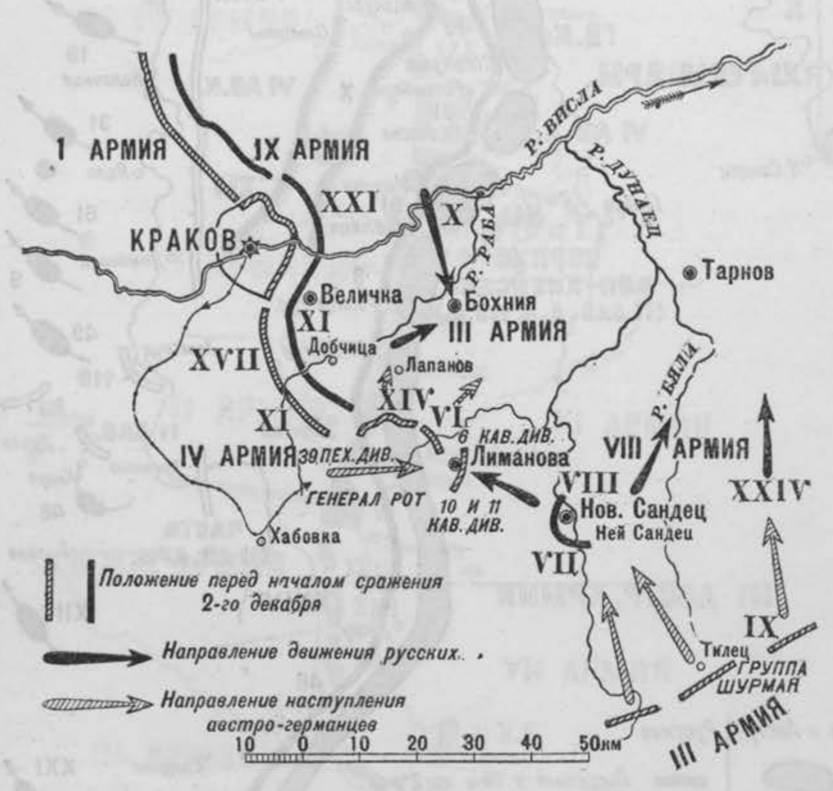


Схема 9. Действия австро-германцев в сражении 2 декабря 1914 г.

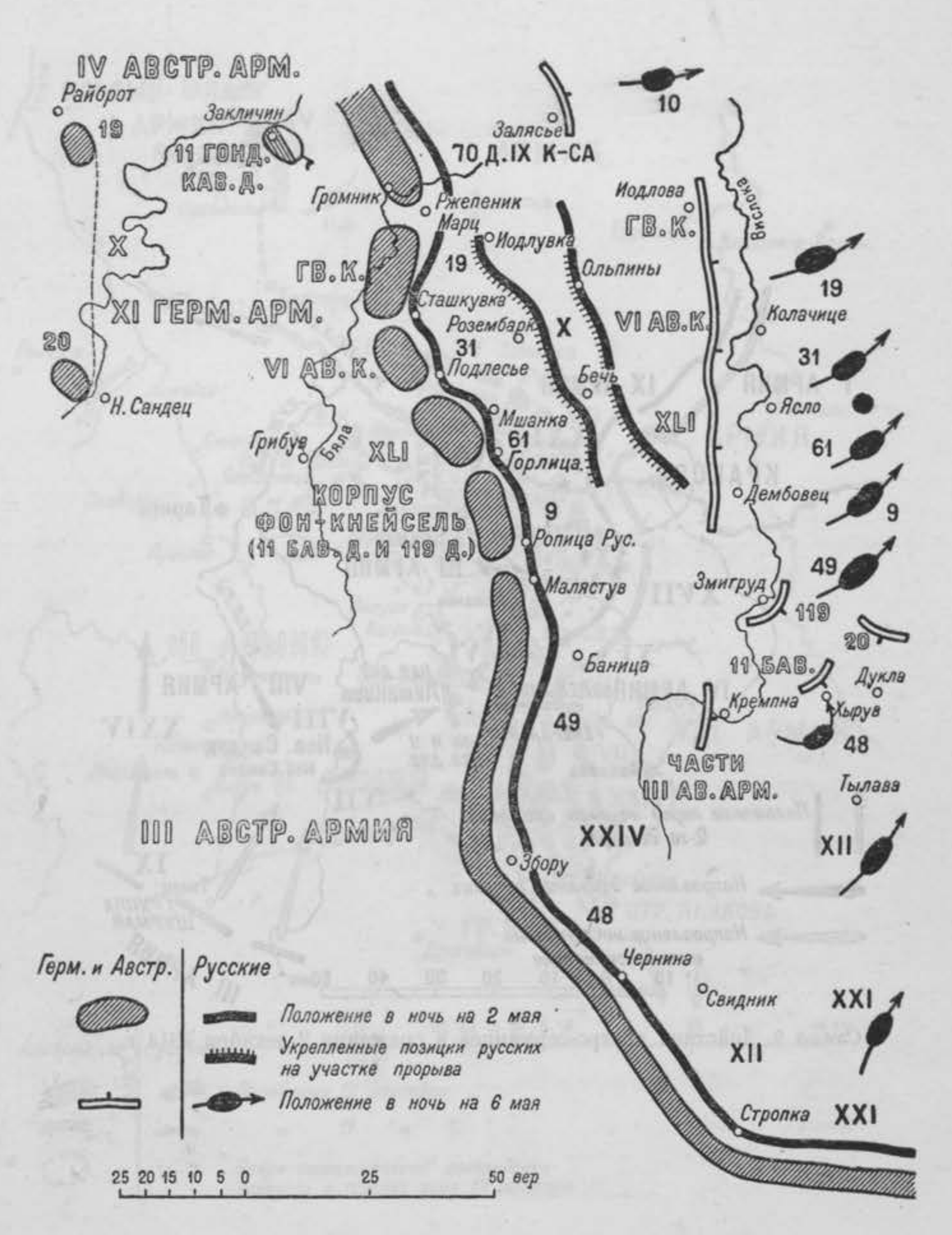


Схема 10. Группировка сторон перед Горлицким прорывом.

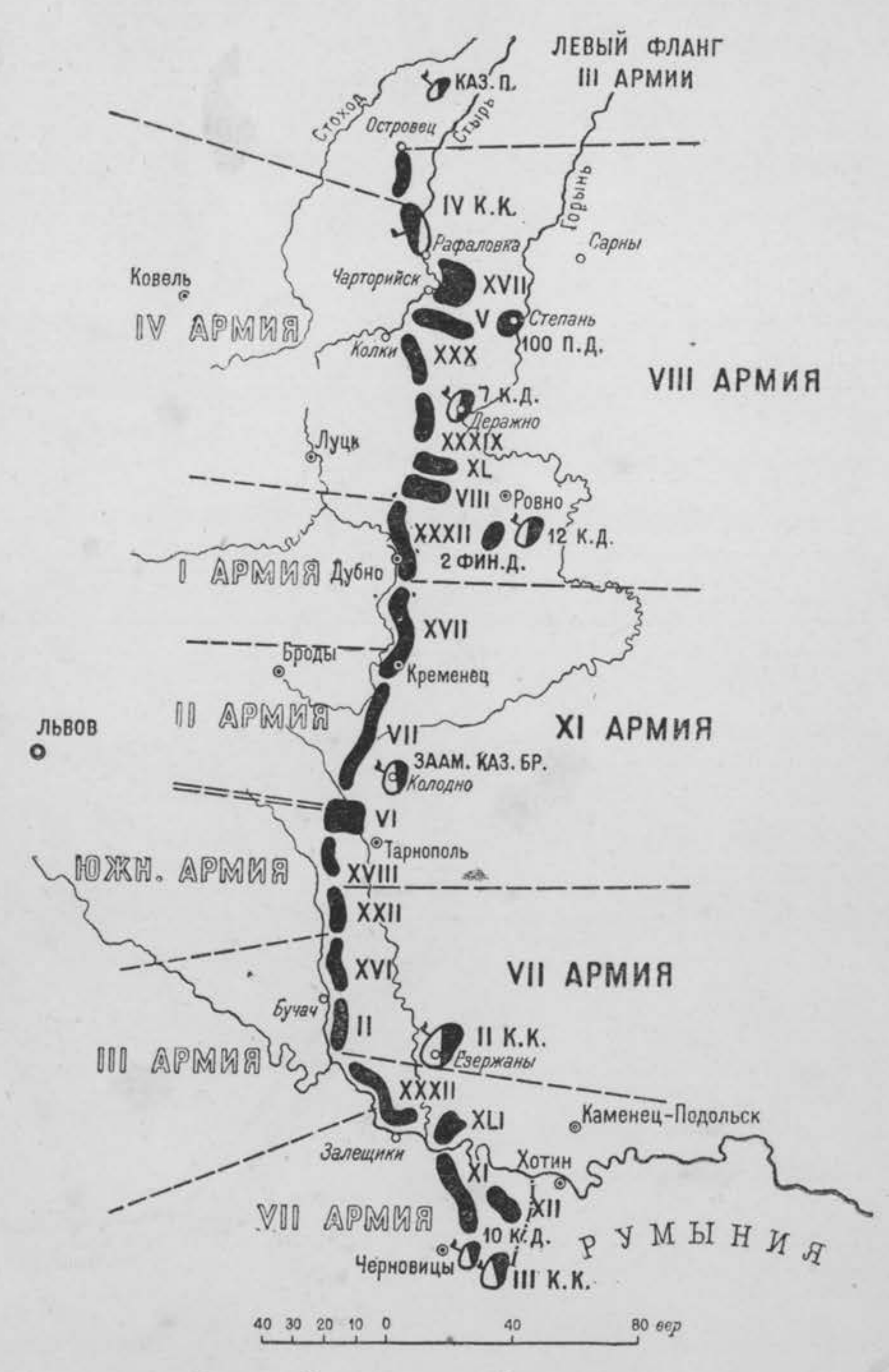


Схема 11. Положение перед Луцким прорывом.

IV А

Райброт

19

X

XI

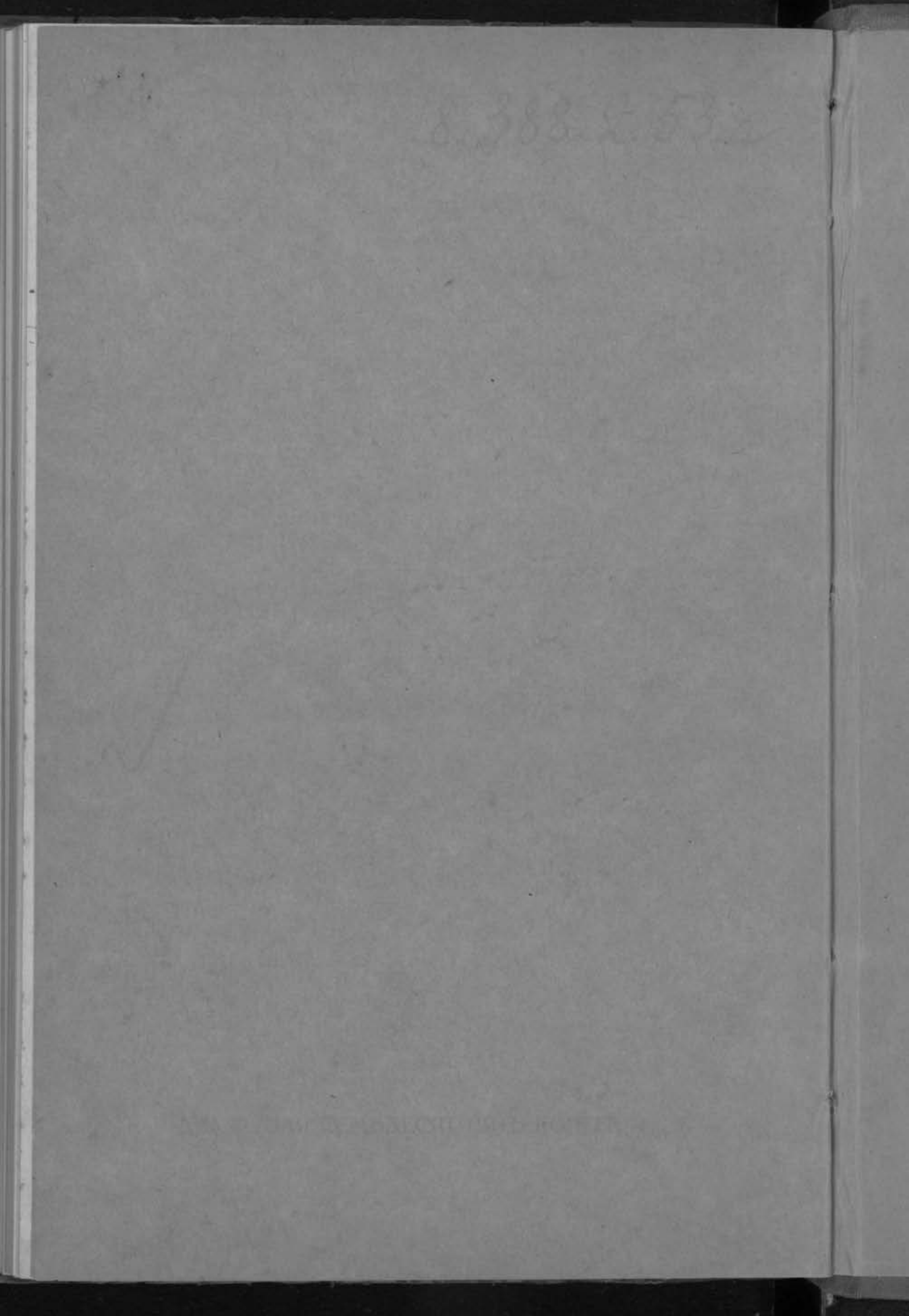
Н. Са

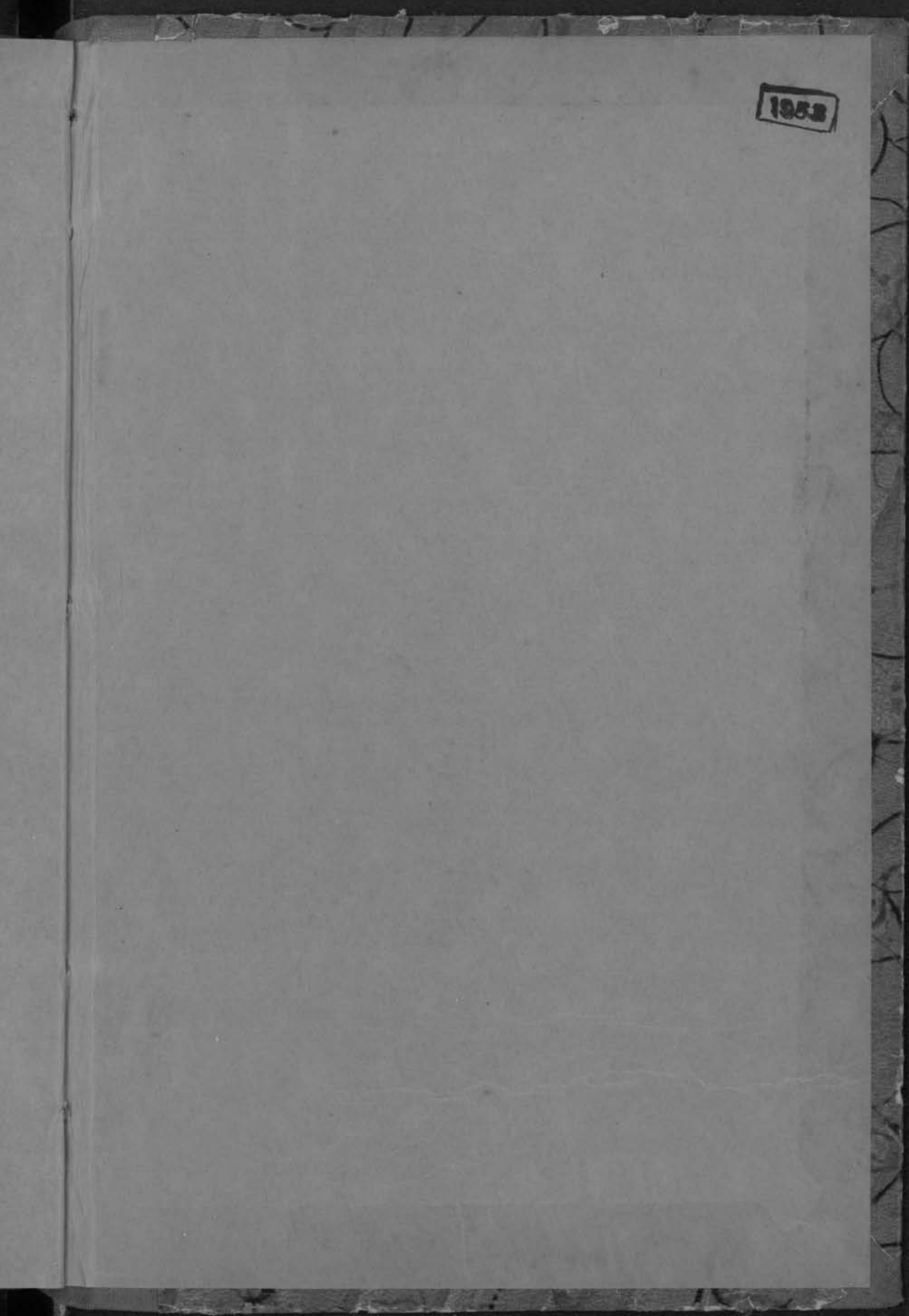
ом. и Авс

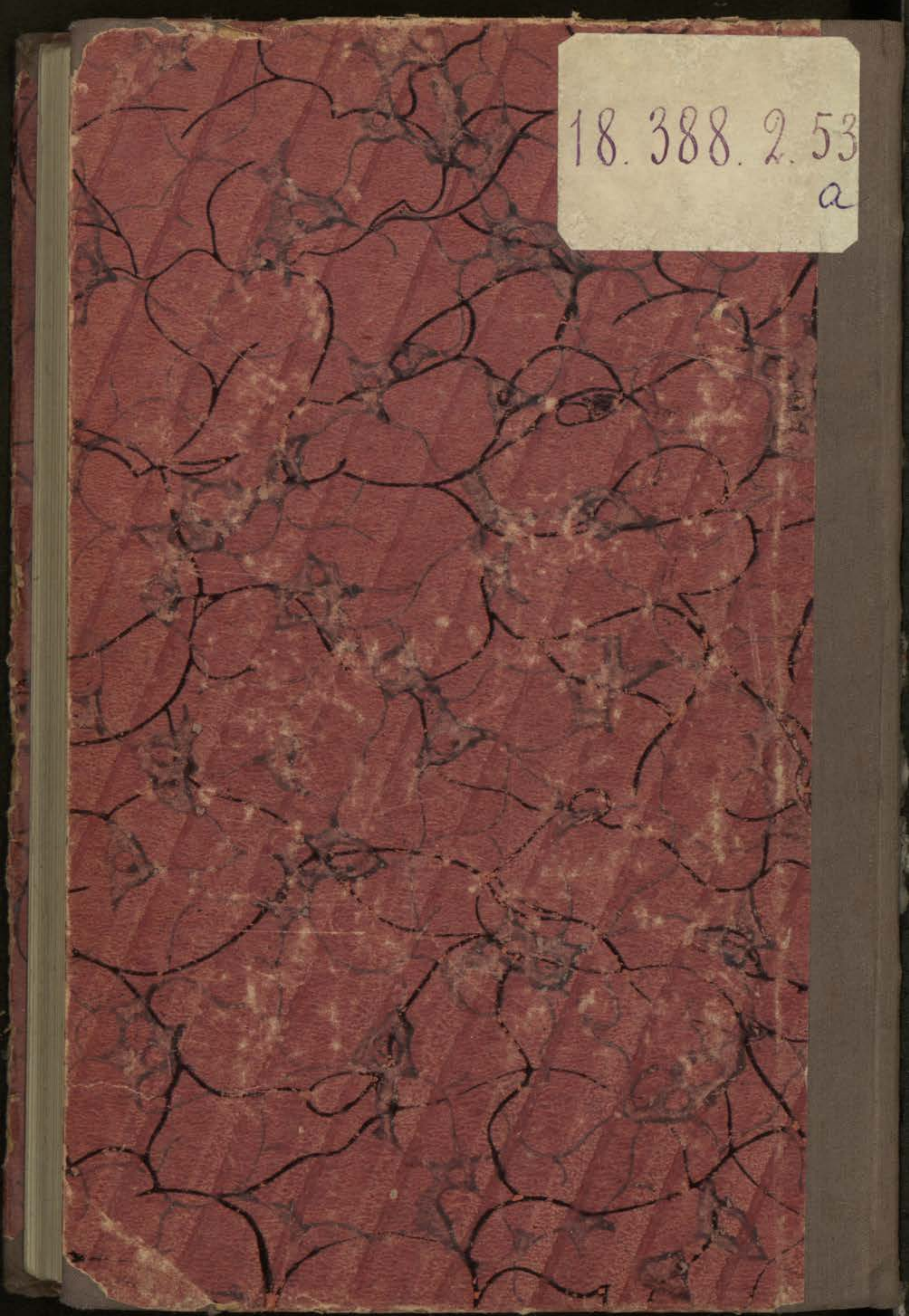
25 2

ДВА РУБЛЯ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ КОПЕЕК








18. 388. 2. 53
a